ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

Slavica

XXXIV

EDITIONEM CURANTE
ZHIVKA KOLEVA-ZLATEVA

ADIUVANTE
LÁSZLÓ KÁLMÁN NAGY

REDIGUNT
KLÁRA AGYAGÁSI
ZOLTÁN HAJNÁDY
ISTVÁN D. MOLNÁR

KOSSUTH EGYETEMI KIADÓ
DEBRECENI EGYETEM

DEBRECEN
2005

SLAVICA XXXIV

A kötetet lektorálták:

DSc Agyagási Klára
DSc Bereczki Gábor
DSc D. Molnár István
DSc Hajnády Zoltán
DSc Hima Gabriella
DSc Zoltán András
Dr. habil. Bibok Károly
Dr. habil. Zhivka Koleva-Zlateva
CSc Han Anna
PhD Dobos Csilla

ISSN 0583-5356

Debreceni Egyetem
Felelős kiadó: NAGY János rektor
Szedés: DE BTK Szlavisztikai Intézet
Nyomás: DE Reprográfiai Osztály

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

Slavica

XXXIV

EDITIONEM CURANTE
ZHIVKA KOLEVA-ZLATEVA

ADIUVANTE
LÁSZLÓ KÁLMÁN NAGY

REDIGUNT
KLÁRA AGYAGÁSI
ZOLTÁN HAJNÁDY
ISTVÁN D. MOLNÁR



DEBRECEN
2005

Сотрудники нашего тома

К. Адягаши
доктор наук
Дебреценский университет
Венгрия, 4010 Дебрецен
agyagasi@delfin.unideb.hu

Л. Балло
PhD-студент
Дебреценский университет
Венгрия, 4010 Дебрецен
lballo@delfin.unideb.hu

Л. Гливінська
PhD
Киевский национальный университет
им.Т. Шевченко
Украина, 01033 Киев
franco@univ.kiev.ua

М. Домбровский
хабил. профессор
Варшавский университет
Польша, Варшава
mieczyslaw.dabrowski@uw.edu.pl

Т. Ивашкевич
PhD-студент
Киевский национальный университет
им.Т. Шевченко
Украина, 01033 Киев
tanja@delfin.unideb.hu

М. Капраль
CSc
Институт им. Д. Бешенеи
Венгрия, 4400 Ниредьхаза
kapraly@zeus.hyf.hu

М. Ж. Ковач
PhD-студент
Университет им. Л. Этвеша
Венгрия, 1088 Будапешт
alex@ludens.elte.hu

Ж. Колева-Златева
хабил. PhD
Велико-Тырновский университет
им. Кирилла и Мефодия
Болгария, 5000 В. Търново
jivka@yahoo.com

Й. Пиларский
хабил. PhD
Дебреценский университет
Венгрия, 4010 Дебрецен
pilarski@seznam.cz

Дж. Пирог
PhD
Рэтгерс, Государственный университет
штата Нью-Джерси, США
gpirog@rci.rutgers.edu

Е. Порчальми
старший преподаватель
Дебреценский университет
Венгрия, 4010 Дебрецен
adamne@puma.unideb.hu

А. Рейхманн
PhD
Педагогический институт им. К. Эстерхази
Венгрия, 3300 Эгер
reichmanna@freemail.hu

Д. Ружа
доктор наук
Университет им. Л. Этвеша
Венгрия, 1088 Будапешт

Е. Урбанец
PhD-студент
Ягелонский университет
Польша, 31-110 Краков
e.urbaniec@interia.pl

М. Фаркаш
PhD-студент
Дебреценский университет
Венгрия, 4010 Дебрецен
panilinda@freemail.hu

В. А. Федосов
доктор наук
Институт им. Д. Бешенеи
Венгрия, 4400 Ниредьхаза

Л. К. Надь
CSc
Дебреценский университет
Венгрия, 4010 Дебрецен
nagylk@delfin.unideb.hu

М. Фоналка
PhD
Дебреценский университет
Венгрия, 4010 Дебрецен
fonalkam@delfin.unideb.hu

Е. Фориан
PhD-студент
Дебреценский университет
Венгрия, 4010 Дебрецен
eforian@wp.pl

Н.-В. Шахвердова
PhD-студент
Дебреценский университет
Венгрия, 4010 Дебрецен
viardelia@freemail.hu

З. Хайнади
доктор наук
Дебреценский университет
Венгрия, 4010 Дебрецен
hajnadyz@delfin.unideb.hu

Ж. Эгереш
PhD-студент
Университет им. Л. Этвеша
Венгрия, 1088 Будапешт
egerbar@vnet.hu

А. Цёвек
PhD-студент
Дебреценский университет
Венгрия, 4010 Дебрецен
agi.cz@freemail.hu

OUR CONTRIBUTORS

K. Agyagási
DSc
University of Debrecen
4010 Debrecen, Hungary
agyagasi@delfin.unideb.hu

L. Glyvinska
PhD
National T. Shevchenko University of Kyiv
01033 Kyiv, Ukraine
franco@univ.kiev.ua

L. Balló
PhD student
University of Debrecen
4010 Debrecen, Hungary
lballo@delfin.unideb.hu

Z. Hajnády
DSc
University of Debrecen
4010 Debrecen, Hungary
hajnadyz@delfin.unideb.hu

Á. Czövek
PhD student
University of Debrecen
4010 Debrecen, Hungary
agi.cz@freemail.hu

T. Ivashkevych
PhD student
National T. Shevchenko University of Kyiv
01033 Kyiv, Ukraine
tanja@delfin.unideb.hu

M. Dąbrowski
habil. professor
University of Warsaw
Warsaw, Poland
mieczyslaw.dabrowski@uw.edu.pl

M. Káprály
CSc
Bessenyei Teachers Training School
4400 Nyíregyháza, Hungary
kapraly@zeus.hyf.hu

Zs. Egeres
PhD student
Eötvös L. University
1088 Budapest, Hungary
egerbar@vnet.hu

M. Farkas
PhD student
University of Debrecen
4010 Debrecen, Hungary
panilinda@freemail.hu

V. A. Fedosov
DSc
Bessenyei Teachers Training School
4400 Nyíregyháza, Hungary

M. Fonalka
PhD
University of Debrecen
4010 Debrecen, Hungary
fonalkam@delfin.unideb.hu

É. Fórián
PhD student
University of Debrecen
4010 Debrecen, Hungary
eforian@wp.p

É. Porcsalmy
lecturer
University of Debrecen
4010 Debrecen, Hungary
adamne@puma.unideb.hu

A. Reichmann
PhD
Eszterházy College of Eger
Hungary, 3300 Eger
reichmanna@freemail.hu

D. Ruzsa
DSc
Eötvös L. University
1088 Budapest, Hungary

Zh. Koleva-Zlateva
habil. PhD
St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Turnovo
Bulgaria, 5000 Veliko Turnovo
jivka@yahoo.com

M. Zs. Kovács
PhD student
Eötvös L. University
1088 Budapest, Hungary
alex@ludens.elte.hu

L. K. Nagy
CSc
University of Debrecen
4010 Debrecen, Hungary
nagylk@delfin.unideb.hu

J. Pilarský
habil. PhD
University of Debrecen
4010 Debrecen, Hungary
pilarski@seznam.cz

G. Pirog
PhD
Rutgers, the Sate University of New Jersey
USA
gpirog@rci.rutgers.edu

N. V. Shahverdova
PhD student
University of Debrecen
4010 Debrecen, Hungary
viardelia@freemail.hu

E. Urbaniec
PhD student
Jagellonian University
31-110 Krakow, Poland
e.urbaniec@interia.pl

Содержание

Лингвистика

Иржи Пиларский: Этногенез и прародина славян 13
Живка Колева-Златева: О приемах когнитивного подхода в этимологических исследованиях 23
Agyagási Klára: Отражение диалектных особенностей некоторых русских заимствований в марийском языке 43
Farkas Melinda: Zarys autostereotypu Ukraińców na początku XXI wieku 51
Шахвердова Нава-Ванда: Некоторые особенности правового дискурса 61
Леся Гливінська: Поетичне слово Миколи Вінграновського: 83
Ewa Urbaniec: Product Globalization and Brand Unification 95

Литературоведение

Hajnády Zoltán: Способы нарративного выражения эмоций 107
Джеральд Пирог: Природа и пейзаж памяти у Пушкина и Вордсворта 125
Egeres Zsuzsanna: К характеристике мотивной структуры сборника стихотворений Николая Гумилева «Шатер» 137
Reichmann Angelika: The Golden Age and Narcissus 147
Nagy László Kálmán: Polska literatura obozowo-łagrowa 165
Czövek Ágnes: „... więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem." – a jednak jest? 177
Kovács Márta Zsófia: Слово и Память vs Ложь 187
Mieczysław Dąbrowski: Historia czy/i historiografia w dramacie współczesnym 197

Рецензии и научные сообщения

Ruzsa György: Two Unknown Icons Signed by Rodion Sem'onovič Chrustal'ov 207
В. А. Федосов: И. Барт. Русским о венграх. Культурологический словарь. Перевод с венгерского Т. Воронкиной. Москва: Радуга, 2005 ... 210
Agyagási Klára: Zoltán András. Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok. [Андраш Золтан, Слова, фразеологизмы, тексты. Лингвистические и филологические исследования.] Lucidus Kiadó, Budapest. Kisebbségkutatási Könyvek, 2005 217
Agyagási Klára: Király Péter. A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow „Tractatus"-ának magyar vonatkozásai // Dimensiones Culturales et Urabariales Regni Hungariae 8. Szerkesztette és az előszót írta Udvari István. Nyíregyháza, 2004 221

Скляревская Г. Н., Ваулина Е. Ю. Давайте говорить правильно! Серия словарей–справочников. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003–2004 224

FÓRIÁN Éva: Новейшие и наиболее распространенные заимствования в современном русском языке: Краткий словарь-справочник. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004 224

BALLÓ Larisza: Вербицкая Л. А. и др. Трудности современного русского произношения и ударения: Краткий словарь-справочник. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003 226

FARKAS Melinda: Скляревская Г. Н., Ткачеева И. О. Давайте говорить правильно! Политический язык современной России, Краткий словарь-справочник, – СПБ. Филологический факультет СпбГУ, 2003 228

FARKAS Melinda: Мокиенко В.М. Трудности современной русской фразеологии: Краткий словарь-справочник, – СПб. Филологический факультет СпбГУ, 2004 231

Татьяна ИВАШКЕВИЧ: Давайте говорить правильно! Орфографические трудности современного русского языка. Краткий словарь-справочник (Составление Н. В. Соловьева, инициатор серии словарей «Давайте писать правильно!» Л. А. Вербицкая, руководитель проекта С. И. Богданов). Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2004 234

Н.-В. ШАХВЕРДОВА: Новые и наиболее распространенные сокращения в современном русском языке: краткий словарь-справочник (Под ред. Г. Н. Скляревской, И. О. Ткачевой). СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004 236

FÓRIÁN Éva: Скляревская Г. Н., Ваулина Е. Ю. Давайте говорить правильно. Трудности грамматического управления в современном русском языке: Краткий словарь-справочник – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004 238

BALLÓ Larisza: Васильев А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления. М.: Флинта: Наука, 2003 239

FONALKA Mária: В. С. Виноградов. Перевод. Общие и лексические вопросы. Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. – Москва КДУ, 2004 244

ÁDÁMNÉ PORCSALMY Éva: Renata Dybalska, Danuta Kępa-Figura, Paweł Nowak. Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004 247

In memoriam Иштван Удвари (1950–2005) 251



Редколлегия ежегодника *Slavica*
имеет удовольствие сообщить, что
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2005 года

проф. Золтан ХАЙНАДИ

ответственный редактор журнала,
заведующий Кафедрой русского языка и литературы Института славистики
Дебреценского университета был награжден

Медалью Пушкина

за большой вклад в сближение и взаимообогащение
культур народов Российской Федерации и Венгерской Республики
и укрепление дружественных отношений между двумя странами.

Поздравляем награжденного!



Лингвистика

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

ЭТНОГЕНЕЗ И ПРАРОДИНА СЛАВЯН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧЕШСКОГО И СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Иржи ПИЛАРСКИЙ

0. В самом начале отмечу, что нижеследующие рассуждения ни в коем случае не ставят себе целью дать полное и исчерпывающее представление о развитии в рамках чешской и словацкой науки понимания проблематики прародины славян и процесса становления их языка. В этой статье мне хочется только указать на разные взгляды и исходные позиции, которые в последних десятилетиях XX в. – прежде всего в период после инициативного IX международного съезда славистов – появились в трудах (тогда еще) чехословацких специалистов, в особенности индоевропеиста Адольфа Эрхарта (Брно), впоследствии превратившись в «официальную» точку зрения чешских и словацких славистических кругов.

Чтобы ознакомить читателя с национальным контекстом данной проблематики, в начале целесообразно в виде краткого исторического обзора – конечно, без всякой претензии на полноту изложения – наметить главные моменты, ознаменовавшие идейное созревание этих представлений.

1. История изучения этногенеза и прародины славян на территории нынешних Чешской и Словацкой республик ведет нас в период классиков чешской и словацкой славистики. Первым чешским ученым, который с большим научным интересом занимался этой проблемой, был «патриарх славистики» Йозеф Добровский.

1.1. При обсуждении вопросов, связанных с доисторической эпохой славянства, точкой отправления для Добровского послужил летописный свод Нестора. Его взгляды на протяжении многих лет определяли ориентировку и идейное содержание подобных исследований. Пламенными продолжателями традиции Добровского как сторонника т.наз. автохтонистической концепции стали представители следующей генерации славистов во главе с ученым словацкого происхождения Павлом Йозефем Шафаржиком, который этой концепцией, провозглашавшей, что славяне – коренные жители Средней Европы, гибко воспользовался в целях защиты национальной политики того времени. Результаты его исследований послужили «доказательным материалом» в процессе отражения нападок на чешское национальное движение со стороны немецкой науки (ср. КУДЕЛЬКА и др. 1978: 39).

1.2. Подобная обстановка царила также в Словакии, где в то время «модная» этимология этнонима *словак* (т.е. *словак* = *славянин*) предоставляла ав-

тохтонистической концепции дополнительный веский аргумент *sui generis.*[1] В согласии со взглядами Шафаржика и, кроме того, под влиянием своего рода романтического национализма представители этого движения прародиной славян считали территорию Словакии, в особенности область Татранского массива (ср. ТИБЕНСКИЙ 1978: 107, 115 et passim).

2. Параллельно с националистически-романтическим научно-исследовательским направлением, ознаменованным тенденциозным автохтонизмом, особняком от всех остальных, развивалось другое течение, более трезвое и в своих заключениях менее эффектное, стремящееся к объективности и научной основательности. Однако, что могла эта школа, которую можно назвать «иммиграционистической», предложить в противовес блестящим теориям и берущим за сердце изящным формулировкам чешских, словацких или зарубежных автохтонистов? Собственно говоря, практически ничего, что находилось бы в соответствии с идеологическими требованиями той эпохи и с сознанием широких масс народа. Вот почему это направление, не пользовавшееся особыми симпатиями широкой публики, смогло выступить более твердо и смело с результатами своих исследований только несколько десятилетий позднее, т.е. в начале XX века и, прежде всего, в период после образования самостоятельного чехословацкого государства, когда необходимость поставить наличие славян в Средней Европе на стойкий исторический фундамент постепенно теряла свою актуальность.

2.1. С самовосхвалительно-романтическими сказками пионерского периода чешской и словацкой славистики в начале прошлого века решительно покончил Лубор НИДЕРЛЕ (1902: 1–33). В Словакии «демифологизация» науки в этом смысле считается заслугой Йозефа Шкультеты (ср. ТИБЕНСКИЙ 1987: 116). Нидерле, посвятивший почти всю свою жизнь (НИДЕРЛЕ 1953: 13) изучению славянских «старожитностей» (‘древностей’ – в рамках чешско-словацкой славистики этим выражением принято называть данную проблематику еще со времени Шафаржика), весьма убедительно доказал, что знаменитые утверждения древнерусского летописца не основываются ни на личном опыте, ни на устном предании, и поэтому их нельзя считать исторически достоверным источником (НИДЕРЛЕ 1953: 28). На основе фактов, собранных в ходе исследований в области сравнительного языкознания, классической филологии, истории, топонимии, археологии и других научных дисциплин (т. е. с применением подлинных интердисциплинарных методик), Нидерле впоследствии пришел к заключению, что славяне в доисторический период своего существования обитали в восточной части современной территории

[1] На такого рода аргументы до сих пор охотно опираются заключения националистически и антивенгерски настроенных представителей словацкой культуры и науки с целью оказать поддержку теориям о среднеевропейской прародине славян, говорящих в пользу автохтонности словацкого и, следовательно, аллохтонности венгерского населения в Средней Европе (ср. ФЕРКО 2004: 22). Названный автор в этой связи типичным образом ссылается также на выступление О. Н. Трубачева на Международном съезде славистов в Братиславе в сентябре 1993 г. (ср. ТРУБАЧЕВ 1984а, б).

Польши, на юге Белоруссии, а также в области Волынско-Подольской возвышенности (НИДЕРЛЕ 1953: 33).

2.2. Эта сегодня уже почти классическая концепция, которую в период между двумя войнами подавляющее большинство чехословацких славистов почти безоговорочно принимало, в первые десятилетия после второй мировой войны, отличающиеся чрезвычайным размахом исследований в связи с доисторической эпохой истории славянства, была подтверждена результатами научных исследований в области целого ряда смежных дисциплин (напр., ЭЙСНЕР 1956; ГОРАЛЕК 1962; ВАНЯ 1977 и др.). В защиту «восточноевропейского варианта» прародины выступили ученые в ряде типологически ориентированных лингвистических публикаций, указывая на системные явления славянских языков, трудно интерпретируемые в рамках общей индоевропейской модели, но имеющие в разных восточноевропейских или азиатских языках многочисленные параллели. Так, например, В. ПОЛЯК (1973) на основе анализа многих такого рода языковых особенностей фонетическо-фонологического, морфологического, синтаксического или лексического характера постулирует массивное влияние со стороны балтийского, угро-финского или даже алтайского субстрата, адстрата и суперстрата, причисляя таким образом группу славянских языков к т. н. «восточноевропейской языковой общности», «образующей в некотором смысле типологический противовес атлантической модели» (ПОЛЯК 1973: 126).

Многие цитированные типологические параллели действительно говорят в пользу «восточноевропейского варианта», так как предполагаемые древние контакты могли осуществиться только в этом регионе, однако, во многих случаях напрашивается возражение, что такие явления упомянутых неславянских языков наоборот могли сложиться под славянским влиянием. В этом смысле, например, показательными являются подчеркиваемые ПОЛЯКОМ (1973: 127) параллели между славянским глагольным видом и аналогичными видовыми явлениями венгерского языка, не слишком характерными для остальных угро-финских языков.

2.3. Концепция Нидерле получила чрезвычайную популярность прежде всего в Словакии, не в последнюю очередь, по-видимому, уже только потому, что с точки зрения словацкого населения в определенном смысле – хотя парадоксальным образом – оправдывала автохтонистические представления прошлого века. Так, например, Ян СТАНИСЛАВ (1958: 93) ревностно цитирует формулировку Нидерле, согласно которой «отдельные выступы прародины славян – правда, лишь в виде редко населенных анклавов – протягивались до территории нынешней Словакии, может быть, даже до самой реки Ипель».

2.4. Выводы Нидерле, однако, встречали положительный отклик также вне Чехии. На протяжении 50-х и 60-х годов прошлого века многие конгениальные теории появляются также в мировом масштабе. В этом смысле приходится вспомнить о С. Б. БЕРНШТЕЙНЕ (1961; 1982), который тоже был упорным защитником «восточноевропейского варианта» и прародину славян помещал на территории, почти полностью сходной с концепцией Нидерле.

Однако, с чехословацкой точки зрения можно согласиться не со всеми частными заключениями Бернштейна. Например, нельзя согласиться с тем его утверждением, что существует непосредственная связь между обитавшим на территории тогдашней Средней Европы кельтским племенем *волков* (*walh*) и нынешними т. наз. *валахами* (национальная группа в восточной [моравской] части Чешской Республики вблизи границы со Словакией; ср. Бернштейн 1961; 1982: 137). Хотя этот т. наз. *валашский вопрос*, несмотря на продолжавшиеся много лет международные и интердисциплинарные полемики, до сих пор не был доведен до конца и не получил окончательного решения, сегодня можно однозначно установить, что в Моравию упомянутый этноним проник только вторично, т. е. в процессе т. н. валашской пастушеской колонизации и путем проникновения ее носителей из балканской области на северо-запад. Так как это население было по своему большинству румынского происхождения, его на отдельных языках региона называли *влахами, валахами* или *олахами* (*vlach, valach, oláh*; из довольно обширной литературы по этому вопросу см. напр. Кранджалов 1963; Штика 1973; Армбрустер 1972).

3. Продолжателем богатых традиций чехословацкого языкознания в этой области исследований в последние десятилетия XX века можно считать профессора Университета им. Масарика в Брно Адольфа Эрхарта (1926–2003). В качестве авторитетного компаративиста он изучал вопрос об этногенезе славян и формировании их языка в более широком контексте индоевропеистики и в рамках своих трезвых, принципиально избегающих любого внешнего эффекта исследований пришел к заключениям, которые, видимо, подтверждают концепцию Нидерле, Бернштейна и остальных сторонников «восточноевропейского варианта».

3.1. Согласно пониманию Эрхарта, праславянский язык следует считать периферическим говором протобалтийского диалектного континуума, сформировавшимся где-то на южной окраине восточноевропейского ареала. Эту формулировку Эрхарт называет оптимальным решением длительных споров и утомительных дискуссий о балто-славянском единстве, которое угрожало стать чем-то вроде камня преткновения исторического славяноведения. *Terminus post quem* относительно сформирования (пра)славянской языковой общности, по его мнению, относится ко времени контакта с языками иранских племен, проникших в VIII–VII вв. до н. э. на северное побережье Черного моря. С этим иранским влиянием, согласно его взглядам, связано практически все, чем группа сегодняшних славянских языков столь резко отличается от языкового мира Западной Европы, как, например, ассибиляция палатальных веляр, парадигматизация местного падежа мн. ч., образование парадигмы двойственного числа склонения именных частей речи, возникновение полных форм прилагательных и т.д. (Эрхарт 1982: 20).

3.2. В этом контексте представляет особый интерес точка зрения Эрхарта относительно опубликованной в первой половине 80-х годов XX века обширной статьи Трубачева на эту тему (Трубачев 1982а, 1982б; 1984а, 1984б). О. Н. Трубачев, лишний раз возвращаясь мыслями к прежним заключениям

разных авторов, исходящих из текстов Нестора, пытается доказать, что славянский язык издавна существовал как один из индоевропейских диалектов, а говорящее на нем население обитало в центральной части первоначального индоевропейского ареала, т. е. в области Среднего Дуная (подобную точку зрения защищает также КОБЫЧЕВ 1973).

О. Н. Трубачев одновременно оспаривает любую более значительную роль аллохтонных компонентов в процессе диалектно-племенного образования славянства, за исключением известных италийских и германских инфильтраций (ТРУБАЧЕВ 1982а: 18). Эрхарт, наоборот, подчеркивает чрезвычайную сложность этногенетических процессов, указывая при этом на формирование балканского ареала. Следовательно, любой отдельный язык надо считать результатом многократного скрещивания, а не простым продолжением или «наследником» праязыка (ЭРХАРТ 1985: 338). Наряду с этим Эрхарт обращает внимание на тот факт, что в процессе скрещивания компонентов не обязательно берет верх язык наиболее многочисленной или значимой этнической группы, о чем свидетельствует, например, формирование венгерской и румынской наций (1985: 340). Эти этногенетическо-типологические параллели, в свою очередь, проливают свет на процесс образования славянской этнической группы и ее языка. События, способствовавшие сложению праславянского состояния языка сводятся к аналогичным причинам, т. е. к интенсивному взаимодействию языков внутри огромного дофеодального государственного образования. Протославянская этническая группа в рамках этой формации, по всей вероятности, не обладала конструктивной ролью, и не считалась ни наиболее культурной, ни самой многочисленной. Несмотря на это, ее язык – по неизвестным причинам, подобно как в случае венгерского и румынского – перешел в доминантное положение. Что касается географических координат этого процесса, то и Эрхарт указывает на территорию, куда традиционно принято помещать прародину славян, т.е. область на север от Карпат, между реками Висла и Днепр (обзор отдельных взглядов относительно локализации прародины славян см., напр., БИХАРИ–ТОТ 1982: 20). Трубачевский «дунайский вариант» Эрхарт отбрасывает, так как эта концепция полностью исключает любую балто-славянскую связь, что в современном славяноведческом контексте приходится считать в известной мере крайней точкой зрения (ЭРХАРТ 1985: 341).

3.3. Концепцию Эрхарта относительно этногенеза славян и формирования их языка можно подытожить следующим образом:

В Восточной Европе в течение долгого времени существовал своего рода протобалтийский языковой континуум; непосредственными реликтами последнего надо считать сохранившиеся доныне балтийские языки, в то время как предшественники современных славянский языков сформировались вследствие сложного преобразования отдельных окраинных диалектов данного ареала. Однако, упомянутые окраинные диалекты Эрхарт называет не балтийскими, а протославянскими, так как по крайней мере на последней стадии формирования протославянского языка они уже существенно отлича-

лись от остальных протобалтийских диалектов. Причину этих различий следует усматривать в продолжительных контактах с языками вышеупомянутых иранских племен. Наряду с этим решающим иранским влиянием Эрхарт выделяет также другое – еще более раннее – влияние, которое он относит к началу второй половины II тысячелетия до н. э. и которое, согласно его пониманию, ответственно за все различия между балтийскими, славянскими и западноевропейскими языками. Эрхарт не оспаривает возможную роль других (фракийских, италийских) ингредиентов, но влияние последних в процессе формирования праславянской языковой общности он не считает первичным и решающим.

3.4. Как видно, Адольф Эрхарт не предъявляет претензий на оригинальность, но его концепция по сравнению с другими гипотезами имеет несколько характерных черт, которые повышают ее достоверность:

- Он не желает выступить с «эффектным построением» во что бы то ни стало, а скорее трезво и веско стремится к своего рода синтезу всех прежних гипотез, строго взвешивая все релевантные моменты.

- Учитывая эмпирическую ограниченность и спекулятивный характер подобных размышлений, он заявляет, что «речь идет о чрезвычайно сложной проблематике, которая вряд ли когда-то дождется окончательного решения» (ЭРХАРТ 1985: 344).

- Он приводит исключительно внутриязыковые аргументы, причем, по-видимому, под влиянием своего учителя Вацлава Махека поступает с крайней осторожностью, подбирая с известным скепсисом любые данные топонимического, гидронимического и тому подобного характера.

- Не в последнюю очередь он последовательно придерживается традиционного принципа *sine ira et studio*, который, согласно его убеждению, является таким категорическим императивом лингвистической этики, который при любых обстоятельствах должен соблюдать любой лингвист, рассматривающий вопросы диахронического характера, которые затрагивают интересы нескольких наций.

Хотя описанная гипотеза возникла лет двадцать тому назад, надо напомнить, что более стройной и достоверной теории этногенеза славян в чешской и словацкой славистике по сей день не появилось. Настоящая статья посвящается памяти Адольфа Эрхарта, скончавшегося в 2003 г.

Литература

Армбрустер 1972: Armbruster, A. Romanitatea românilor. Istoria unei idei. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R.

Бернштейн 1961: 1982: Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Москва: Изд-во АН СССР, 1961. [Цитируется отрывок (с. 42–82) по переизданию в кн.: Bevezetés az orosz nyelvtudomány tanulmányozásába. Összeállította Lieli P. és Zoltán A. Budapest: Tankönyvkiadó, 1982, 90–144.]

Бихари–Тот 1982: Bihari J., H. Tóth I. Bevezetés a russzisztikába. Budapest: Tankönyvkiadó.

Ваня 1977: Váňa, Z. Objevy ve světě dávných Slovanů. Praha: Odeon.

Горалек 1962: Horálek, K. Úvod do studia slovanských jazyků. Praha: Nakladatelství ČSAV.

Кобычев 1973: Кобычев, В.П. В поисках прародины славян. Москва: «Наука».

Кранджалов 1963: Krandžalov, D. Valaši na Moravě. Materiály, problémy, metody. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 18, Historica V. Praha.

Куделька и др. 1978: Kudělka, M., Šimeček, Z., Večerka, R. Česká slavistika v prvním období svého vývoje (do poloviny 19. století) // Štúdie z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia (red. Markov D.F.), 29–92. Bratislava: Veda.

Нидерле 1902: Niederle, L. Slovanské starožitnosti. Původ a počátky národa slovanského. Sv. I. Praha.

Нидерле 1953: Niederle, L. Rukověť slovanských starožitností. Praha: Nakladatelství ČSAV.

Поляк 1973: Polák, V. Konsolidace slovanského jazykového typu v širších východoevropských souvislostech. Slavia, časopis pro slovanskou filologii XLII, 2, 125–134. Praha.

Станислав 1958: Stanislav, J. Dejiny slovenského jazyka I. Úvod a hláskoslovie. Bratislava: Vydavateľstvo SAV.

Тибенский 1978: Tibenský, J. „Barokový historizmus" a začiatky slovenskej slavistiky // Štúdie z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia (red. Markov D.F.), Bratislava: Veda, 93–124.

Трубачев 1982а: Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // Вопросы языкознания №4, 10–26.

Трубачев 1982б: Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // Вопросы языкознания №5, 13–17.

Трубачев 1984а: Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян (Продолжение) // Вопросы языкознания №2, 15–30.

Трубачев 1984б: Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян (Окончание) // Вопросы языкознания №3, 18–29.

Ферко 2004: Ferko, J. Maďarské (seba)klamy. Martin: Vydavateľstvo Matice Slovenskej.

Штика 1973: Štika, J. Etnografický region moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj. Ostrava: Profil.

Эйснер 1956: Eisner, J. (red.) Vznik a počátky Slovanů I. Praha: Nakladatelství ČSAV.

Эрхарт 1982: Erhart, A. Indoevropské jazyky. Srovnávací fonologie a morfologie. Praha: Academia.

Эрхарт 1985: Erhart, A. U kolébky slovanských jazyků. // Slavia, 54, 4, Praha, 337–345.

Приложение № 1: Хронология этногенеза славян согласно теории Эрхарта

Праславянскому периоду в подлинном смысле этого слова предшествовали следующие гипотетические стадии развития (за исключением общеиндоевропейского периода, начало которого скрыто в тумане веков):

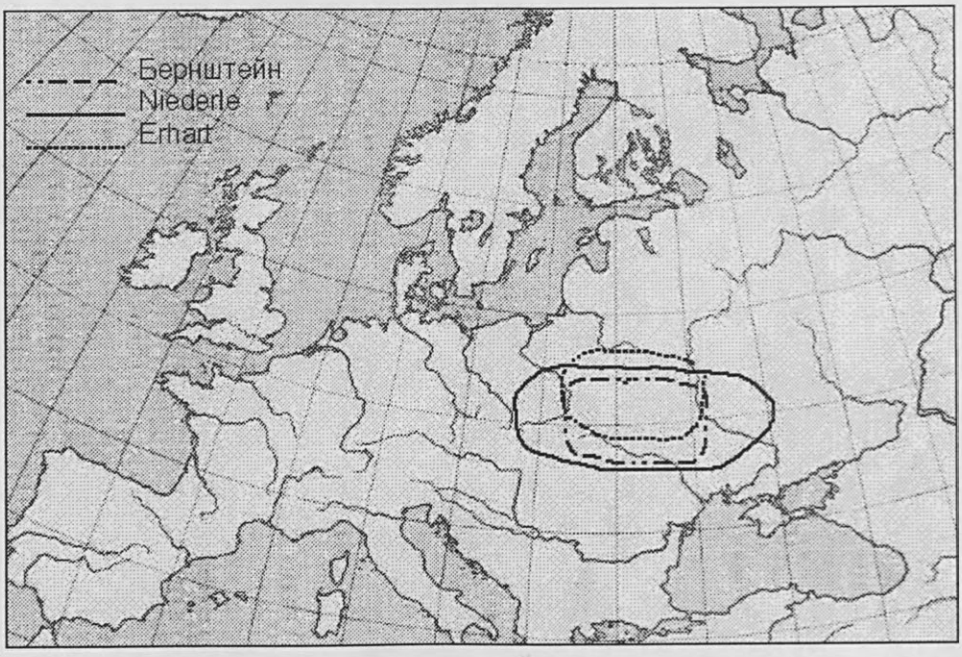
Западноиндоевропейский (праевропский) период (примерно 3000–1500 до н. э.): индоевропейские диалекты Европы образуют континуум, в рамках которого взаимная коммуникация очень легка. Коммуникация с говорящими на большинстве восточноевропейских диалектов вероятно была возможна лишь с затруднениями.

Протобалтийский период (примерно 1500–700 до н. э.): Коммуникация в пределах протобалтийского континуума нетрудна, зато общение с носителями остальных западноиндоевропейских диалектов затруднительно.

Протославянский период (примерно 700 до н. э. – 300 н. э.): в начале интенсивный контакт с архаичными иранскими диалектами скифов. Дифференциация в пределах протобалтийского ареала усиливается. Протославянский постепенно отдаляется от остальных протобалтийских диалектов, однако, все еще сохраняет свой характер сравнительно консервативного древнеиндоевропейского языка.

(Пра)славянский период (примерно 300–1000 н. э.): путем сложного этногенетического процесса славяне формируются в виде крупной позднеиндоевропейской этнической группы; на место древнеиндоевропейского протославянского приходит (пра)славянский, т.е. язык среднеиндоевропейского типа, непонятный для говорящих на других протобалтийских диалектах, сохранивших древнеиндоевропейский тип.

Приложение № 2: Географичские координаты прародины славян по взглядам Нидерле, Бернштейна и Эрхарта



Abstract

Views about the Ethnogenesis and Primordial Habitat of the Slavs in Czech and Slovak Linguistics

The present study outlines the evolution of the opinions of Czech and Slovak linguists concerning the Slavic ethnogenesis and the original homeland of Slavs. While in the classical period of Czech and Slovak Slavistics (19th century) various concepts based on naively romantic, nationalistically motivated autochthonism (Dobrovský, Šafařík) predominate, at a later stage scientifically more objective conclusions in the form of diverse immigrationistic hypotheses begin to gain ground (Niederle, Škultéty). This orientation also prevails in the Czech and Slovak linguistics of the last decades of the 20th century and culminates in the work of E. Erhart. According to his interpretation Proto-Slavic can be considered a peripheral idiom of the Proto-Baltic dialect continuum formed on the south margin of the East European area during the 8th–7th century BC in conditions of intensive contact with Iranian languages. Erhart's theory, based only on internal language facts, constitutes a significant counterbalance to the rather extravagant conclusions of O.N. Trubačev, who, to a large extent, resorts to interdisciplinary reasoning.

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

О ПРИЕМАХ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Живка КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА

1. Постановка проблемы

Для лингвистики нового столетия все более категорически утверждается начатый в последние десятилетия прошлого века сдвиг установки с описания и структурирования языковых данных к их объяснению, к раскрытию механизмов языка. Это связано с изменением лингвистической исследовательской парадигмы в сторону применения разработанных в когнитивной науке методов и категориального аппарата, с утверждением когнитивного подхода как ведущего исследовательского подхода. При таком подходе человек, подобно компьютеру, рассматривается как система для переработки и сохранения информации, а структура и единицы языка – как сущности, обусловленные человеческими перцептивными и когнитивными способностями при посредстве опыта: физического и культурного.

Не будет преувеличенным, если сказать, что в этом отношении меньше всего осовременилась этимология. За исключением работ некоторых авторов, выполненных в парадигме когнитивного подхода (см., например, следующие исследования, которые затрагивают прежде всего теоретические проблемы и в редких случаях предлагают и практические решения: TRAUGOTT 1982; GEERAERTS 1985, 1997; SWEETSER 1990; КОСН 1999a; КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2000; BLANK 2001), в большинстве случаев (что касается и практики изданных в последние годы этимологических словарей, их исследовательского категориального аппарата) для нее остается актуальным замечание АБАЕВА, сделанное два десятка лет тому назад, что это «наука консервативная» и «живет в основном в младограмматической традиции» (1986: 20). Эта традиция характеризуется жестким применением фонетических законов и почти полной свободой при реконструкции лексического значения. Все еще остается актуальной и констатация БУДАГОВА, что в этимологических словарях очень часто можно встретить замечание «фонетически невозможно» и почти никогда – «семантически невозможно» или «семантически возможно» (1963: 10). И в предыдущие периоды развития языковедческой науки введение ее достижений в область этимологии встречало яростное сопротивление со стороны утвердившихся этимологов. См. по этому поводу статью ТРУБАЧЕВА (1988), где критикуется и генеративистский, и структуралистический подход к значению, а также применение метаязыка при его экспликации, и одновременно

с тем не раз подчеркивается важность „семантического инстинкта" этимолога, который в конечном счете всегда субъективен.

1.1. Семантические параллели – трудности применения

Единственным объективистическим критерием, который традиционно применялся в качестве доказательства для предположенного семантического развития, остаются семантические параллели (см. об этом, например: Havlová 1979: 51; Трубачев 1980: 5; Абаев 1986: 22; Варбот 1986: 33). Поэтому в этимологии не раз прибегалось к их инвентаризации. Ср. в этой связи словарь избранных синонимов Бака, словарь по сравнительной ономасиологии Шрепфера (Buck 1949; Schröpfer 1979), а также проект каталога семантических переходов, о котором в публикации сообщила Зализняк (2001). Регистрированные семантические параллели, однако, не всегда фиксируют направление изменения значения. Если два лексических значения ассоциируются с одной и той же звуковой формой и известны случаи повторяемости этого ассоциирования, то этот факт может свидетельствовать лишь о том, что эти значения выводимы друг из друга или из третьего значения, что между ними существует историческая связь. Точное определение направления семантического развития в этимологическом исследовании нуждается в дополнительных критериях, особенно в случаях, когда реконструируются древние этимоны, так как тогда необходимо учитывать направление познания. Иногда серьезность этого факта недооценивается и появляются утверждения, что «направление семантической деривации вещь далеко не очевидная, с одной стороны, и, вообще говоря, не столь уж существенная – с другой» (Зализняк 2001: 18). В таком случае составляемый каталог семантических параллелей будет более полезным для определения этимологических гнезд, чем для реконструкции первоначальных значений и объяснения семантической эволюции. Следует отметить, что если в истории языка возможны случаи обратимости семантических переходов (см. об этом, например: Аристотел 1975: 91; Шмелев 1964: 119; Зализняк 2001: 18), то для примитивного мышления изменение значения возможно только в сторону от более примитивного к менее примитивному, иными словами – от менее сложного в когнитивном отношении к более сложному.

Является ли, например, правдоподобным утверждение, что индоевропейский корень **ken-*, от которого развились слова с пространственными и темпоральными значениями (ср., например, др.-русск. *конъ* 'граница; начало; конец'), имел первоначальное значение 'появляться, наступать' (Преображенский 1958, I: 348) или 'рождаться, прорастать, начинаться' (ЭССЯ, IV: 109), 'заново возникать; начинаться' (Шанский 1963–, II, 8: 248), иными словами – чтобы темпоральное значение являлось исходным для пространственного?

1.2. Реконструкция древних значений – трудности в связи с учетом особенностей примитивного мышления

Кроме того, авторы существующих этимологических словарей обычно не задаются вопросом, возможно ли реконструируемое лексическое значение с его предположенными семантическими связями (внутренней формой) и структурой как значение в семантической памяти человека другой эпохи. Это замечание с особой силой касается случаев, когда реконструируются древние лексические значения и нужно было бы учитывать особенности примитивного мышления.

В этом отношении подходящим примером является индоевропейское название для глаза, содержащее корень *ok^w-, который реконструируется на основании др.-болг. **око**, лит. *akis*, арм. *akn*, лат. *oculus*, гот. *augo*, др.-греч. ὄμμα и др. В результате сопоставления с др.-греч. глаголом ὄφομαι ‘увижу’ многие этимологические словари восстанавливают для корня соматического названия первоначальное значение ‘видеть; смотреть’ (Walde–Hofmann 1938, III: 201; Kluge 1963: 38; Pokorny 1949–1959, I: 775–777; Wahrig 1985: 485; Duden Etymologie: 40; Преображенский 1958, I: 347; Skok 1971–1974, II: 551; БЕР, IV: 844; Черных 1999, I: 594). На первый взгляд, такая гипотеза выглядит правдоподобной – глаз является органом зрения. Необходимо, однако, учесть и другой факт. Это самое древнее индоевропейское название для глаза и следует установить, возможна ли для него мотивированность функциональным признаком, первоначальная внутренняя форма типа «видящий; смотрящий». Иными словами, возможно ли, чтобы древние индоевропейцы сначала располагали перцептивным глаголом со значением ‘видеть; смотреть’ и впоследствии от него образовали первое для своего языка название для глаза? Нет сведений от том, чтобы оно вытеснило другое, более древнее, название (как случилось, например, с русск. *глаз*, вытеснившим как экспрессивное название псл. **oko*).

Возможно ли также, чтобы индоевропейское название для камня, отраженное в др.-болг. **камъı**, лит. *akmuõ* ‘камень’, др.-греч. ἄκμων ‘наковальня’ (< ‘большой камень’), др.-инд. *áśma* ‘камень; скала; небо’, авест. *asman-* ‘камень; небо’ и др., имело функциональную мотивированность, т. е. чтобы в момент своего создания осознавалось как название с внутренней формой «что-то острое» (Sławski 1952–1982, II: 38; БЕР, II: 189), чтобы первоначальным значением его корня (*ak'-, *ok'- или *ak-) было значение ‘острый’ (Brückner: 215; Sławski 1952–1982, II: 38; БЕР, II: 189; Bezlaj, II: 13; ЭССЯ, IX: 138). Как отмечено в ЭССЯ, название «восходит еще в дометаллический век каменных орудий» (IX: 138–139).

Многие ученые предупреждают, что необходимо остерегаться смешивания современных представлений о действительности с древними, но не указывают, как на практике это осуществимо, откуда узнать какими были эти древние представления (Виноградов 1995: 27; Бенвенист 1974: 333–334; Трубачев 1988: 217, 222).

1.3. Объективизирующая роль когнитивного подхода

Если обобщить сказанное, можно отметить, что трудности семантической реконструкции касаются как реконструкции первоначального значения древнего этимона, так и объяснения его развития. Первое связано с реконструкцией мотивирующего признака и вообще первоначального номинационного акта, а от последнего зависит определение границ этимологического гнезда, решение вопроса о древней омонимии. Следовательно, нужны дополнительные критерии, которые направляли бы этимологов при реконструкции значения, давали бы вероятностную оценку выдвинутым гипотезам.

Таким критерием и то руководствующим должно стать применение когнитивного подхода. Это означает реконструкцию такого значения, которое реально могло существовать в семантической памяти человека, а не в воображении этимолога. Как отмечает Тейлор, «значение каждой языковой формы может быть описано адекватно только в ее отношениях с соответствующей когнитивной областью или сетью областей», которые «включают знания и убеждения о мире» и этот тезис является «аксиоматическим» для когнитивного подхода (Taylor 1992: 247). В настоящей статье, которая является продолжением других моих публикаций относительно методики семантической реконструкции и применения когнитивного подхода в ней (см., например, Колева-Златева 1998; 2000), попытаюсь систематизировать ресурсы когнитивного подхода (или скорее всего маркировать такое систематизирование, так как в рамках статьи большее невозможно), показать какое место могут иметь (1) теоретические и практические результаты исследований *когнитивной лингвистики* в области *лингвистической категоризации*, *репрезентации знаний*, *концептуальной метафоры* и *метонимии* и (2) таких близких наук, как *психолингвистика развития*, *лингвистическая типология* (подталкивающая к поиску причин языковых универсалий), а также (3) иллюстрировать приемы применения когнитивного подхода при решении конкретных этимологических задач. Попытаюсь показать, как применение когнитивного подхода дает возможность вскрыть (1) сопоставленную когнитивную сложность понятий, соответствующих определенной паре значений, составляющих семантическую параллель, (2) дать вероятностную оценку реконструируемому первоначальному номинационному акту (с типологической точки зрения), (3) реконструируемому мотивирующему признаку, а также (4) возможной устойчивости и древности исследованного названия, что, со своей стороны, имеет значение для определения круга лексем, с которыми возможно родство.

2. Ресурсы когнитивного подхода

В последние десятилетия ведущим постулатом исследований, выполненных в когнитивистской парадигме, стал постулат об обусловленности познавательной деятельности перцептивными и когнитивными способностями человека. Важная роль отводится человеческому телу и его способности в результате взаимодействия с окружающей действительностью извлекать и

сохранять информацию о ней. В получившей широкую известность монографии «The Body in the Mind (Тело в сознании)», М. Джонсон отмечает, что человеческий разум воплощен в человеческих телах и это воплощение находит самое яркое выражение в том, чем и как вещи значимы для человека и как эта значимость может быть развита и выражена (JOHNSON 1987: xix). С позиций «отелесненного» когнитивного подхода (embodied cognition approach) удается объяснить некоторые семантические универсалии. Например, универсалию структурирования семантического поля цветовых обозначений (BERLIN–KAY 1969) Кей и Макданиел считают обусловленной невроанатомией цветовидения (KAY–MCDANIEL 1978: 630). А причину большей концептуальной примитивности пространственной терминологии, относящейся к сторонам ВЕРХ и ПЕРЕД, чем в обратные стороны, которую установили Х. Кларк и Е. Кларк, Ли видит в расположении сенсорных органов (LEE 1992: 223–224). В этом же духе относительно семантических универсалий вообще делается обобщенный вывод, что решающая роль принадлежит когнитивному аппарату, который для разных культур схожим образом анализирует и классифицирует воспринимаемые перцептивным аппаратом данные объективной действительности, отражая таким способом свои фундаментальные особенности (HAWKINS 1992: 17). Очень часто для доказательства того, что семантические универсалии обусловлены человеческим перцептивным и когнитивным аппаратом, приводятся факты детского познавательного развития (см. такие примеры далее).

2.1. Лингвистическая категоризация и семантические универсалии

С обусловленностью языковых фактов человеческими перцептивными и когнитивными способностями не может не считаться и этимология. Одним из способов их учета – это применение теоретических и практических выводов *когнитивной лингвистики* относительно *лингвистической категоризации* и *семантических универсалий*, сформулированных *лингвистической типологией*.

Категоризация действительности является одной из важнейших когнитивных функций языка. Большей своей частью она осуществляются автоматически, неосознанно (LAKOFF 1987). Хотя не весь лексический состав языка исследован с точки зрения категоризации, уже имеются многие работы, которые принесли свой вклад в изучение ее принципов, а также сделали конкретные практические выводы относительно определенных областей знания. Доказанным считается, что объективная действительность отражается в языке не как в зеркале и не случайным образом. Не всё в ней, а также не одновременно и не одинаковым образом было концептуализировано и названо при помощи языка. Исследования Рош показали, что в семантической памяти человека члены категорий характеризуются разной психологической значимостью, относясь к их центру, т. е. являясь их лучшими представителями (прототипами), или к периферии (ROSCH 1973, 1977). Это обусловлено принципом работы человеческого когнитивного аппарата, стремящегося к экономии.

О подобной асимметрии свидетельствуют и исследования *типологического языкознания*, формулирующие универсалии категоризации лексических (семантических) полей. При всем многообразии существующих картин мира, существуют универсальные понятия, выражаемые во всех или большинстве языков. Например, исследование лексического поля названий частей тела, проведенное Е. Андерсен на основании 50 языков, показало, что все языки называют ГОЛОВУ, ГЛАЗ, РОТ, НОС, РУКУ, большинство – и НОГУ (но не все! – замечание мое: Ж. К.-З.), и всегда как разные вещи, т. е лексемами, которые не находятся в деривационных отношениях между собой. Хотя и не обязательно как разные вещи, все языки называют ПАЛЕЦ (руки и ноги), а также и НОГОТЬ (руки и ноги). Названия данных частей тела являются наиболее употребительными и находятся среди первых названий, усваиваемых детьми. Кроме того, названия частей верхней половины тела характеризуются большей психологической значимостью по сравнению с названиями частей нижней половины. Таким же образом противопоставлены и названия частей передней половины тела названиям задней половины. К такому выводу Андерсен приходит, учитывая детское языковое и когнитивное развитие и соматические названия, находящиеся в деривационных отношениях между собой. Кроме того, простыми, морфологически непроизводными названиями обозначены: ГОЛОВА, РУКА (arm), НОГА (leg, если обозначена), ЛИЦО, ГЛАЗ, РОТ и УХО. Другие универсально обозначенные части тела, которые часто, (но не всегда! – замечание мое – Ж. К.-З.) названы непроизводными словами, – это ПАЛЕЦ (руки, ноги) и НОГОТЬ (руки, ноги). На этом основании Андерсен квалифицирует соответствующие понятия базисными и отмечает, что чаще всего слова, которые их выражают, многозначны и от них образуются другие соматические названия на основании структурного сходства или пространственного соседства обозначаемых денотатов (ANDERSEN 1978: 351–360). Становится ясным, что и универсально называемые части тела характеризуются разной перцептивной «выпуклостью» (perceptual saliency, prominence) и что менее «выпуклыми» из них являются НОГА, ПАЛЕЦ, НОГОТЬ.

В этимологии учет принципа разной психологической значимости понятий (центральности/не центральности членов одной категории или универсальности/не универсальности членов семантического поля) может играть роль при формулировании гипотезы о древности или инновационном характере исследуемой лексемы. Центральные понятия категорий, так же как и универсальные понятия семантических полей более примитивны, характеризуются большей устойчивостью и древностью. Как отмечает Герартс, эффективность человеческой когнитивной деятельности обеспечивается сочетанием двух принципов: структурной стабильности (structural stability) и гибкой приспособляемости (flexible adaptability). Принцип структурной стабильности препятствует драстическим изменениям, ведущим к хаотичности, а принцип гибкой приспособляемости обеспечивает возможность отвечать меняющимся условиям и меняющимся потребностям выражения. Прототипическая организация категорий в высшей степени удовлетворяет этим принципам. Общая

структура категории сохраняется, ее центр проявляет стабильность, в то время как периферия в большей степени поддается изменениям (GEERAERTS 1985: 141). Конечно, не следовало бы ожидать, чтобы все слова, выражающие центральные или универсальные понятия, оказались древними, так как лексикон языка подвержен также влиянию сил, противодействующих стремлению к устойчивости. В первую очередь, такой является тенденция к экспрессивности (эмотивности). Она соответствует эмотивной функции языка, стремлению не только назвать денотат, но и выразить отношение к нему (о функции см. ЯКОБСОН 1975: 198). Прежде всего в результате этой тенденции происходит обновление словарного состава языка. Конечно, и табуистические причины играют немалую роль.

Посмотрим, как на практике можно использовать подобные выводы в этимологии. Возьмем к примеру славянские названия частей человеческого тела. В целом, для их динамики исключительно актуальна тенденция к экспрессивности, ставшая причиной для постоянного обновления их состава, а также для существования у них множества экспрессивных синонимов и сегодня (более подробно см. КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 1997б). Следует отметить, что не все нейтральные соматические названия имеют экспрессивные синонимы. Больше всего экспрессивных синонимов имеют как раз центральные лексические единицы данного семантического поля. Стремлению к обновлению соматической лексики противодействует тенденция к устойчивости, структурной стабильности, к сохранению наиболее центральных из них. В результате, с индоевропейской эпохи сохранились праславянские соматические названия **oko*, **uxo*, **nos*, отраженные сегодня во всех славянских языках (исключением является вытеснение наследника **oko* русским *глаз*), с балто-славянской – также отраженные во всех славянских языках **golvā*, **rąkā*, **pьrstъ* и **nogъtь*, что корреспондирует с универсальностью соответствующих понятий, большой перцептивной «выпуклостью» называемых денотатов. Следует отметить также, что последние два названия не подвержены конкурентному воздействию со стороны экспрессивных синонимов. Новообразованием праславянской эпохи является псл. **noga* (называющее первоначально нижнюю часть ноги, стопу), вытесненное в некоторых славянских диалектах наследниками псл. **korkъ*. Для называния бедра в славянских литературных языках используются наследники псл. **bedro* и **stegno*, которые, однако не являются общими для всего славянского диалектного континуума (ср., например, русск. *ляжка* (ДАЛЬ[2], I: 285), болг. диал. *кълка*). Большое разнообразие наблюдается также при славянских названиях икры ноги: ср. русск. *икра*, болг. *прасец*, словен. *meča*, польск. *łydka* и т. д. В целом, название ноги показывает меньшую стабильность, чем название руки, а еще меньшую стабильность показывают названия частей ноги. Можно сказать, что картина динамики названий частей тела в общих линиях соответствует регистрированной универсалии категоризации данного лексического поля. Этот факт подтверждает гипотезу, что учет психологической значимости понятий в качестве фактора, влияющего на их устойчивость, может играть роль при этимологических решениях,

когда исследуемые слова не имеют надежных соответствий в других языках и необходимо прогнозировать их возможную древность. Таким образом, сформулированная некоторыми этимологами гипотеза об индоевропейском происхождении праславянского соматического названия **bedro* (Machek 1971: 50; Berneker: 48; Младенов 1941: 20; Sadnik–Aitzetmüller 1963–1970, I: 264; Фасмер 1976–1977, I: 143), которое не имеет надежных соответствий в других индоевропейских языках, выглядит маловероятной, так как для названий бедра исключительно актуальна тенденция к экспрессивности (что доказывается наличием множества экспрессивных синонимов и фактом разнообразия в пространстве), а ей не противодействует сильная устойчивость. Следовательно, для псл. **bedro* более вероятно искать праславянскую этимологию. См. подробно представленную гипотезу об этимологии псл. **bedro* в: (Колева-Златева 1997в), а комплексное исследование этимологии славянских названий частей тела с учетом универсалий данного лексического поля – в: (Колева-Златева 1997а).

Другой важной особенностью категоразиции является то, что она основана на умении «видеть сходство в разнообразии» (Taylor 1989: viii). Предметы обладают разными признаками и на основании разных признаков могут быть восприняты, названы, объединены в классы. Поэтому в традиционной лингвистике довольно популярной стала точка зрения, что мотивирующий признак названия случаен (см., например, Серебренников 1977: 167). Исследования когнитивной лингвистики в области категоризации и данные лингвистической типологии, однако, свидетельствуют о другом. Они показали, что разные признаки предметов характеризуются разной перцептивной «выпуклостью», разной психологической значимостью для человека и поэтому играют разную роль в формировании языковых категорий. Авторы, исследующие детское языковое развитие, универсалии семантических полей и формирование языковых классификаторов, отмечают, что данные этих предметов исследования могут пролить свет на природу познавательных способностей. Они приходят к одинаковым выводам относительно психологической значимости признаков. Е. Кларк, например, ссылаясь на исследования и других лингвистов, приходит к заключению, что и для ранних детских семантических сверхгенерализаций, и для языковых классификаторов первостепенную роль играют признаки, связанные с формой предмета, и среди них – ‘круглый’ и ‘продолговатый’, на основании чего формулирует вывод, что эти признаки играют важнейшую роль в языковой категоризации (1984: 225, 236, 238–239). К такому же выводу приходит и Е. Андерсен в цитированном исследовании, учитывая обязательно названные части человеческого тела в разных языках как проявление универсально перцептивного, случаи полисемии (когда одно слово называет больше чем одну часть тела) и морфемной деривации между разными соматическими названиями, а также факты детской речи. Андерсен отмечает, что о перцептивной «выпуклости» и примитивности признака ‘круглый’ свидетельствуют и самые ранние детские рисунки человека, изображающие голову, глаза, рот, уши (все они круглые).

Следующий этап рисунков характеризуется добавлением двух длинных вертикальных линий (ноги) и двух коротких линий (руки), начинающихся прямо с головы, добавлением носа к лицу (части тела, которые характеризуются признаком 'продолговатый'). Далее следует добавление туловища и шеи. (ANDERSEN 1978: 352–364). Е. Андерсен ссылается и на выводы Бака о том, что для названий частей тела с ясной этимологией мотивирующий признак чаще всего связан с расположением или формой их референта, а не с его функцией и что в разных языках названия для глаза, уха, носа, рта, ноги не являются производными от глаголов со значениями, соответственно, 'смотреть', 'слышать', 'нюхать', 'говорить' (или 'есть'), 'ходить'. А если некоторые из них связываются с функцией, то, по всей вероятности, это вторично (BUCK 1949: 197; ANDERSEN 1978: 363). Ссылаясь на исследования и других естественных категорий, Андерсен подчеркивает, что «визуально воспринимаемые свойства объектов и особенно формальные свойства, играют первостепенную роль в формировании категорий. Среди них формальные свойства 'круглый' и (на втором месте) 'продолговатый' являются перцептивно наиболее «выпуклыми» и поэтому используются при классификации объектов» (ANDERSEN 1978: 345).

О большей психологической значимости формальных признаков свидетельствуют и типологические исследования, которые не выполнены в когнитивистской парадигме, но их результаты подкрепляют сделанный когнитивистами вывод. Например, на материале 100 языков, итальянский лингвист Тальявини открыл 9 стратегий, которые использованы для называния зрачка. В 44 случаях исходными являются понятия: МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК/МАЛЬЧИК/ДЕВОЧКА/КУКОЛКА, в 36 – ОРЕШЕК/ЗЕРНО/ЖЕМЧУЖИНА, в 24 – ЧЕРНЫЙ, в 21 – ШАР/ЯЙЦО/ЯБЛОКО, в 16 – ВИДЕТЬ/СМОТРЕТЬ, 14 – ЗВЕЗДА/СВЕТ, 7 – ЦЕНТР, 4 – ЗЕРКАЛО; отмечены также случаи названий с редупликацией по образцу детских лепетных слов (цит. по BLANK 2001: 17).

Посмотрим какое значение данные выводы могут иметь для конкретных этимологических исследований. Вернемся к вопросу о мотивированности (внутренней формы) индоевропейского названия для глаза. В контексте установленной большей перцептивной «выпуклости» (а это означает и примитивности) формальных признаков, и особенно признака 'круглый', идея о функциональной мотивированности данного названия (см. выше) выглядит совершенно неприемлемой. Среди частей тела глаз характеризуется, может быть, наиболее высокой перцептивной «выпуклостью». Поэтому следовало бы ожидать, что его древнее название, будет мотивировано тоже перцептивно «выпуклым» признаком. Связь значений 'глаз' и 'смотреть; видеть' возможна в обоих направлениях (ср. англ. *eye* 'глаз; смотреть', русск. *глаз*, *глазить* 'пристально смотреть', с одной стороны, и болг. *гледам* 'смотреть', диал. *гледец* 'зрачок', с другой), но переход 'глаз' → 'смотреть; видеть' является более примитивным и поэтому – единственно возможным для древнего индоевропейского названия для глаза с корнем $*ok^{w}$- (см. более подробные аргументы в: (КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2000: 106–108)).

Неприемлема с когнитивной точки зрения также и идея о функциональной мотивированности балтославянского названия для руки **rąkā*, о его первоначальной внутренней форме «собирающая; собиратель», выдвинутая на основании сопоставления с литовским глаголом *rinkti* ‘собирать’ (Преображенский 1958, II: 223; Fraenkel 1962–1965, II: 697; Шанский, Иванов, Шанская 1961: 219). Такая внутренняя форма возможна для названия инструмента, которое в результате метафорического переноса могло развить и значение ‘рука’ (см. такую гипотезу в: (Skardžius 1943: 575)). Правдоподобной выглядит также гипотеза, что значение ‘рука’ данное слово развило метонимически от соматического значения ‘горсть’, которое со своей стороны развито от значения ‘горсть-количество’, мотивированное значением ‘хватать’ (более подробно см. Колева-Златева 1996).

С позиции рассмотренной универсалии категоризации названий частей тел можно объяснить почему некоторые из них, имеющие все еще прозрачную внутреннюю форму, мотивированы функционально, и высказать гипотезу для каких из деэтимологизированных из них тоже возможна функциональная (признаковая) мотивированность. Ср., например, болг. *ходило*, чеш., словацк. *chodidlo* ‘ступня’ (<**xoditi*), болг. *гледец* ‘зрачок’ (< болг. *гледам* ‘смотреть’), болг. *мигла* ‘ресница’ (< болг. *мигам* ‘мигать, моргать’), русск. *ступня*, болг. *стъпало* (< псл. **stąpati*), русск. *белок* (глаза) (< русск. *белый*) и т. д. Это названия перцептивно «не выпуклых» частей тела. Они возникли как описательные расчлененные (двусоставные) наименования, содержащие дифференцирующий (специализирующий) и идентифицирующий (относящий к более «выпуклой» части тела) элемент типа: *ступня ноги*, *белок глаза* и т. д. С течением времени, в соответствии с тенденцией к экономии, в двусоставном наименовании в плане выражения происходит утрата идентифицирующего элемента, когда он становится легко предсказуемым и подразумевается. По-видимому, так возникли и этимоны праславянских названий **dolnь* ‘лодонь’, **olkъtь* ‘локоть’, называющие перцептивно «не выпуклые» денотаты. Для них можно реконструировать первоначальные значения соответственно ‘плоскость’ (‘плоское, ровное место’ – ЭССЯ, V: 64) и ‘изгиб’ (возводя к индоевропейскому корню *el- ‘изгибать, загибать, искривлять, связывать’ – БЕР, III: 294) и предположить развитие от двусоставных названий типа: **плоскость руки*, **изгиб руки*. В типологическом плане ср. с болг. *прегъвка на ръката* ‘место на внутренней стороне руки, где она сгибается в локтевом суставе’.

2.2. Когнитивная метонимия

При реконструкции мотивирующего признака названия необходимо учитывать также возможность метонимического переноса, так как он основан не на сходстве. В таком случае вероятность мотивирующего признака нужно оценивать с точки зрения другого референта, отношения соседства которого с референтом-приемником когнитивная лингвистика описывает в терминах

фреймовой репрезентации, с учетом эффекта фигуры и фона (см., например, BLANK 1999; KOCH 1999b; KOCH 2004). Такой подход отличается от традиционного, рассматривающего метонимию просто как перенос на основании соседства: пространственного, темпорального, причинно-следственного и т. д., тем, что семантическое изменение рассматривается в контексте соответствующей когнитивной области и оценивается с точки зрения перцептивным и когнитивных характеристик, таких как перцептивная «выпуклость» референта, психологическая значимость понятия.

Для иллюстрации роли этих факторов Бланк ссылается на результаты исследования Коха о названиях деревьев и их плодов, в котором представлены базированные на материале 27 языков наблюдения над названиями ГРУШИ-ДЕРЕВА и ГРУШИ-ПЛОДА, с одной стороны, и БУКА и БУКОВОГО ОРЕШКА, с другой. Комплекс понятий ДЕРЕВО–ПЛОД Кох рассматривает как элементы одного фрейма и устанавливает общую для языков тенденцию вербализации ГРУШИ-ДЕРЕВА на основании ГРУШИ-ПЛОДА, а БУКОВОГО ОРЕШКА – на основании БУКА. В первом случае ДЕРЕВО является фоном, а ПЛОД – фигурой, т. е. перцептивно более «выпуклым» элементом фрейма, а во втором, наоборот, фоном является ПЛОД, а фигурой – ДЕРЕВО и это, по мнению Бланка, обусловлено опытом (BLANK 2001: 19). Конечно, у разных культур экстралингвистический опыт с одним и тем же объектом может быть разный и в итоге – разный результат эффекта фона и фигуры. Данный вывод может быть использован при исследовании этимологии названий деревьев и их плодов, так как среди них довольно часты случаи семантической деривации на основании метонимии или морфологической деривации, которая с течением времени может затемниться (обе в сторону от перцептивно более «выпуклого» элемента, т. е. фигуры, к мене «выпуклому», т. е. фону).

Возьмем к примеру праславянское название дерева КИЗИЛ (Cornus mascula) **dernъ*, называющее в некоторых славянских языках и плод этого дерева (ср. русск. *дерен* ‘деревцо и плоды кизил’ (ДАЛЬ[2], I: 431), укр. *дерен* тоже), которое не имеет общепринятой этимологии. Учитывая факт, что это дерево рождает съедобные плоды, можно предположить, что в фрейме ДЕРЕВО–ПЛОД фигурой является ПЛОД. Вероятно, так обстоит дело с турецким названием *kızılcık* ‘кизиль’, заимствованным из тюркских языков также русским языком (ср. русск. *кизил* ‘дерево Cornus; плод этого дерева’, являющееся, по всей вероятности, результатом редеривации от **кизил-чик*), которое мотивировано признаком ‘красный’ (ср. с тур. *kızıl* ‘красный’) (ФАСМЕР 1976–1977, II: 230). О том, что название первоначально обозначало плод, а не дерево (ср. еще с тур. диал. *kızılcık* ‘красный колючий плод с сухой косточкой величиной с горошину, дикое яблоко; вишня’, кар.-к. *кызылчык* ‘кизил (плод)’ (цит. по: ЭСТЯ)), доказывается и аффиксом *-cık*, который выражает уменьшительно-ласкательное значение[1]. Для древних славян, однако, фигурой фрейма ДЕРЕ-

[1] Возможно, что с дерева Cornus mascula название *кизил* перенесено и на другие деревья или кустарники в результате недопонимания. Поэтому вряд ли прав АНИКИН, реконструируя

во–плод (кизил), скорее всего, было кизил-дерево, являясь символом здоровья, силы, молодости, каким и по сей день остался у южных славян (см. Агапкина). Они лучше сохранили наследники псл. **dernъ*, а также символику дерева, которое используется в некоторых обычаях и обрядах. С этой точки зрения, предположенная Бернекером этимология, связывающая данное название с лат. *firmus* 'здоровый', др.-инд. *dhar-* 'держать, хранить' (Berneker, I: 184), выглядит и с когнитивной точки зрения правдоподобной.

2.3. Психолингвистика развития

Для вероятностной оценки реконструированного древнего значения ценными могут быть и данные *психолингвистики развития*. Теоретические основания для целесообразности такого подхода подробно аргументированы в (Колева-Златева 2000: 17–66) и поэтому не буду на них останавливаться.

С одной стороны, психолингвистические исследования детской речи являются ценными для когнитивистской оценки типологии номинационного акта. Исследования ранней детской речи, во-первых, показывают, что среди слов, создаваемых детьми, преобладают звукоподражательные слова, которые с течением времени в связи с семантической генерализацией стремятся избавиться от изначальной иконичности (Колева-Златева 2000: 82–83). Во-вторых, при усвоении слов из языках взрослых наблюдается стремление открыть в них символику звучания (Негневицкая–Шахнарович 1981: 21–23). Эти факты подкрепляет гипотезу об изобразительном происхождении языка и преобладании фонетически мотивированных слов на древней стадии его развития. Кроме того, факты ранней детской речи свидетельствуют и о большей примитивности редупликации как словообразовательного способа. Не случайно, фонетически мотивированные слова часто образованы при помощи редупликации. Поэтому в этимологии возможность усмотреть в слове редупликацию должна быть предпосылкой для проверки возможности фонетической мотивированности его этимона (более подробно см. Колева-Златева 2004).

С другой стороны, факты детской речи могут свидетельствовать о природе древних значений и характере примитивного мышления. Во многих исследованиях, посвященных ранней детской речи (в том числе и психологов классиков (см., например, Выготский 1934), сделаны выводы о ситуативной обусловленности ранних детских слов, о диффузности и невозможности рассмотрения их значений как ясно очерченные сегменты семантического пространства. Ранние детские семантические сверхгенерализации, как было упомянуто и выше, свидетельствуют о разной психологической значимости признаков предметов. С другой стороны, факты детской речи иллюстрируют и

для регистрированного в сибирских диалектах слова *кизил* со значением 'мелкий кустарник, корни трав и т.п., служащие топливом в безлесных местах' (значение цитировано по СРНГ, а там дана ссылка на Словарь Даля (см. Даля[2], II: 107), где оно помечено знаком ?) связывающее звено семантического развития 'загорающийся, горючий'. Автор допускает и другую мотивировку – развитие от первоначального названия «растения красно(вато)го цвета» (2000: 288).

естественное направление эволюции значений. Данное утверждение вытекает из убеждения, что порядок овладения языковыми категориями не случаен и свидетельствует об их сопоставленной когнитивной сложности (эту зависимость относительно грамматических категорий см. в: (СЛОБИН 1984). Например, Дин отмечает, что раньше всего усваиваемые и больше всего стабильные (entrenched – термин Лангакера) понятия – это «эгоцентрические, агентивные, конкретные, богатые информации, чаще всего употребляемые и, наоборот, самые нестабильные и позже усваиваемые – это объективные, неагентивные, абстрактные, бедные информации и редко употребляемые понятия»; «чем более агентивным является данное понятие, тем легче ассимилируется ранними детскими концептуальными схемами, тем более стабильным оказывается» (DEANE 1992: 195).

Данные закономерности дают возможность осмыслить связь между значениями ‘камень’ и ‘острый’, с которыми связывается этимон индоевропейского названия камня (см. выше). Учитывая факт его древности, не следовало бы формулировать ясные деривационные отношения ясно очерченных, дискретных значений ‘острый’ и ‘камень’ и реконструировать для слова первоначальное значение ‘что-то острое’, а для его корня **ak'-*, **ok'* или **ak-* – значение ‘острый’. Когда реконструируются древние значения, нужно иметь в виду то, что средства современного языка трудно могут эксплицировать точно древнюю диффузную семантику. Если все-таки какая-либо дискретность и направление развития в данном случае существует, то скорее всего это в обратную сторону, от предмета к его признаку, так как таким образом проявляется агентивность древних понятий. Как проявление стремления к агентивности можно рассматривать и семантическую эволюцию ‘глаз’ > ‘видеть, смотреть’, предположенную для индоевропейского названия для глаза (см. выше).

В психолингвистике развития сделаны и другие выводы относительно сопоставленной когнитивной сложности понятий в детской семантической памяти: маркированные понятия усваиваются позже соответствующих им немаркированных, относительные понятия – позже референциальных (INGRAM 1996: 413–414), темпоральная терминология усваивается позже и часто образуется на основании пространственной (CLARK 1973).

2.4. Когнитивная метафора

О направлении семантической эволюции могут свидетельствовать также исследования в области *когнитивной (концептуальной) метафоры*. Являясь важным, неосознаваемым инструментом познавательной деятельности, механизмом для опознавания новых, более абстрактных областей (областей-мишеней) при помощи накопленного опыта, представлений и понятий в уже опознанных, более конкретных, интуитивно более понятных областях (областях-источниках), связанных прежде всего с физическим опытом человека (см. эти особенности в: LAKOFF–JOHNSON 1980, JOHNSON 1987), когнитивная ме-

тафора не может не обуславливать и семантическую эволюцию лексики. Таким образом сформулированные когнитивной лингвистикой концептуальные метафоры на основании анализа языкового материала и экстралингвистических данных (практической деятельности, жестов, фольклора, мифологии, так как концептуальные метафоры проявляются и в них) могут играть роль при определении более естественного направления семантического изменения. Это особенно важно при реконструкции древних значений. В отличие от семантических параллелей, когнитивные метафоры свидетельствуют не только о связи значений, но и об их сопоставленной когнитивной сложности.

Например, когнитивная метафора ЗНАНИЕ – ЭТО ВИДЕНИЕ, проявляющаяся в таких выражениях, как *вижу, что стараешься*; *мне все ясно*; *туманная теория*, объясняет связь между значениями 'видеть' и 'знать' и направление семантической эволюции в этимологическом гнезде др.-болг. **видѣти** 'видеть' и **вѣдѣти** 'знать' (< ие. **weid-* 'видеть'); др.-греч. аорист εἶδον 'увидел' и перфект οἶδα 'знать' (см. подобное когнитивистское объяснение связи данных значений в: Sweetser 1990: 33–34). Возможно, что она прольет свет и на другие слова из области ЗНАНИЕ, у которых не выяснена этимология.

Возьмем другой пример. В своем словаре-справочнике по семантическим параллелям Бак отмечает, что названия страха производны от названий, обозначающих такие физические действия, как 'дрожать', 'убегать', 'быть ударенным' и др., хотя и для многих из цитированных слов отмечает, что их этимология темная (Buck 1949: 1153). Можно сказать, что такой вывод базирован не на каких-либо объективных фактах, а только на субъективном представлении о правдоподобии. В когнитивной лингвистике на основании анализа современного языкового материала, такого, как: *кровь застывает в жилах*, *выступает холодный пот*, *зубы дрожат*, *леденящий страх*, *оцепенеть от страха*, сформулирована концептуальная метафора СТРАХ – ЭТО ХОЛОД[2] (см. регистрацию метафоры в (Lakoff 1994), где приводится английский языковой материал). Иными словами, представления и понятия из более конкретной области знания ХОЛОД человек неосознанно использует, когда говорит и думает о более абстрактной области СТРАХ. Когнитивная область ХОЛОД включает также ДРОЖЬ, ОЦЕПЕНЕНИЕ. Поэтому, когда исследуется этимология слов, называющих страх, следовало бы ожидать что они могут отражать связь с представлениями о холоде, дрожи, оцепенении. Такой вывод должен играть верифицирующую роль (и только такую!) относительно гипотез об их происхождении. Ср., например, оспариваемую гипотезу о связи балто-славянских и индоиранских названий для страха: лит. *baimė*, др.-болг. **боязнь**,

[2] В данном случае Кевечеш говорит о концептуальной метонимии ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТРАХ, рассматривая ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА как часть области эмоции СТРАХ (Kövecses 2000: 5, 24), что вряд ли основательно. В аналогичном случае относительно области эмоции ГНЕВ автор говорит о концептуальной метафоре ГНЕВ – ЭТО ГОРЯЧАЯ ЖИДКОСТЬ В КОНТЕЙНЕРЕ, ГНЕВ – ЭТО ОГОНЬ (2000: 21–22), т. е. повышение температуры тела и сама эмоция рассматриваются как разные когнитивные области.

др.-инд. *bhayam* и др. с др.-англ. *beofian*, др.-выс.-нем. *bibēn* ‘дрожать, трепетать’ (см., например, ФАСМЕР 1976–1977, I: 204). Разные гипотезы существуют и о происхождении псл. **strахъ*. Цитированная концептуальная метафора подкрепляет гипотезу Перссона, принимаемую Ильинским, Фасмером, что первоначальным для данного слова было значение ‘оцепенение’, которое реконструируется на основании сравнения с лит. *strėgti* ‘оцепенеть, превратиться в лед’ (см. ФАСМЕР 1976–1977, III: 772).

С точки зрения концептуальной метафоры можно оценить и гипотезы относительно этимологии псл. **конъ*, **коньсъ* **начęло*, наследники которых выражают пространственные и темпоральные значения. Трудностью в данном этимологическом гнезде является также объяснение связи между значениями ‘начало’ и ‘конец’ и их выражение одной и той же лексемой: ср. др.-русск. *конъ* ‘граница; начало; конец’, сербск. *кон* ‘начало; конец’ (в выражении *от кона до кона* ‘с начала до конца’). Связь между пространственными и темпоральными значениями можно объяснить при помощи метафоры ВРЕМЯ – ЭТО ЛАНДШАФТ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ МЫ ДВИЖЕМСЯ (см. регистрацию метафоры в LAKOFF 1994), где ВРЕМЯ является более абстрактной областью-мишенью, а ЛАНДШАФТ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ МЫ ДВИЖЕМСЯ – более конкретной областью-источником. В таком случае эволюция темпорального значения в пространственное, как предполагают многие исследователи (см. выше), с когнитивной точки зрения невозможна. Следовательно, среди значений ‘предел, граница’, ‘начало’, ‘конец’ исходным следует рассматривать пространственное значение ‘предел, граница’. Пределом/границей обладают предметы, которые составляют пространство, а началом и концом – события. Границы предмета могут быть осмыслены как его начало или конец только в контексте связанного с ним события. Например, можно говорить о начале или конце коридора только в связи с движением по нему. Таким образом значение ‘предел, граница’ может быть осмыслено как ‘начало’ или ‘конец’. Гипотеза, учитывающая концептуальную метафору о связи пространственных и темпоральных представлений, объясняет семантическую эволюцию с точки зрения возможностей семантической памяти, а не с точки зрения видимого правдоподобия». Ср. с объяснением Куркиной, что «конец одной части пространства является в то же время началом другого» и что это нашло отражение в этимологическом тождестве **конъ*, **коньсъ*, **начęло* (КУРКИНА 2003: 370). В качестве типологической параллели развития пространственного значения в темпоральное ср. с русск. диал.: *Я с самого краю не верила* (СРНГ, XV: 164). Что касается пространственного значения этимона псл. **конъ* ‘предел, граница’, оно, по всей вероятности, является наследником значения ‘место разрыва’, находящегося в деривационных отношениях со значением ‘рвать’ этимона лит. *skinti* ‘рвать’, болг. *откъ̀нж* ‘рвать’ (ГЕРОВ 1975–1978, III: 412) (глагол с ослабленной степенью коренного гласного). В типологическом отношении ср. с псл. **kraj* ‘граница, предел’ < ‘место среза’, которое образовано от **krojiti* (см. БЕР, II: 709).

3. Заключение

Не считая вопрос о приемах когнитивного подхода в этимологических исследованиях исчерпанным, можно сделать следующее обобщение. Если конец XIX века дал этимологии точные фонетические законы, отступление от которых невозможно, то конец XX века дал когнитивные критерии, соблюдение которых обязательно, так как семантические категории зависимы от категорий когнитивных. Для нужд семантической реконструкции необходима инвентаризация не только семантических параллелей, но также практических и теоретических выводов исследований, выполненных в когнитивистской парадигме. Их совместное применение, безусловно, повысит объективность этимологических гипотез.

Сокращения названий языков:

авест.	– авестийский	кар.-к.	– каракалпакский
англ.	– английский	лат.	– латинский
арм.	– армянский	лит.	– литовский
болг.	– болгарский	польск.	– польский
гот.	– готский	псл.	– праславянский
диал.	– диалектный	русск.	– русский
др.-англ.	– древнеанглийский	сербск.	– сербский
др.-болг.	– древнеболгарский	словацк.	– словацкий
др.-выс.-нем.	– древневысоконемецкий	словен.	– словенский
др.-греч.	– древнегреческий	тур.	– турецкий
др.-инд.	– древнеиндийский	укр.	– украинский
др.-русск.	– древнерусский	чеш.	– чешский

Литература

Абаев 1986: Абаев В. И. Как можно улучшить этимологические словари // Этимология 1984. Москва, 7–27.

Агапкина: Агапкина Т. А. Кизил // Словарь славянской мифологии. – Online: http://www.pagan.ru/mith/, Date of access: 08.04.2006.

Аникин 2000: Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. 2-е издание, исправленное и дополненное. Москва–Новосибирск.

Аристотел 1975: Аристотел. За поетическото изкуство. София.

Бенвенист 1974: Бенвенист, Э. Общая лингвистика. Москва.

БЕР: Български етимологичен речник. Т. I–. София, 1971–

Будагов 1963: Будагов Р. А. Сравнительно-семасиологические исследования. Москва.

Варбот 1986: Варбот Ж. Ж. О возможности реконструкции этимологического гнезда на семантических основаниях // Этимология 1984. Москва, 33–40.

Виноградов 1995: Виноградов В. В. Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования // Вопросы языкознания. №1, 5–36.

Выготский 1934: Выготский Л. С. Мышление и речь. Москва.

Геров 1975–1978: Геров, Н. Речник на българския език. Т. I–VI, Т. IV и V, издадени под редакцията на Т. Панчев. София.

Даль[2]: Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. Набрано и напечатано со второго издания 1880–1882. Москва, 1955.

Зализняк 2001: Зализняк А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект «Каталога семантических переходов» // Вопросы языкознания. №2, 13–25.

Кларк 1984: Кларк, Е. В. Универсальные категории: о семантике слов-классификаторов и значениях первых слов, усваиваемых детьми // Психолингвистика. (Сборник статей). Под ред. А. М. Шахнаровича. Москва, 1984, 221–240.

Колева-Златева 1996: Колева-Златева, Ж. За етимологията на балтославянското название за ‘ръка’ // Ономастично и етнолингвистично пространство на езика. Сборник в чест на проф. Н. Ковачев. т. II. В. Търново, 1996, 139–142.

Колева-Златева 1997а: Колева-Златева, Ж. Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. В. Търново, 1997.

Колева-Златева 1997б: Колева-Златева, Ж. Методологични бележки относно етимологичните изследвания по тематични групи (Върху материал от българската соматична лексика) // Българистични проучвания. В. Търново, 115–128.

Колева-Златева 1997в: Към етимологията на псл. *bedro // Българистични проучвания. В. Търново. 1999, 117–124.

Колева-Златева 1998: Колева-Златева, Ж. Семантична реконструкция. Методологични аспекти. В. Търново; Online: http://www.belb.net/Personal/Koleva.html

Колева-Златева 2000: Колева-Златева, Ж. Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. В. Търново; Online: http://www.belb.net/Personal/Koleva.html.

Колева-Златева 2004: Колева-Златева, Ж. О типологических критериях распознавания слов звукосимволического происхождения в этимологических исследованиях // Slavica XXXIII, Debrecen, 23–42.

Куркина 2003: Куркина Л. В. Система пространственных представлений древних славян (по материалам лексики) // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна, 2003. Доклады российской федерации. Москва.

Младенов 1941: Младенов, С. Етимологически и правописен речник на българския език. София.

Негневицкая–Шахнарович 1981: Негневицкая Е. И., Шахнарович А. М. Язык и дети. Москва.

Преображенский 1958: Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. I–II. 1. Москва, 1910–1914. – Репродуцировано с выпусков 1910–1914 годов и последнего выпуска 1949 г., АН СССР.

Серебренников 1977: Серебренников Б. А. Номинация и проблема выбора // Языковая номинация. Общие вопросы. Москва, 147–187.

Слобин 1984: Слобин, Д. Когнитивные предпосылки развития грамматики // Психолингвистика (Сборник статей). Под ред. А. М. Шахнаровича. Москва, 143–207.

СРНГ: Словарь русских народных говоров. Ред. Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов. Т. I–. Ленинград, 1965–

Трубачев 1980: Трубачев О. Н. Реконструкция слов и их значений // Вопросы языкознания. №3, 3–14.

Трубачев 1988: Трубачев О. Н. Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. Отв. ред. Н. З. Гаджиева. Москва, 197–222.

Фасмер 1976–1977: Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка.

Черных 1999: Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. 3-е изд., стереотип. Т. I–II. Москва.

Шанский1963–: Шанский Н. М. Этимологический словарь русского языка. Москва,

Шанский, Иванов, Шанская 1961: Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. Москва.

Шмелев 1964: Шмелев. Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка. Москва.

ЭССЯ: Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О. Н. Трубачева. Москва, 1974–

ЭСТЯ: Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские лексические основы на букву «к». Вып. 2. Отв. ред. Г. Ф. Благова. Москва, 2000.

Якобсон 1975: Якобсон, Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». Москва, 193–230.

Andersen 1978: E. Andersen. Lexical universals of body-part terminology // Universals of Human Language, ed. by J. Greenberg, vol. 3, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1978, 335–268.

Berlin–Kay 1969: Berlin, B., Kay, P. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley.

Berneker: Berneker, E. Slawisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908–1913.

Bezlaj: Bezlaj, Fr. Etimološki slovar slovenskega jezika. T. I–IV. Kn. III, IV dopolnila in revidirala Marko Snoj in Metka Furlan. Ljubljana, 1976–2005.

Blank 1999: Blank, A. Co-presence and succession: A cognitive typology of metonymy // Klaus-Uwe Panther, G. Radden (eds.). Metonymy in Language and Thought. Amsterdam: Benjamins (Human Cognitive Processing, 4), 169-191.

Blank 2001: Blank, A. Words and Concepts in Time: towards Diachronic Cognitive Onomasiology // metaphorik.de.01/2001 – The online journal: http://www.metaphorik.de/01/blank.htm, Date of access: 17.01.2006.

Brückner: Brückner, A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.

Buck 1949: Buck, C. D. A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. Chicago, London.

Clark 1973: Clark, H. H. Space, time, semantics and the child // T. E. Moore (Ed.). Cognitive development and the acquisition of language. New York.

Deane 1992: Deane, P. Grammar in Mind and Brain (Explorations in Cognitive Syntax), Cognitive Linguistics Research, Mouton de Greyer, Berlin–New York.

Duden Etymologie: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von der Dudenredaktion unter Leitung von Paul Grebe in Fortführung der neuhochdeutschen Sprache von Konrad Dun. Mannheim: Bibliographisches Institut, 1963.

Fraenkel 1962–1965: Fraenkel, E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg–Göttingen.

GEERAERTS1985: Geeraerts, D. Cognitive restrictions on the structure of semantic change // Trends in linguistics. Studies and monographs 20. Historical semantics. Historical word-formation, ed. by J. Fisiak, Berlin, New York, Amsterdam, 1985, 127–153.

GEERAERTS 1997: Geeraerts D. Diachronic Prototype Semantics: a Contribution to Historical Lexicology. Oxford: Clarendon Press.

HAVLOVÁ 1979: Havlová, E. Zum Problem der Homonymie in der etymologischen Forschung // Zeitschrift für Slawistik, Bd. 24, Heft 1, 51–54.

HAWKINS 1992: Hawkins, J. A. Explaining Language Universals // Explaining Language Universals. Ed. by J. A. Hawkins. Blackwell.

JOHNSON 1987: Johnson, M. The Body in the Mind (The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason). Chicago and London.

INGRAM 1996: Ingram, D. First language acquisition. Method, Description and Explanation. Cambridge University Press.

KAY–MCDANIEL 1978: Kay, P., McDaniel, C. K. The linguistic significance of the meanings of basic color terms // Language 54, 610–646.

KLUGE 1963: F. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, 1963.

KOCH 1999a: Koch, P. Cognitive aspects of semantic change and polysemy: the semantic space HAVE/BE" // Blank, A., Koch, P. (eds.). Historical semantics and cognition. Berlin, New York, 279–305.

KOCH 1999b: Koch, P. Frame and contiguity: on the cognitive basis of metonymy and certain types of word-formation // Klaus-Uwe Panther, G. Radden (Eds.). Metonymy in Language and Thought. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins (Human Cognitive Processing), 139–167.

KOCH 2004: Koch, P. Metonymy between pragmatics, reference, and diachrony // metaphorik.de. 07/2004 – The online journal: http://www.metaphorik.de/07/koch.pdf, Date of access: 29.01.2006.

KÖVECSES 2000: Kövecses Z. Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling, Cambridge: Cambridge University Press.

LAKOFF 1987: Lakoff, G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

LAKOFF 1994: Lakoff, G. Conceptual Metaphor Home Page – Online: http://cogsci.berkeley.edu/lakoff/MetaphorHome.html, Date of access: 09.02.2006.

LAKOFF–JOHNSON 1980: Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors We Live By. Chicago, London.

LEE 1992: Lee, M. Language, perception and the world // Explaining Language Universals. Ed. by Y. A. Hawkins. Blackwell.

MACHEK 1971: Machek, V. Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydáni. Praha.

POKORNY 1949–1959: Pokorny, J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern.

ROSCH 1973: Rosch, E. On the internal structure of perceptual and semantic categories // Moore, T.E. (ed.), Cognitive Development and the Acquisition of Language. New York: Academic Press, 111–144.

ROSCH 1977: Rosch, E. Human Categorization // N. Warren (ed.), Studies in Cross-cultural Psychology. New York: Academic Press, 1–49.

SADNIK–AITZETMÜLLER 1963–1970: Sadnik, L., Aitzetmüller, R. Vergleichendes Wörterbuch der slawischen Sprachen, Lief. 1–5. Wiesbaden.

SCHRÖPFER 1979–1989: Schröpfer, J. Wörterbuch der vergleichenden Bezeichnungslehre (Onomasiologie), Bd. I, Lieferung 1-8, Heidelberg.

Skok 1971–1974: Skok, P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I–IV. Zagreb.

Skardžius 1943: Skardžius, Pr. Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius.

Sławski 1952–1982: Sławski, Fr. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. I–V. Kraków.

Sweetser 1990: Sweetser, E. E. From Etymology to Pragmatics (Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure). Cambridge.

Taylor 1992: Taylor, J. R. Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory. Oxford, Clarendon press, 1992.

Traugott 1982: Traugott, E. C. From propositional to textual and expressive meanings: some semantic-pragmatic aspects of grammaticalization // Winfred P. Lehman, Yakov Malkiel (eds.). Perspectives on historical linguistics. Amsterdam: Benjamins, 245–271.

Walde–Hofmann 1938: Walde, A. Lateinische etymologische Wörterbuch. 3. umgearbeitete Auflage von J. B. Hofmann. B. I–III. Heidelberg.

Wahrig 1985: Wahrig, G. Deutsches Wörterbuch (Mit einem „Lexikon der Deutschen Sprachlehre") Die Neuausgabe 1980 wurde bearbeitet von Ursula Herman. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon.

Abstract

On the Devices of Cognitive Approach in Etymological Research

Semantic reconstruction is a weak point of etymology, which remains the most conservative branch of linguistics. In many cases either semantic parallels do not determine the direction of semantic evolution or the reconstruction of the meanings of the words inherited from old times is not based on any objective criteria.

The aim of this research is to present proof that the cognitive approach has an objectivist power in semantic reconstruction and to show its resources. These resources can be found in such branches of cognitive linguistics as linguistic categorization, conceptual metaphor and metonymy as well as developmental psycholinguistics and linguistic typology. Their evidence make it possible to confront the cognitive complexity of concepts which correspond to the meanings from the semantic parallels, to verify the reconstructed act of nomination, the reconstructed original lexical meaning and the possible stability and antiquity of the investigated word from cognitive point of view. This is important for the definition of the circle of lexemes which could have been cognates of the investigated one.

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

ОТРАЖЕНИЕ ДИАЛЕКТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

AGYAGÁSI Klára

В настоящей статье продолжается исследование исторических пластов русских заимствований в марийском языке, начатое в 2004 г. (см. АДЯГАШИ 2004) в рамках проекта при поддержке фонда OTKA[1]. В работе особый акцент ставится на выделение диалектных особенностей русских форм, ставших основой для прямого заимствования марийским языком. Выявление диалектных особенностей русских форм представляет интерес с двух точек зрения. С одной стороны, оно проливает свет на детали миграции русских при колонизации марийского Поволжья[2]. С другой стороны, точное фонетическое определение русских исходных форм, усвоенных марийцами в разные периоды исторического развития марийского языка[3], дает возможность описать историко-фонетическе изменения марийского языка.

Ниже будут проанализированы такие прямые заимствования из русского языка в марийский, донорные формы которых до сих пор не были предметом диалектологического исследования при изучении языковых контактов Волго-Камского ареала.

1. Мар. диал. СЙ *l'òsa·*, СК *l'osa* 'лещ' (БЕКЕ 4: 1395).

Русск. лит.: лещ 'пресноводная рыба из сем. карповых с плоским телом' (СлРЛЯ т.6); Русск. диал.: (СР.з./Твер.) *лещьё* 'лещи'; (С.ол./Олон.) лещáк 'рыба лещ' (СРНГ 17: 36, 38); Ист.: (Грам. Белоз. Кн. Мих. Андр. ок. 1460 г.) ЛЕЩЪ 'лещ'; (Кн. прих.-расх. Волокол. м. № 1028, 94. 1576 г.) ЛЕЩЬ 'лещ' (СЛРЯ XI–XVII вв. 8: 225) < ПС *leščь 'рыба Cyprinus, лещ, плотва' (ЭССЯ 14: 142).

Марийские диалектные варианты в структурном отношении похожи на другие русские заимствования марийского языка, рассмотренные в указанном сочинении автора (стр. 46–49), *šona* 'просо' (в выражении *šona-šürakš*) и *sola* 'село'. В этих словах в качестве донорной формы возможно было реконструировать старорусские двусложные имена существительные среднего и/или

[1] OTKA T 048805.

[2] Эти процессы изучаются в последнее время и в историческом плане, см. ИВАНОВ 2004.

[3] Диалектная характеристика современных русских говоров республики Марий Эл дается в учебном пособии Д. Е. Казанцева (см. КАЗАНЦЕВ 2003). Здесь же (стр. 90–101) публикуется краткий обзор русских миграций за последние 200 лет.

женского рода с гласной структурой *o–ó/á*, где предударный гласный *o* объясняется явлением ёканья.

Относительно донорной формы мар. *l'osa* тоже можно предположить двусложную структуру, но она может быть только производной формой от существительного *лещ*, образованной при помощи суффикса *-ьje*: *лещье*.[4] Суффикс *-ьje* встречался уже в древнерусском периоде в редких примерах как отыменный суффикс, использованный для образования имен существительных, имеющих соотносимость с глаголами (ср. др. русск. *копье*, ВАРБОТ 1969: 80). Форма *лещье* [l'eśś'ьje] могла возникнуть в древнерусском периоде, но вряд ли она была заимствована в такой ранний период. Конечный гласный *-а* марийской формы указывает на то, что в донорной форме марийского слова гласный звук суффикса имел ударное положение и фонетически реализовался как *'ó* [l'eš'š'jó]. Произошло изменение *е* в *о* после мягкого согласного в ударном положении в конце слова, но во время заимствования русского слова марийским языком наличие гласного *-о* в двусложных словах со вторым открытым слогом было невозможно, поэтому *-'ó* субституировался звуком *-а*. Этот факт указывает на то, что заимствование русского слова произошло после появления подвижного динамичного ударения в поздне-древнерусском языке после падения редуцированных, но не позже конца XVII века, то есть по всей вероятности в старорусском периоде (см. АДЯГАШИ 2004: 49). А если это было в старорусском периоде, то источником заимствования могла послужить только великорусская диалектная форма. Однако интерпретация фонетической реализации первого слога старорусского слова сталкивается с некоторыми трудностями. Проблематичным является появление безударного *'о* на месте этимологического *-е*, ведь переход *е* в *о* в позиции после смягченных согласных в предударном слоге (явление ёканье) не совершается перед мягкими согласными. А мягкость корневого долгого шипящего донорной формы не подлежит сомнению. Она доказывается и особенностями русского языка, (при присоединении словообразовательного суффикса *-ьje* корневой шипящий смягчился бы и в том случае, если он уже отвердел ко времени образования производной формы), и фонетическим представлением этого звука в марийском.

Правда, в составе согласных фонем, начиная с прамарийского до современного периода развития, марийский язык не имел мягкой *š'* (ср. БЕРЕЦКИ 1994: 64), и поэтому при заимствовании таких звуков пришлось субституировать его имеющимся в своем составе другим мягким сибилянтом, прамарийским *ś*. Но, по историко-фонетической аргументации Г. БЕРЕЦКИ (1968: 73), изменение *ś* > *š* в истории марийского языка завершилось еще в конце прамарийского периода, и звук *ś* в волжско-булгарских и русских заимствованиях

[4] Однако в других русских заимствованиях марийского языка встречаются случаи с неорганическим, вставочным гласным *-а* в конце слова, см. например марийские соответствия русского диал. слова *млин* 'блин' (БЕКЕ 5: 1421), *хомут* (БЕКЕ 5: 1667). Выяснение причины этого явления требует дальнейшего исследования.

марийского языка регулярно субституируется в виде s, что мы фактически, и находим в марийских диалектных соответствиях изучаемого русского слова. Согласный *s* в современных формах слова *l'osa* косвенно указывает на бывшую мягкость русского шипящего. (Оригинальный прамарийский **s* тоже изменился в š, и это изменение было завершено в первой половине XVII в., см. Берецки 1968: 70–73). Это значит, что наличие 'о в первом слоге русского слова не объясняется закономерными тенденциями изменения безударного вокализма старорусских диалектов. Произношение *о* на месте *е* перед мягкими *ч* и *щ* – как отмечает Филин (1972: 193) – является результатом воздействия аналогии, в данном случае аналогии ёканья. А таким источником, в котором характерно изменение е > 'о после всех мягких и смягченных согласных под ударением и одновременно в безударных слогах, можно назвать северную (новгородскую) и северо-восточную (ростово-суздальскую) зону северного диалекта старорусского языка XV века (см. Филин 1972: 202). Воздействие аналогии могло отразиться на фонетическом оформлении русского слова только после завершения действия изменения е > 'о. Процесс исторического развития русской донорной формы представляется следующим образом:

Др. р. *лєшčь* > [*léš'š'*] + *ьje* > [*l'éšš'ьje*] > ст. р./С.диал. [*l'eš'š'jó*] > [*l'oš'š'jó*] мар. диал. CÜ *l'òsa·*, CK *l'osa*

2. Мар. диал. USj CÜ *kuržβa*, CK *kŭrŭžβa·*, JT *kŭržβa*, V *kŭrŭ·žβa* 'Spitze (Беке 4:1059).

Русск. лит.: *кру́жево ~ кружева́* 'узорчатая, сетчатая ткань из ниток для отделки белья, платьев и т. п. и украшения домашней обстановки' (СлРЛЯ т. 5); Русск. диал.: (без ук. места) *кру́жево* 'плетеная, узорочная и дырчатая лента, тесьма из ниток, бумаги, шелку, золота; она плетется коклюшками на кутузе (подушке); есть и тканое' (Даль 2 : 201); ср. русск. диал. (СР.з./Твер.) *кру́жево* 'нарядная отделка на сарафанах'; (СР.п./Пск.) *кру́живо* 'островок' (СРНГ 15: 310). Ист.: (Берест. гр. № 866, XII в.) круживо (Зализняк 2004: 287); (Вкл. Ант. 3. 1576 г.) круживо 'тканое золотом'; (Кн. П. Уст. 48. 1683 г.) кружево 'тканая, шитая или плетеная нашиваемая по краям одежды, головных уборов, изделий из тканей' (СЛРЯ XI–XVII вв. 8: 84); (Орел 1699 г. ЮАП) кружево (Котков 1970: 161); (Брянск 1712 г., ф. 1109, оп. 1 № 100 л. 6 об.) кружево (Котков 1970: 168). Древнерусское отглагольное образование от *kruž-i-ti* при помощи суффикса **iv-o* (см. подробнее Шанский 1982: 414, а также аналогии у Варбот 1969: 111); др. русск. *kruž-* < ПС **krǫgъ* (ЭССЯ 13: 25).

Слово по своему этимологическому составу имеет трехсложную структуру. Оно является отглагольной производной формой, в которой участвует словообразующий суффикс *-iv-*, имеющий более поздний вариант *-ev-*. Однако в марийских соответствиях русского слова гласный элемент суффикса не присутствует, будто бы слово было заимствовано «в усеченной» форме.

А. А. САВАТКОВА (1969: 20) реконструирует в качестве донорной формы современное литературное произношение как [кру́жъвъ]. Однако слово не может быть заимствованным из современного русского языка, потому что в современных русских заимствованиях гласный русского ударного слога отражается как гласный полного образования, а русские безударные гласные передаются через редуцированные гласные марийского языка (см., например, русск. *зеркало* [zérkъlъ] → мар. в.л/Килем. *зе́ркылы*, САВАТКОВА 1969: 97). В марийских соответствиях изучаемого русского слова в северо-западном говоре западного диалекта[5] (JO V) а также в волжском говоре восточного диалекта (СК) происходит изменение *и* > *й* на месте русского ударного гласного. Это изменение – редуцирование либиальных гласных верхнего подъема полного образования – распространилось на указанные говоры двух диалектов марийского языка из поздне-среднечувашского языка (см. АДЯГАШИ 2002) как ареальное явление.

На хронологию заимствования могут указывать и структурные особенности марийского слова. Во время существования поздне-прамарийского единства (до середины XIII века) в прамарийском языке гласная структура второго слога определялась открытым или закрытым характером слога.

Структура современных марийских диалектных вариантов заимствованного русского слова соответствует структуре прамарийсих слов финно-угорского происхождения с структурой ПМ **u-a*, с первым закрытым и вторым открытым слогом. Единственная разница обнаруживается в марийской репрезентации начального сочетания согласных *kr-* при помощи вставного гласного (*kŭr-*), потому что сочетание согласных в начале слова структурные нормы прамарийского языка не допускали, ср.:

ПМ **kumda* (БЕРЕЦКИ 1992: 23): СÜ *kumda* СК *kŭmda* JT *kŭmda* V *kŭmda*
СÜ *kuržβa* СК *kŭrŭžβa* JT *kŭržβa* V *kŭrŭžβa*

На основании вышеприведенных аргументов в качестве донорной формы можно реконструировать [krúž^{ъ}wʌ]. В заударном вокализме этой формы отражается совпадение фонем (явления аканья и яканья). Гласный звук первого заударного слога редуцировался почти до ноля (шва), а гласный звук последнего слога (во втором заударном слоге) свидетельствует о совпадении фонем /o/ и /a/ в безударный *a*. На мягкость *ž* донорной формы ничего не указывает.

Источником такой формы мог быть язык носителей южновеликорусского наречия XVI–XVII века, в котором представлены явления аканья и яканья. (Переселение некоторой части южновеликорусского населения в Среднее Поволжье и образование языковых островов южного наречия было уже упомянуто и Л. П. СМОЛЯКОВОЙ 1977: 70.) Вопреки тому, что в конкретном случае южновеликорусские письменные памятники XVII в. содержат традиционное написание *кружево*, совпадение фонем /o/ и /a/ широко представлено в письменных памятниках в заударных конечных слогах в виде безударного

[5] Диалектное членение марийского языка см. БЕРЕЦКИ 1994: 17–29.

[ʌ], что передается на письме через букву *а* (см. КОТКОВ 1963: 77). В южновеликорусском диалекте фонетическая реализация гласного /е/ после шипящих в первом заударном слоге подвергается правилам яканья, а новое фонетическое качество – появившийся гласный на месте /е/ – часто передается через букву *е* и *а* (КОТКОВ 1963: 79). Но на основании марийских фонетических вариантов тип яканья в конкретном случае нельзя определить. Письменные памятники южновеликорусского наречия отражают также наличие губно-губного спиранта [w] которое передается кириллическим *у* (см. КОТКОВ 1963: 95), и они же свидетельствуют об отвердении исконно-мягкого *ž* (ср. КОТКОВ ук. соч. стр. 105). Процесс исторического развития русской донорной формы представляется следующим обрвазом:

Др. р. *kružívo* > [*krúževo*] > ст.р./Ю.диал. [*krúžъwʌ*] → мар. диал. USj CÜ *kuržβa*, CK *kŭrŭžβa·*, JT *kŭržβa*, V *kŭrŭ·žβa*

3. Мар. диал. CÜ *látə̑ška·*, V *lati·škä* 'летяга' (БЕКЕ 4: 1193).

Русск. лит. *летя̀га* 'древесное животное отряда грызунов, с летательной перепонкой по бокам тела между передними и задними конечностями' (СлРЛЯ т.6); Русск. диал.: (С.ол./Олон., С.в./Волог., Перм.) *летя̀га* 'птица мышь'; (С.з./Новг., СР.з./Твер.) *леташка ~летя̀шка* 'птичка; летунья' (СРНГ 17: 16); Ист.: (Якут. А., карт. 5, № 8, сст. 3. 1643 г.) ЛЕТЯГА 'белка летяга' (СлРЯ XI–XVII вв. 8: 222). Форма *летя̀шка,* видимо, является древнерусским образованием при помощи отыменного суффикса *-ьka* (см. ВАРБОТ 1969: 81): *let'ažьka* < *let'ag-*+ *ьka*. Др. р. *let'aga* < ПС **letęga* 'cheiromys, млекопитающее, похожее на белку' (ЭССЯ 14: 148).

Марийское слово присутствует в волжском говоре восточного диалекта в двух фонетических вариантах. Главной фонетической особенностью этих вариантов является, что на месте русского этимологического ударяемого –'а второго слога стоит редуцированный *ə̑* (чередующийся с *i*), а в первом безударном слоге на месте этимологического *е* имеется *а*. Эти особенности объясняются отчасти структурными, отчасти фонетическими причинами.

В марийском языке трехсложные слова финно-угорского происхождения встречаются в небольшом количестве, см. этимологические словарные статьи БЕРЕЦКИ 1992 : № 111, 122, 200, 203, 232, 259, 279. Во втором слоге прамарийских форм этих слов реконструировано везде *ə̑*, как результат раннепрамарийской тенденции к сужению и редукции гласной системы. Во время заимствования русского слова трехсложная структурная норма со срединным редуцированным гласным еще существовала. Что касается фонетического качества гласного первого слога, русское слово уже не подчинялось фонетическим правилам прамарийского языка. Благодаря именно раннепрамарийской тенденции к сужению, марийские слова финно-угорского происхождения не имеют в первом слоге гласного *-а-*. Появление гласного *-а-* в первом слоге в марийских соответствиях русского слова может быть только отражением диалектной особенности донорной формы. Гласный *-'а-* в первом пре-

дударном слоге на месте этимологического *-е-* в русском языке может быть только результатом яканья. Яканье, как известно, фонетическая реализация гласных переднего ряда неверхнего подъема первого предударного слога в виде '-а. Так как в изучаемом слове ударным гласным является *-'а-* (после вторично смягченного нешипящего согласного), мы имеем дело здесь с ассимилятивным яканьем (уподоблением гласного неверхнего подъема первого предударного слога по подъему ударного гласного). Явление яканья появилось в южновеликорусском диалекте древнерусского языка после падения редуцированных и появления динамического ударения. На территории южновеликорусского наречия повсеместно распространился диссимилятивный принцип яканья, как об этом свидетельствуют письменные памятники южновеликорусского происхождения (см. КОТКОВ 1963: 64–75). Следы ассимилятивности предударного вокализма, как отмечает КОТКОВ (1963: 70), в письменных памятниках южновеликорусской письменности в XVII веке уже очевидны, но начало его развития следует искать в XV и XVI столетиях.

Учитывая эти факты, донорной формой марийского слова можно реконструировать южновеликорусский диалектный вариант [*l'at'áška*]. Процесс исторического развития русской донорной формы представляется следующим обрвазом:

Др. р. *let'ažьka* > [*l'et'áška*] > ст.р./Ю.диал. [*l'at'áškʌ*] → мар. диал. CÜ *látâška·*, V *lati·škä*

Принятые сокращения

Др. р.	– древнерусская форма
Мар. диал.	– марийская диалектная форма
мар. в.	– восточное наречие марийского языка
Ист.	– исторические данные
ПМ	– прамарийская форма
ПС	– праславянская форма
русск. диал.	– русские диалектные формы
С.в.	– восточная зона северного диалекта русского языка
С.з.	– западная зона северного диалекта русского языка
С.ол.	– олонецкая зона северного диалекта русского языка
СР.з.	– западная зона среднего диалекта русского языка
СР.п.	– псковская зона среднего диалекта русского языка
ст.р.	– старорусский период
С.диал.	– северный диалект русского языка
Ю.диал.	– южный диалект русского языка

Литература

Адягаши 2002: Адягаши К. К вопросу о появлении сверхкратких лабиальных гласных в марийских диалектах // Языковые контакты Поволжья (ред. Йорма Луутонен). Турку, 70–86.

Адягаши 2004: Agyagási K. Отражение северно-великорусской диалектной особенности «ёканье» в русских заимствованиях марийского языка // Slavica 33: 43–53.

Беке 1997–2001: Beke Ö. Mari nyelvjárási szótár (Tscheremissisches Dialektwörterbuch) 1–9. Neu redigiert von Gábor Bereczki, bearbeitet von Margarita Kuznecova, herausgegeben von János Pusztay. Savariae.

Берецки 1968: Bereczki G. Wichtigere lautgeschichtliche Lehren der russischen Lehnwörter im Tscheremissischen // Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum Helssingiae habitus 23–28. VIII. 1965. Pars I. Acta Linguistica, Helsinki, Societas Fenno-Ugrica, 70–76.

Берецки 1992: Bereczki G. Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte II. Studia Uralo-Altaica 34. Szeged.

Берецки 1994: Bereczki G. Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte I. Studia Uralo-Altaica 35. Szeged.

Варбот 1969: Варбот Ж. Ж. Древнерусское именное словообразование. Москва.

Даль 1989: Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва.

Зализняк 2004: Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. Второе издание, переработанное с учетом материала находок 1995–2003 гг. Москва.

Иванов 2004: Иванов А. Развитие региона марийского Поволжья в составе российского государства во второй половине XVI–XVII вв. // Die Geschichte Russlands im 16. und 17. Jahrhundert aus der Perspektive seiner Regionen. Hrsg. von Andreas Kappeler. Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Band 63: 342–362. Wiesbaden.

Казанцев 2003: Казанцев Д. Е. Русские говоры Республики Марий Эл. Учебное пособие. Йошкар–Ола.

Котков 1963: Котков С. И. Южновеликорусское наречие в XVII столетии. Фонетика и морфология. Москва.

Котков 1970: Котков С. И. Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI–XVIII веков. Москва.

Саваткова 1969: Саваткова А. А. Русские заимствования в марийском языке. Йошкар–Ола.

СлРЛЯ: Словарь современного русского литературного языка т. 1–17. Москва–Ленинград 1948–1965.

СлРЯ XI–XVII вв.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 1– . (Коллектив авторов). Москва, 1975–.

Смолякова 1977: Смолякова Л. П. Формирование фонетической системы русских говоров Волго-Камья. Москва.

СРНГ: Словарь русских говоров. Т. 1– (ред. Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов), Ленинград, 1965– .

Фасмер 1986: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Москва.

Филин 1972: Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Ленинград.

ЧЕРНЫХ 1999: Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2-х томах. 3-е изд., стереотип. Москва.
ШАНСКИЙ 1982: Шанский Н. М. (ред.) Этимологический словарь русского языка. Том 2, выпуск 8. К. Москва
ЭССЯ: Этимологический словарь славянских языков. Т. 1– . Под ред. О. Н. Трубачева. Москва, 1974–

Abstract

On Reflection of Dialectological Phonetic Peculiarities in Some of the Russian Loan Words in Cheremis

The author examines 3 Russian words, in whose adoption to 16th–17th century Cheremis is confirmed by phonetic and structural arguments.

1. Cheremis dial. *l'osa* 'fish art Cyprinus' ← Middle Russian [l'oš'š'jó] < Old Russian *leščь*.

A 16th century North-Russian dialect was the source of borrowing, in which the transition *e* > *o* took place in both stressed and unstressed positions. In the Russian donor form the conditions of the velarization of the vowel *e* were not given due to the palatal quality of *-š'š'-* which is the reason why the first syllabic *-o-* emerged by analogy in this particular case.

2. Cheremis dial. *kuržβa*, *kŭrŭžβa·*, *kŭržβa*, *kŭrŭ·žβa* 'lace' ← Middle Russian [*krúžъvʌ*] < Old Russian [*krúževo*].

The word came into Cheremis from a South-Russian dialect before the 17th century. The reduction of the vowel – the realization of /o/ and /a/ as šva – took place in the first unstressed syllable in the donor form, which verifies my former statement above. The 17th century chronology of the borrowing can be underpinned by the reduced representation of the Russian first syllabic full vowel.

3. Cheremis dial. *látə̑ška·*, *lati·škä* 'Sciuropterus russicus' ← Middle Russian [*l'at'áškʌ*] < Old Russian [*l'et'áška*].

The word was brought to Cheremis from a South-Russian dialect before the 17th century. The unstressed vowel of the first syllable in the donor form became assimilated to the vertical tongue position of the vowel of the stressed syllable, which is characteristic of the vocalism of the South-Russian dialect. The donor form represents the so called „assimilative type of yakanie".

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

ZARYS AUTOSTEREOTYPU UKRAIŃCÓW NA POCZĄTKU XXI WIEKU

FARKAS Melinda

Wstęp – o stereotypach

Za pomocą analiz stereotypów narodowych możemy zinterpretować sposoby kształtowania się samoświadomości poszczególnych narodowości. Według BERTINGA i VILLAINA-GANDOSSIEGO stereotyp to nie tylko pojęcie, ale też w większym albo mniejszym stopniu odzwierciedlanie zjawisk społecznych, które zawsze zawierają ocenę wartościującą, pozytywną lub negatywną. Stereotypy są niezależne od własnych doświadczeń, są produktem społeczeństwa; przekazują je media, opinia publiczna oraz rodzina. Najczęściej są one sprzeczne z rzeczywistością, lub tylko częściowo jej odpowiadają, natomiast zawsze zjawiają się jako prawdziwe. (1995:15) Znany węgierski socjolog György CSEPELI w swojej książce o psychologii społecznej za Hoffstätterem przytacza 4 rodzaje sposobów kształtowania się stereotypów: 1. powiększenie małoznaczących, nieważnych różnic, 2. przesadne podkreślenie rzeczywiście istniejących różnic, 3. samowolne łączenie faktycznej różnicy z zakładaną, empirycznie niesprawdzalną cechą, 4. umieszczenie na pierwszym planie jakiejś osoby naprawdę istniejącej w grupie (tak się pojawiają stereotypy „typowych" członków grupy) (2005: 478). Sam termin stereotyp pojawił się w 1922 roku w książce amerykańskiego dziennikarza Waltera Lippmana pt. Public Opinion i zrobił niezwykle wielką karierę w naukach społecznych, filozofii, psychologii, literaturoznawstwie i językoznawstwie, szczególnie w kognitywnym. Encyklopedia języka polskiego definiuje stereotyp w języku jako „uproszczone, schematyczne, uogólniające, potoczne wyobrażenie (lub wyobrażenia) określonej kategorii osób (jakiejś narodowości, zawodu, wieku, płci itp.), zwierząt (np. psa, kota), instytucji (np. policji, szkoły), wydarzeń (np. wesela, wyborów) wspólne dużej liczbie ludzi, któremu zwykle towarzyszy pozytywna lub negatywna postawa" (EJP 1999: 374). Najważniejszą funkcją kognitywną stereotypów jest szybka, powierzchowna, ale łatwa orientacja.

Stereotypy mogą dotyczyć grupy „swoich" (autostereotypy) i grupę „obcych" (heterostereotypy). W niniejszym artykule mowa będzie o autostereotypie, którego uniwersalny model wypracowali Le Vine i Campbell (por. CSEPELI 2005: 479). Model ten zawiera w sobie wszystkie pozytywne cechy i zjawiska, które dana grupa etniczno-narodowa o sobie sądzi: 1. Jesteśmy dumni z siebie, szanujemy siebie samych i tradycje naszych przodków; 2. Jesteśmy wierni; 3. Jesteśmy uczciwi i godni zaufania między sobą, ale nie damy się nabrać sztuczkom obcych; 4. Jesteśmy odważni i postępowi. Powstajemy w obronie własnych spraw, obronimy, to co nasze i nie można nas wyłudzić z tego, co zdobyliśmy słusznie; 5. Kochamy pokój

i ludzi, nienawiść w naszych sercach żyje tylko do naszych wrogów; 6. Jesteśmy przyzwoici i uczciwi. Stereotypy narodowe cechuje znaczny ładunek emocjonalny, który może być pozytywny i negatywny. Najczęściej nie lubi się bezpośrednich sąsiadów, a sympatyzuje się z dalszymi sąsiadami. Jak twierdzi ZAJĄCZKOWSKI, stereotypy o „obcych" nie mogą istnieć bez autostereotypów, natomiast heterostereotypy są w pewnym sensie lustrem, w którym widzimy własne lęki, swoją tożsamość kulturową, są karykaturą danego narodu (1973: 287).

Stereotypy narodowe posiadają funkcję poznawczą np. na temat kuchni: *Amerykanie piją colę, Francuzi jedzą ślimaki, Włosi jedzą makaron, Niemcy i Czesi piją piwo, a Węgrzy jedzą gulasz.* Jedne przedmioty kojarzymy tylko z pewnymi narodami: malucha z Polakami, wódkę z Rosjanami, aparat fotograficzny z Japończykami. Celem tej pracy jest przedstawienie przedmiotów, cech oraz osób, których Ukraińcy kojarzą z własnym narodem.

O stereotypach według definicji psychologii społecznej, socjologii oraz z językoznawstwa możemy stwierdzić, iż są niezmienne lub zmieniające się bardzo powoli, długotrwałe i konwencjonalne. Jolanta Panasiuk w swoim artykule o zmienności stereotypów udowodniła jednak, że treść stereotypów się zmienia zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. „Cechy silnie utrwalone, zleksykalizowane w postaci derywatów, związków frazeologicznych, wyrażeń przyimkowych, stanowiące „trzon" stereotypu, wykazują tendencję do dalszej stereotypyzacji. Cechy mniej utrwalone mogą podlegać dalszym zmianom w zależności od tego, kto mówi, o kim mówi, kiedy mówi" (PANASIUK 1998: 96). W związku z tym w niniejszej pracy szukam odpowiedzi na pytania: Jak i jakie obecne zmiany polityczne, społeczne i kulturalne mają odzwierciedlanie w stereotypach? Co dominuje w autostereotypach: polerowanie naszego odbicia w lustrze czy krytyczny stosunek do samych siebie? O jakich kompleksach i lękach one świadczą?

Stereotypy możemy badać na różne sposoby: analizą dowcipów, autobiografii, narracji powieści (BOKSZAŃSKI 1997), metodą ankietową lub przeprowadzaniem wywiadów (CSEPELI 2005). Mając na celu ukazanie językowego obrazu Ukrainy i jej mieszkańców wybrałam metodę ankietową. Ankietowanie przeprowadziłam pomiędzy lutym i lipcem 2005 roku wśród 53 osób, studentów lwowskich oraz turystów przyjeżdżających na Węgry z Odessy, Kijowa, Lwowa i Dniepropietrowska. Zdaję sobie sprawę z tego, że 53 respondentów w morzu 50-ciomilionowej Ukrainy nie może stanowić właściwej reprezentacji i potrzebne by były rozszerzone badania socjologiczne z elementami psychologii społecznej. Dotyczyłyby one takich kwestii jak: stosunek do sytuacji społecznej i politycznej (lęki, poziom zadowolenia, oczekiwania np. na temat UE), tożsamość narodowa (polityczna, kulturowa, etnocentryzm i badania auto- i heterostereotypów), stosunek do mniejszości narodowych. Podobne badania przeprowadziła grupa węgierskich socjologów i psychologów społecznych w latach 1996-1999 pod nazwą „Projekt Karpacki" (ankieta zawierała 155 pytań). Badania miały na celu scharakteryzowanie sytuacji międzyetnicznej w basenie Karpackim, w południowej Słowacji i w Rumunii. (CSEPELI i in. 2002). Celem mojej pracy nie jest przedstawienie dokładnych danych statystycznych, tylko próba naszkicowania językowego obrazu świata współ-

czesnych Ukraińców na temat własnej kultury i własnego obrazu, próba metodyczna ankietowania, udowodnienie, że nieustannie jesteśmy świadkami stereotypizacji: stereotypy się rodzą i umierają, oraz porównanie moich wyników z ciekawą analizą z 1995 roku Mikoły Riabczuka (1995) o postkolonialnej samoświadomości Ukraińców: czy wyniki ankiet potwierdzają jego tezy na temat ukraińskiej myśli społecznej. Uważam, że zależy od nas i od naszego otoczenia, a dziś najczęściej od środków masowego przekazu czy stereotypy utrwalamy, czy o nich zapominamy.

Ankiety

Przeanalizowałam 53 ankiety. Z respondentów 31 to kobiety, 20 mężczyźni, trzy osoby nie podały płci. Z 53 ankiet 51 było wypełnionych w języku ukraińskim i 2 w języku rosyjskim, ale w ankietach w języku ukraińskim również były liczne wyrazy rosyjskie. Ankiety zawierały dwa pytania: *1. Jaki jest typowy Ukrainiec? 2. Jakie rzeczy pan/pani kojarzy z Ukraińcem?* Według BARTMIŃSKIEGO i PANASIUK do określenia stereotypowego X można używać modyfikatorów „typowy", „prawdziwy", „normalny", „przeciętny", ponieważ dają one możliwość do wyrażania subiektywnych opinii respondentów, do każdego z tych modyfikatorów można więc dodać metatekstową formułę: „według mówiącego", „zdaniem mówiącego", „moim zdaniem", „jego zdaniem" (2005: 378). Do moich ankiet wybrałam modyfikator „typowy", w próbnych ankietach bowiem w przypadku modyfikatora „prawdziwy" ankietowani skojarzyli idealnego Ukraińca, a potrzebne mi były „typowe" i nie wyidealizowane oceny respondentów. Ankieta otwarta pozwoliła na wolne skojarzenia ankietowanych. Przy jej pomocy dostałam cechy pozytywne i negatywne, dotyczące wyglądu i cech psychofizycznych Ukraińca oraz przedmioty, miasta i osobowości, które zapytani uważali za najbardziej ukraińskie, swoje, charakterystyczne.

Materiał zrekonstruowany na podstawie ankiet dotyczących autostereotypu Ukraińców – w których respondenci powinni byli charakteryzować siebie – zawiera pewne schematy kognitywne i nosi informacje o sposobach konceptualizacji rzeczywistości. Jeśli zakładamy, że percypowaną rzeczywistość kategoryzujemy, przetwarzamy według pewnych schematów, a potem sformułujemy ją w języku, semantyczna kategoryzacja materiału językowego wydaje się najlepsza.

Na pierwsze pytanie: *Jaki jest typowy Ukrainiec?* respondenci mogli podawać dowolną ilość przymiotników. Przeanalizowawszy ankiety ukształtowały się następne kategorie: 1. stosunek do pracy (*leniwy, pracowity*), 2. stosunek do innych (*otwarty, komunikatywny, obojętny*), 3. cechy psychofizyczne (*szczery, męski*), 4. stosunek do ojczyzny i języka ojczystego (*dumny ze swojego kraju, mówi po ukraińsku*), 5. stosunek do Boga (*wierzący, niewierzący*), 6. stosunek do pieniędzy (*oszczędny*), 7. wygląd (*gruby*). Odpowiedzi na drugie pytanie: Jakie *rzeczy pan/pani kojarzy z Ukraińcem?* rozdzieliłam według następujących kategorii: 1. potrawy 2. napoje 3. osobowości 4. nazwy geograficzne 5. gospodarka, społeczeństwo, polityka 6. kultura, tradycja, mentalność.

Cechy wewnętrzne

Mykoła Riabczuk w pracy napisanej o autostereotypach Ukraińców (1995) mówi o tym, że w autostereotypie każdego narodu znajdziemy cechy pozytywne i negatywne, ale zawsze przeważają pozytywne i najczęściej mają charakter półżartobliwy-półpoważny. Cechy negatywne na ogół są łagodzone.

„Ideologia komunistyczna, już z samej swej istoty, jest wyjątkowo ksenofobiczna i zbudowana na stereotypach" (RIABCZUK 1995:114). Według Riabczuka w czasach komunizmu wzniecona ksenofobiczna nienawiść do „innych" była jednym ze źródeł energii społeczeństwa oraz podstawą ukształtowania się licznych stereotypów. Tę nienawiść i nietolerancję do „innych" wzbudzono nie tylko do zewnętrznych i wewnętrznych „wrogów klasowych", ale do wszystkich, którzy w jakiś sposób starali się zachować swoją tożsamość stawiając opór radziecko-rosyjsko-komunistycznej unifikacji. Wskutek zależności od „wielkiego brata" pod względem ekonomicznym, politycznym i duchowym – Ukraina całkowicie przejęła jego kulturę. W niewoli ukraińska kultura była lekceważona, niemoralna i bezcenna tak w oczach Rosjan, jak również Ukraińców. „Naród kolonizowany, wskutek swojej politycznej, ekonomicznej i ogólnej zależności od kolonizatora, nie posiada możliwości projekcji na niego swych własnych negatywnych cech (cienia zbiorowego), jest zmuszony do ich projekcji na samego siebie. Przyswajając sobie system wartości kolonizatorów, podbite społeczeństwo wchodzi w coraz ostrzejszy konflikt z samym sobą. Aborygen zaczyna nienawidzić siebie i tym samym pogłębia własne upokorzenie i zniewolenie. Gruba zniewolona staje się w końcu pogardzaną mniejszością na swojej własnej ziemi." (RIABCZUK 1995: 115) Z punktu widzenia Riabczuka na Ukrainie istnieją dwa przeciwstawne autostereotypy: hiperpozytywny i hipernegatywny. Zgromadzone ankiety potwierdzają jego spostrzeżenia. Pierwszy, to już wspomniany, „kompleks małorosyjskości" w stosunku do „wielkiego narodu rosyjskiego" – poczucie niższości pod względem historycznym, kulturalnym, politycznym, ekonomicznym oraz intelektualnym. Według tego naród ukraiński jest tylko pewnego rodzaju „produktem ubocznym", narodem bez przyszłości i perspektywy, co więcej naród ukraiński i rosyjski to jeden i ten sam. W Związku Radzieckim język ukraiński formalnie nie był zakazany, natomiast system administracyjny, edukacyjny i propagandowy skutecznie zredukował jego użycie, gnębiąc w ten sposób jedno z podstawowych źródeł tożsamości narodowej. Do dziś widzimy ślady tego zjawiska: „my nie jesteśmy Rosjanami, nie jesteśmy Ukraińcami – my jesteśmy z Odessy, z Kijowa, ze Lwowa" – wedle twierdzenia Riabczuka 2/3 ludności ukraińskiej określa swoją tożsamość w taki sposób i tylko 1/3 posiada prawdziwą ukraińską tożsamość (Riabczuk 1995: 119) – to jest „nie zamierzamy identyfikować się z Ukrainą i ukraińskością, ale jednocześnie jej nie negujemy całkowicie, ponieważ nie zamierzamy się zidentyfikować z narodem radziecko-rosyjskim i z Rosją. Samoocenę hipernegatywną, ukształtowaną w czasach radzieckich możemy przeciwstawić romantycznemu, wyidealizowanemu autostereotypowi, którego ślady widzimy w publicystyce i literaturze. Zjawisko to jest pewnego rodzaju mechanizmem obronnym. Idealizacja ukraińskich cech narodo-

wych i negatywny obraz o sąsiadach jawią się jako opozycja „my – lepsi" – „wy – gorsi": „my jesteśmy pracowici, a oni są leniwi", „my nigdy na nikogo nie napadaliśmy, a oni przez cały czas nas grabili", „jesteśmy twórcami starodawnej kultury rolniczej, przedstawicielami cywilizacji europejskiej, a oni to Azjaci, koczownicy, barbarzyńcy" „obroniliśmy Europę przed wschodnimi ordami, a ona nam się nie odwdzięcza". (RIABCZUK 1995: 120) Celem stereotypów hiperpozytywnych jest neutralizacja stereotypów hipernegatywnych. W tym procesie „klin klinem" istotną rolę gra kultura oraz takie osobowości, pisarze, politycy czy sportowcy, którzy są nosicielami wartości narodowych i pomagają w kształtowaniu i utrwalaniu zdrowej samokrytyki i tożsamości.

Hiperpozytywny autostereotyp został potwierdzony w ankietach. Wśród cech dotyczących typowego Ukraińca było 40 pozytywnych lub neutralnych i tylko 27 negatywnych. 20 ankietowanych uważało Ukraińców za *pracowitych* (por. RIABCZUK powyżej), 8 za *szczerych*, 8 za *dobroduszny ch/miłych/uprzejmych* lub *lepszych od Rosjan*, 7 za *wesołych* lub *weselszych od Rosjan*, 6 za *hojnych*, 4 myślało o Ukraińcach, że są *religijni/wierzą w Boga*, 4, że są *mądrzy/inteligentni/wykształceni*, 4, że są *gościnni* i *otwarci*, a według 3 respondentów *Ukraińcy lubią jeść*. W odpowiedziach występowały jeszcze następujące cechy (o mniejszej frekwencji): *akuratny, pokorny, zdrowy, czarujący, męski, zrozumiały, cierpliwy, sprawiedliwy, lubi imprezy, dumny ze swojego kraju, kocha rodzinę, lubi śpiewać, chce należeć do Europy, boi się mówić po ukraińsku, mówi po ukraińsku, ma dobre poczucie humoru, ma ładny uśmiech, już wierzy w przyszłość*. W odpowiedziach, w których ankietowani porównują własny naród z narodem rosyjskim (w pytaniach nie proszono o porównanie) widać kompleks „małorosyjskości", jacy my jesteśmy w porównaniu z „Nimi", „z Wielkimi Rosjanami" od których chcemy być inni, lepsi, niezależni.

Porównując cechy negatywne z cechami pozytywnymi najbardziej podstawową różnicą między nimi jest ich ilość. Nie ma ani jednego waloru, która występowałaby tak często, jak *pracowity, szczery*, czy *dobroduszny*. Według 7 ankietowanych typowy Ukrainiec jest *zazdrosny*, 4 uważa, że jest *nacjonalistą*, a 3 myśli, że jest *łatwowierny*. Dwóch zapytanych sądziło o „swoich", że są *przekupni, uparci, bierni, nachalni, chytrzy i są pijakami/alkoholikami*. Pojedynczo pojawiły się: *niesympatyczny, lekceważący, zakompleksiony, obojętny w stosunku do bliskich, leniwy, poddaje się, zachłanny, niepraktyczny, niewychowany, wyrachowany, pochlebca, darmozjad oraz nienawidzi Rosjan i Żydów*. Mała ilość cech negatywnych potwierdza istotę autostereotypu.

Wygląd

Ponieważ żaden z pytań nie dotyczył konkretnie wyglądu typowego Ukraińca, otrzymałam w sumie tylko 4 takie odpowiedzi. Powtarzających się cech nie było. Według 4 odpowiedzi typowy Ukrainiec jest *gruby, ma czerwony nos, czarne oczy i podobny jest do Rosjan.*

Potrawy i napoje

Spośród przedmiotów skojarzonych z Ukraińcami najwięcej respondentów podało *słoninę* (23). Jewgenija KOŁONENKO (1998: 331) w swoim studium o kuchni ukraińskiej pisze, że wszędzie w świecie hodują świnie, ale słonina jedynie w kulturze ukraińskiej zajęła szczególne miejsce oraz stała się istotnym atrybutem narodowej tożsamości. Słonina dawniej to jedzenie biedaków, ale była popularna również w innych warstwach społeczeństwa, jako dodatek do niemal wszystkich dań ukraińskich. Według nowoczesnego dowcipu słonina jest Snickersem Ukraińców. 18 ankietowanych napisało *barszcz ukraiński/z czosnkiem/z kluseczkami* jako typową „rzecz" ukraińską, 11 podało tzw. *warenyki* (pierogi). Wśród odpowiedzi znajdziemy jeszcze: *śledzia, chleb domowy, wieprzowinę* i *kluski (haluszki).*

16 respondentów wymieniło jeden z rodzajów wódki: *gorzałkę (horylkę)* lub *samogon* (z tego 7 *wódkę*, 3 *piercowkę* (ostra wódka z papryką), 6 *samogon*). Samogon jest ważnym elementem życia wsi ukraińskiej, zjawiskiem socjologicznym bytu ukraińskiego. Jak twierdzi Kołonenko ludzie pijący samogon dzielą się na dwie grupy: w pierwszej są ci, którzy piją go jak wino, likier czy whisky, rozkoszują się zapachem, smakiem, bycie pijanym jest zjawiskiem ubocznym, a nie celem. W drugiej grupie znajdują się ci, którzy piją po to, żeby jak najszybciej się upić (por. 1998:330). W przeciwieństwie do równie słynnej tradycji robienia samogonu w Rosji wedle – ekspertów i konsumentów na Ukrainie wykonywane jest to jako zawód fachowy, co czyni gorzałkę narodowym, swoistym symbolem Ukrainy.

Osobowości

Za istotną cechą stereotypu uważana jego stałość, niezmienność na przestrzeni czasu (między innymi BERTIN i VILLAIN-GANDOSSI 1995: 14), ale czy tylko te zjawiska, osoby mogą być częścią stereotypu, które należą do dawnych tradycji. Czy uczestnicy czasów obecnych też mogą się stać postaciami stereotypowymi? I czy możemy nazwać bohaterami stereotypowymi symbolicznych bohaterów kultury? Oleksander Hricenko we wstępie kolektywnej monografii napisanej o bohaterach i znakomitościach kultury ukraińskiej (1998:5) *bohatera* definiuje jako szeroko znaną postać, a za typowych bohaterów uważa te osobowości, które są uważane, wychwalane, uznawane za coś, które noszą w sobie wartości, ucieleśniają ideały. Dzięki bohaterom jednego narodu możemy zrozumieć jak się rozumiało przeszłość i teraźniejszość i jak się chce widzieć przyszłość.

30 ankietowanych skojarzyło jakąś słynną osobę lub osoby (na pytanie „Jakie rzeczy pan/pani kojarzy z Ukraińcem), z nich dwie zdobyły popularność dzięki międzynarodowym sukcesom: 6 wymieniło *Rusłanę*, zwycięzcę Eurowizji 2004, a 4 braci *Kliczko*, słynnych bokserów. *Kozaków*, „ikonę" kultury i historii ukraińskiej zaznaczyło 6 respondentów. *Kozactwo* w ogólnym przekonaniu do dziś jest synonimem ukraińskości, a „wirtualne kozactwo" stworzone ideologicznie w literaturze i kulturze stało się głównym filarem rozróżniania kultury i ideologii narodowej (por. Hricenko 1998: 288). Postać i ocena *Bohdana Chmelnickiego* (3) zmieniało

się wielokrotnie na przestrzeni historii. Bohater mityczny był z jednej strony wyzwolicielem ziemi ukraińskiej spod panowania polskiego (przynajmniej częściowo), a z drugiej strony Ukraina dzięki niemu podpisała umowę z Carstwem Moskiewskim, która zapoczątkowała 300-letnie przebywanie Ukrainy w obrębie Imperium Rosyjskiego. W ten sposób Chmełnicki był doskonałym podmiotem do mitologizacji tak w czasach radzieckich jak i w niezależnej Ukrainie (np.:1990 rok: uroczystości z powodu 400-ej rocznicy urodzenia Chmełnickiego) (por. Hricenko 1999). 9 ankietowanych wymieniło *Szewczenkę*, ale większość respondentów nie podało imienia, więc nie wiadomo całkowicie czy chodziło o piłkarza Andrija Szewczenkę, czy poetę Tarasa Szewczenkę. Wśród nazwisk były jeszcze: lekkoatleta *Sergej Bubka* i polityk *Wiktor Juszczenko*.

Nazwy geograficzne, polityka, społeczeństwo

Wśród typowych „rzeczy" ukraińskich występowały liczne nazwy geograficzne. 4 respondentów wymieniło *Czernobyl*, z czego wynika, że katastrofa elektrowni atomowej nadal żyje w świadomości narodu ukraińskiego. Aktualności też znalazły się w odpowiedziach: 3 respondentów podało *Kijów* oraz *plac Niezależności*, który był centralnym miejscem Rewolucji Pomarańczowej. Jeszcze 8 ankietowanych napisało osobno *Rewolucję Pomarańczową* i *rzeczy pomarańczowe (gadżety, flagi)*. Innymi nazwami geograficznymi były jeszcze: rzeka *Dniepr, Krym, Lwów, Zaporoska sycz, Karpaty, Halicz i Huculszczyzna.* Na temat sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej Ukrainy 1-2 respondentów wymieniło takie pojęcia jak: *bezprawne państwo, chaos w władzy, bieda, bogactwo, wielkie państwo, bazary, przebudowy.*

Kultura, tradycja, mentalność

Za typowe przedmioty ukraińskie uważano wiele rzeczy związanych z kulturą i tradycjami ukraińskimi. 11 ankietowanych podało *wyszywankę* lub *wyszytą koszulę*. *Gorące, piękne Ukrainki* (4) też znalazły miejsce w odpowiedziach. Elementami tradycyjnej kultury ukraińskiej są tańce ukraińskie (*hopak*), *pieśni ludowe, muzyka ukraińska, szarawary, ukraiński strój ludowy, kłos, kalina, pisanki, Mercedes 600, kumostwo* oraz *Włochy i Hiszpania* (gdzie mieszka dużo emigrantów ukraińskich) według pojedynczych respondentów.

Podsumowanie

Odpowiadając na pytania zadane na początku artykułu możemy powiedzieć następujące: na przykładzie małej ilości ankiet widać, że część stereotypów jest niezmienna, a część ewoluuje: niektóre są skarbcem zgromadzonej wiedzy o przeszłości Ukrainy (np. *kozactwo, słonina*), są dziedzictwem skamieniałym, zachowywanym w języku, a niektóre stereotypy kształtują i zmieniają się, żyją razem z nami (np. Rusłana), a dzięki regularnym powtórzeniom utrzymują się lub poprzez zmiany społeczne idą w zapomnienie. Dziś wielką rolę w tym procesie odgrywają media, będące głównym środkiem przekazu informacji. Symbole współczesności mo-

gą się stać stereotypowymi, jak również ikony przeszłości. W obrazie ukształtowanym na swój temat jest mało samokrytyki, dominuje w nim raczej „wybielanie" – „my" jesteśmy lepsi niż „wszyscy inni". W autostereotypie Ukraińca to zjawisko pojawia się z wielką intensywnością: przez długi okres uciśniona, sztucznie zdeptana tożsamość po wyzwoleniu wyskakuje z świadomości z powiększoną siłą kompensując tym wieloletnie krzywdy. Postkomunistyczna Ukraina po uzyskaniu niepodległości potrzebowała i potrzebuje symbolicznych postaci (jak Juszczenko, Kliczko, Chmełnicki czy Rusłana), aby pozbyć się kompleksów i lęków. Pozytywny autostereotyp i stereotypowe postacie są elementami procesu psychologicznego.

Porównując moje wyniki z uniwersalnym modelem autostereotypu Le Vine i Campbella, potwierdzone zostały następujące: Ukraińcy są dumni z siebie, i szanują tradycję, uważają siebie za uczciwych i odważnych, czują nienawiść do wrogów.

Riabczuk w swoim artykule z 1995 roku analizuje zmiany i stan samoświadomości Ukraińców po uzyskaniu niepodległości w kontekście historycznym i socjologicznym, moje badania zaś ukazują stereotypowe myślenie w pewnych kategoriach (domeny kognitywne) (TAYLOR 2001: 123) na przykładzie ankietowania. Te domeny w przypadku autostereotypu Ukraińców dotyczą przede wszystkim kuchni i stosunku do pracy. Autostereotyp rozpatrywany może być wyłącznie pod kątem kultury i historii. Stereotypowy świat jest uproszczony, uwypuklone są najbardziej typowe rzeczy i osoby, stanowiące znaki szczególne, odróżniające „nas" od „obcych".

Rozważania te można podsumować tak: Ukrainiec w własnym zwierciadle jest pracowity, lubi jeść szczególnie barszcz, warenyki i słoninę, lubi pić zwłaszcza gorzałkę, i przywiązuje się do kultury tradycyjnej (wyszywanka).

Bibliografia

BARTMIŃSKI 1998: Bartmiński, J. Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki // Język a kultura tom 12., red. Anusiewicz J., Bartmiński J., Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Wrocław, 63–84.

BARTMIŃSKI–PANASIUK 2001: Bartmiński, J. Panasiuk J. Stereotypy językowe (red.) Bartmiński J. // Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Lublin, 371–397.

BERTING–VILLAIN-GANDOSSI 1995: Berting, J., Villain-Gandossi, Ch. Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych: podejście interdyscyplinarne // Narody i stereotypy. (red.) Teresa Walas. Kraków, 13–27.

BOKSZAŃSKI 1997: Bokszański, Z. Stereotypy a kultura, Wrocław.

CSEPELI 2005: Csepeli Gy., Szociálpszichológia, Budapest, 475–488.

EJP 1999: Encyklopedia języka polskiego. (red.) Urbańczyk S., Kucała M., Wrocław.

HUNYADI 2001: Hunyadi Gy. Nguyen Luu Lan Anh (red.), Sztereotípiakutatás, Hagyományok és irányok. Budapest.

HRICENKO 1998: Гриценко О. „Своя мудрсіть" Нацональні міфології та „громадянська релігія" в Україні. Київ.

HRICENKO 1999: Герої та знаменитості в українській культурі. (ред.) Гриценко О. Київ.

KOLONENKO 1998: Колоненко Є. Кухня // Нариси української популярної культури. (red.) Гриценко О.. Київ. Ss. 317–335

LIPPMANN 1922: Lippmann, W. Public Opinion, New York.

MIRGA 1984: Mirga, A. Stereotyp jako model „prawdziwego swojego" i „obcego" (Próba konstrukcji teoretycznej zjawiska stereotypu) // Zeszyty naukowe UJ, t. DCCXXII. Prace Etnograficzne nr 19. Kraków.

PANASIUK 1998: Panasiuk, J. O zmienności stereotypów // Język a kultura tom 12. (red.) Anusiewicz J., Bartmiński, J. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Wrocław, 84–99.

QUASTHOFF 1998: Quasthoff, U. M. Etnocentryczne przetwarzanie informacji // Język a kultura tom 12. (red.) Anusiewicz, J., Bartmiński, J. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki Wrocław.

RIABCZUK 1995: Riabcsuk, M. Od „Małorosji" do „Indoeuropy": stereotyp „narodu" w ukraińskiej społecznej świadomości i myśli społecznej // Narody i stereotypy (red.) Teresa Walas. Kraków, 113–125.

SZAROTA 1991: Szarota, T. Polak w karykaturze niemieckiej (1914–44). Przyczynek do badań stereotypów narodowych // Wokół stereotypów Polaków i Niemców. (red.) Wrzesiński W. Wrocław.

TAYLOR 2001: Taylor, J. R. Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii w językoznawczej. Kraków.

ZAJĄCZKOWSKI 1973: Zajączkowski, A. Obrazy świata białych. Warszawa.

Abstract

An Outline of the Autostereotypes of the Ukrainian People

Since Walter Lippmann sociology, social psychology, psychology and linguistics research has used stereotypes. Stereotypes are fixed or change very slowly, since a nation's historical, cultural and political changes and experience are fixed in them. The Ukrainian nation's dependence on the "Big Brother" was stronger than that of the other post-communist countries. The minority complex emerging from the oppression established a hyper-negative self-image, which turned into a hyper-positive auto-stereotype after the nation became independent.

In the spring of 2005 53 people (from Lwów, Odessa, Kiew) prepared a survey using questionnaires. This survey shed light on how the Ukrainian see themselves after the Orange revolution. The self-image of the Ukrainian people is dominated by positive features, such as good-looking, charitable, hard working, cheerful, clever, intelligent, hospitable, open minded, and they like eating. The negative attributes associated with the Ukrainian people are the following: nationalist, envious, credulous. Bacon, vodka and beetroot soup are typical Ukrainian things. As far as personalities are concerned, those questioned emphasized Bogdan Hmelnickij, the Cossacks, Ruslana and the Klichko brothers.

The questionnaires reveal that the auto-stereotype contains both fixed and changing elements. The events of our days also get fixed, but how lasting they are remains to be seen. The most influential factor of stereotypes today is the media. The stereotypes created by the Ukrainians of themselves are part of a psychological compensational process.

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ДИСКУРСА (НА ОСНОВЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ «ЧАС СУДА»)

ШАХВЕРДОВА Нава-Ванда

Введение

Предложенная вниманию читателя статья ставит целью наметить основные вехи и теоретические предпосылки будущего исследования юридического дискурса как дискурса власти в русских СМИ (средствах массовой информации). Эмпирический материал, берущийся в основу анализа – телевизионная программа «Час суда», а в центре нашего внимания правовой дискурс и коммуникативное поведение мирового судьи.

Краткая история возникновения теории дискурса в русской и зарубежной лингвистике

История дискурса началась много раньше, чем появился сам термин. Предпосылки этого направления лингвистики заложены соссюровской двойственностью языка и речи (см. ЛАЙОНЗ 2003: 32–38), абстрактного и конкретного. Эта двойственность ставит перед наукой задачу, как описать такой разнообразный, ускользающий объект как язык (особенно верно это в случае устной речи). Анализ дискурса не просто метод, но новый подход к языку (речи!) и новый этап в истории мысли.

Постулаты и методы традиционной грамматики были заложены еще в эпоху античности. Цель традиционной грамматики (и науки вообще) долгое время состояла в полном, исчерпывающем описании объекта исследования, но многие вопросы не могли быть решены таким путем (например проблемы просодии, порядка слов, использование данных, а не другие выражения, приобретение значений местоимений и т.д.). Проблема подхода традиционной грамматики состояла в поиске абсолютной, неопровержимой, незыблемой истины что весьма затруднительно в случае такого подвижного, постоянно изменяющегося объекта, как язык. Этот подход к языку, как правило рассматривал часть (звук/фонема, морфема, слово, словосочетание, предложение), и даже не пытался видеть целое[1]. Лингвистику «после Соссюра» характеризовало стремление уловить «суть» речи и разрешить это противоречие. Этот процесс (дальнейшее развитие структурализма: пражская лингвистическая школа, дескриптивная лингвистика, глоссосемантика) приводит к созданию весьма сложных моделей для описания естественных языков, но даже

[1] См. также монографии И. Х. ТОТА (1996), сборник трудов под редакцией Ф. ПАППА (1996: 713), статью Ф. ПАППА (1968: 291).

самые лучшие модели оказывались несовершенными, так как модель не есть язык. Достижения структуралистов (В. Брендаль, Л. Ельмслев, Ф. Боас, Л. Блумфильд, В. Матезиус[2]) привели к исследованиям в области кибернетики – созданию искусственного интеллекта, например в исследованиях Р. Шенка (1980: 56), или машинного перевода (см. Добрускина–Берзон 1986). Изменилось и отношение языкознания к другим наукам, в нем используются методы других наук. На методы лингвистики в первую очередь сильно влияла философия, семиотика, а также социология, психология и социальная психология.

Во второй половине 20-го века внимание лингвистов сосредоточивается на процессе коммуникации. В лингвистике появляется направление, которое удаляется от отвлеченных моделей и направляет фокус своего внимания на компоненты коммуникации: адресанта, адресата/ов, ситуацию, социальное окружение и роль говорящего и слушающего, их отношения, интеракцию, предварительные знания и т.д. и на основе наблюдаемого делает свои выводы. Предпосылками этого отношения к языку в традиции русской науки являются некоторые идеи М.М. Бахтина, а западной науке – Л. Витгенштейна.

Важно упомянуть также исследования семиотика Ю. Кристевой, которая развила идеи М. Бахтина, считая его создателем теории дискурса, заполнившим этой теорией потребность, «вакуум» в науке 20–30-х годов (см. далее).

Интересны исследования Дж. Серля и Дж. Остина (см. Остин 1962, Серль 1965), связанные с теорией значения и речевых актов, которые среди прочих аспектов, центральную роль уделяют намерению (интенциональности) и контексту высказывания.

Из этих предпосылок «вырастает» когнитивная лингвистика и теория дискурса: «Когнитивный подход к языку – убеждение, что языковая форма в конечном счете является отражением когнитивных структур, то есть структур человеческого сознания, мышления. Когнитивная лингвистика – это отнюдь не то же самое, что психолингвистика... К числу важнейших когнитивных феноменов, детерминирующих языковую форму, относятся структуры представления знаний, естественная категоризация, долговременная память, оперативная память, внимание, активация» (Кибрик 1994: 126). Когнитивное исследование дискурса является основным методом в работах таких западных ученных, как У. Чейф, Р. Томлин, Т. Гивон, Дж. Лейкоф, Т. Ван Дейк, а также русских лингвистов Е. А. Земской и Б. М. Гаспарова и многих других.

Дискурс

Термин «дискурс» часто употребляется лингвистами, семиотиками, социологами, философами, однако подразумеваются под этим не всегда одни и те же, как замечает Р. Водак, иногда «*противоречивые*» явления. Согласно ее заключению целесообразно говорить о разных подходах к дискурсу. Она

[2] См. статьи в сборнике История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях (Звегинцев 1965).

перечисляет толкования значения термина дискурс: с одной стороны дискурс соотносится с диалогичностью разговорной речи в оппозиции с письменным языком; с другой стороны воспринимается как ситуациональность, зависимость разговорной речи от контекста; в третьем восприятии это взаимодействие говорящего/пишущего со слушающим/читающим и т.д. (1992: 12).

Иной раз термин дискурс имеет значение «*стиль*», типичное употребление речи. Это понятие употреблялось американским лингвистом З.С. Хэррисом в смысле «*связный отрезок текста*», как и И.Р. Гальпериным как «*сверхфразовое единство*» (см. ПЕТРОВА 2003: 126–127).

Т. Ван Дейк определяет дискурс следующим образом: «дискурс, в широком смысле слова является сложным единством языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта. Преимущество такого понимания состоит в том, что дискурс, нарушая интуитивные и лингвистические подходы к его определению, не ограничивается рамками конкретного языкового высказывания, то есть рамками текста или самого диалога» (ВАН ДЕЙК 1989: 121–122).

Из вышеизложенного следует, что Т. Ван Дейк отмечает разницу между понятиями текст3 и дискурс, понимая последний как текст/ы, погруженный/ые в ситуацию, множество разговорных актов, взаимодействующих между собой. Текст должен соответствовать требованиям ситуации. В интерпретации термина дискурс Р. ВОДАК ситуация/контекст также является ключевым словом. Автор определяет дискурс как коммуникативное поведение индивидов в обществе (social practice) (1992: 12), согласно чему дискурс, хоть и определяется говорящими, но, в свою очередь, определяет и их.

На основе этого дискурс определяется нами как своеобразное восприятие термина речь[4]. Речь – это поток информации, существующий лишь в момент высказывания и восприятия. Многие факторы (могущие быть названные нормой) определяют речь. Говорящий не может отмежеваться от этого «потока», очутиться извне него (см. ГАСПАРОВ 1996: 6). Это предполагает диалогичность – всякое высказывание обращено к кому-то, с определенным намерением, реакция на предыдущую ситуацию, также «рассчитывающая» на ответ. Понятие дискурс включает полифоничность, намеренность (интенциональность) и ситуативность речи.

Говоря о полифоничности и намеренности следует упомянуть исследование М.М. Бахтина Проблема речевых жанров, в котором он пишет следующее: «Использование языка осуществляется в форме единичных конкретных выска-

[3] Существует множество определений термина текст. Современная текстология все коммуникативные явления, соответствующие определенным требованиям традиции, жанра и языковой компетенции рассматривает как текст, однако разнообразие материала не предоставляет возможности для определения ряда общих критериев, поэтому становится важным определение понятия типа текста, построение типологии текста: см. П. КОЧАНЬ (1974), Р. БАРТ (1978), Г.А. ЗОЛОТОВА (1979: 133).

[4] Также довольно трудно определяемое понятие.

зываний (устных и письменных) участников той или иной области человеческой деятельности. Эти высказывания отражают специфические условия и цели каждой такой области не только своим содержанием (тематическим) и языковым стилем, то есть отбором словарных, фразеологических и грамматических средств языка, но прежде всего своим композиционным построением. Все эти три момента – тематическое содержание, стиль и композиционное построение – неразрывно связаны в *целом* высказывания и одинаково определяются спецификой данной сферы общения. Каждое отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатывает свои *относительно устойчивые типы* таких высказываний, которые мы и называем *речевыми жанрами*[5]» (БАХТИН 1979: 237).

М.М. Бахтин предупреждает об опасностях схематического упрощения процесса коммуникации и называет неверной ту точку зрения, согласно которой внимание лингвиста сосредоточенно на говорящем/адресате. Коммуникация (он пишет о речи), в его понимании, цепная реакция:

ВЫСКАЗЫВАНИЕ – (ВОСПРИЯТИЕ/ПОНИМАНИЕ[6] – РЕАКЦИЯ) – ВЫСКАЗЫВАНИЕ

Исследователь указывает на неточность термина речь и предлагает рассматривать речь как высказывание в определенной ситуации. Указывая на композициональную детерминированность речевых жанров М.М. БАХТИН ставит под сомнение спонтанность (оригинальность) речи, указывая на то, что говорящий пользуется имеющимся в его распоряжении набором разговорных жанров, однако признает, что эти формы более пластичны, чем языковые структуры. (1979: 241).

Ю. Кристева развивая и интерпретируя бахтинские идеи, а также оценивая роль М. Бахтина в появлении понятия дискурс пишет следующее в своей работе Разрушение поэтики: «*Слово* – вот то русское выражение, которым пользуется Бахтин для обозначения интересующей его языковой реальности. Его первое, прямое и обиходное значение – это «слово» как семантическая единица языка, а именно так мы его и перевели: *le mot*; однако изредка приобретая при этом легкую архаическую или метафорическую коннотацию оно употребляется со значением «дискурс». Таким образом, в этом выражении предугадывается, предчувствуется и уже закладывается понятие, которого как раз и недоставало в 20-е годы, -- понятие о языке, носителем которого оказывается определенный субъект, и/или о субъекте, осуществляющем себя в языке. Современная лингвистика, выделяя такие понятия, как *дискурс, высказывание процесс/ высказывание результат* и т.п., делает это именно для того, чтобы проникнуть в указанную область, и, под влиянием психоанализа, заполнить тот вакуум, который Бахтин застал в современной ему науке (в лексикологии, семантике, стилистике, поэтике). Бахтин оказался одним из первых, кто заметил, что категории, выработанные лингвистикой и усвоен-

[5] См. также Б. М. ГАСПАРОВ (1996:165–188).

[6] Понимание уже есть ответ по М. М. Бахтину, предварительная стадия высказывания.

ные поэтикой, являются категориями языка, взятыми в отвлечении от *субъекта*, и как таковые применимы к сфере, которую очертила себе лингвистика (курсив мой В.Ш.)» (КРИСТЕВА 2004:14).

Родственный бахтинскому лингвистический дискурс развивается в монографии Б.М. ГАСПАРОВА «Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования». В его определении: «Язык окружает наше бытие как сплошная среда, вне которой, и без участия которой ничто не может произойти в нашей жизни. Однако эта среда не существует вне нас как объективированная данность, она находится в нас самих, в нашем сознании, нашей памяти, изменяя свои очертания с каждым движением мысли, каждым проявлением нашей личности. Вот эта наша постоянная, никогда не прекращающаяся жизнь "с языком" и "в языке" и есть то, что я предлагаю назвать языковым существованием» (1996: 5). Исходя из цитированного язык метафорично может быть назван «древом познания добра и зла», предоставляющий возможность сохранить опыт прошлого, реализующийся всегда в настоящем (момент речи) и определяющий будущее. Сам язык является самым могущественным инструментом власти[7].

Дискурс – это типичное в определенной ситуации (определенных ситуациях) употребление языка. Дискурсом можно назвать диалог различных мнений и высказываний, относящихся к определенной теме (определенным темам). Таким образом дискурс – это процесс имеющий длительность во времени.

В своем исследовании мы оперируем двумя понятиями: в более широком понимании термин «правовой дискурс» может определяться как все употребления языка, связанные с областью права (подобно терминам: политический, философский, экономический и т. д. дискурс), а в узко определяемый термин обозначает языковой узус в процессе правосудия, в зале суда.

Дискурс правосудия и власти

Соображения о дискурсе правосудия и власти, изложенные в данной статье основываются на лекциях Мишеля Фуко «Истина и правовые формы» (*Dits et écrits II.*). М. ФУКО анализирует историю и философию отношений истины и правовых систем методом анализа исторического дискурса. При этом исследователь и самого себя рассматривает как субъект исследования. (1994) Используя стратегию дискурса, Фуко считает свой подход родственным методам Витгенштейна, Серля, Стросона и Остина, с тем различием, что чисто лингвистический подход слишком узок, ограничен для целей его исследования. М. Фуко расширяет понятие контекста, принимая во внимание как можно более полный исторический контекст. Процессы, дискурс, происходящий в суде М. Фуко считает подходящим материалом для исследования.

[7] См. также монографию ФУКО (1994), согласно которому говорить значит использовать власть; говорить значит рисковать властью; говорить значит считаться с возможностью успеха или провала.

Автор называет процесс правосудия действительным[8] процессом в действительном контексте, представляющим возможность создания теории дискурса истины и правосудия. По М. Фуко всякий дискурс подчиняется определенным закономерностям, которые возможно раскрыть исходя из высказываний участников дискурса.

М. Фуко в пяти лекциях рассуждает о нескольких периодах истории права. Он останавливается на двух моделях правосудия: правосудие в гомеровских эпосах, когда истина определяется пробой, испытанием (эта форма определения истины появляется и в средневековье) и правосудие в драме Софокла «Король Эдип», где король сам вершит над собой правосудие, и приговаривает себя к ослеплению и изгнанию, однако основа его приговора не указание богов, не знак свыше, а собственные логические умозаключения, изучение фактов и показаний свидетелей. Единственность такой истины подтверждается тем, что свидетелями выступают с одной стороны представляющий верх иерархии бог Аполлон, с другой стороны низ: слуги, пастухи. Вина Эдипа в незнании, наказание его в том, что теряет власть. Развязка драмы парадоксальна: слепой, потерявший власть Эдип обладает истиной, в противопоставление зрячему королю.

Методы современного правосудия схожи с вышеприведенным примером короля Эдипа, с тем различием, что Эдип, как судья имеет отношение к своему преступлению. В более поздние эпохи в процедуре правосудия кроме потерпевшего и нанесшего ущерб появляется третье лицо, представляющее государство и имеющее власть вершить правосудие соответственно определенным правилам, принятыми в данном обществе.

Затем, в средние века и в более поздние эпохи с изменением структур власти зародились новые системы и методы правосудия. Особенно радикально влияло на эти процессы происхождение государства в современном смысле этого понятия. Фуко характеризует систему власти, существующую и сейчас (образовавшуюся в конечном виде и идеологически в эпоху Просвещения) как паноптикона (идея английского теоретика права и реформиста тюремного заключения Джереми Бентама). Все государственные учреждения некоторым образом походят на тюрьму (хотя сам институт тюрьмы как раз и порожден этим обществом). Ключевым словом в описании этой структуры является обозримость. Представители государства, обладающие соответствующей властью, которой наделяет их роль, заполненная в механизме государственной машины и «следят», «надзирают» за деятельностью членов общества, такой власти не имеющих. Достаточно задуматься о разных социальных ролях, и мы находим множество примеров, подтверждающих вышесказанное. Педагог следит за тем, чтобы поведение детей не выходило за рамки общественных норм, директор следит за работой подчиненных. Подобна и роль полиции и прочих правоохранительных организаций. По М. Фуко госу-

[8] См. также монографию ФУКО (1994), который пишет, что дискурс – это происшествие, имеющее материальность. Таково же и восприятие Т. Ван Дейка.

дарство (власть) всегда стремилось предотвратить нарушающее норму поведение, но достигало это разным образом: в период средневековья это непосредственное наблюдение. Начиная с 18-го века вплоть до середины 20 столетия это общество-паноптикон. А в современный период государство пытается воздействовать на граждан через моделирование нормативного поведения, транслируемых средствами массовой информации.

Если поведение кого-либо (не обладающего государственной властью индивида) в современном обществе наносит другому/им вред, государство вмешивается, определяет, был ли нанесен ущерб, каков его размер (определение чего теоретически весьма затруднительно, так как даже какой-либо предмет обладает разной ценностью в глазах потерпевшего, преступника и судьи), какое наказание заслуживает преступившее общественные нормы лицо (преступник) и какова должна быть компенсация жертвы.

Изложенные мысли кажутся само собой разумеющимися, но необходимы для конструирования ситуации, происходящей в суде, так как (несколько парадоксально) в суде сами «главные герои» оказываются оттесненными на задний план. Активными же участниками дискурса становятся адвокат, прокурор и судья, а также «обслуживающий персонал», помогающий работе суда: судебный пристав, секретарь, охрана. Говорящие должны соблюдать некоторые правила, в которых тоже присутствует строгая иерархия. Судья «управляет» процессом, поэтому наибольшая свобода высказывания принадлежит ему. Прокурор и адвокат говорят, подчиняясь определенным правилам и указаниям судьи. Жертва и преступник, как и свидетели, лишь отвечают на обращенные к ним вопросы, помимо этого никакой возможности для высказывания не имеют, а также не имеют возможности обратиться друг к другу. Правосудие, таким образом, вершит лицо, к преступлению никакого отношения не имеющее. Его роль – применить отвлеченное правило к конкретному случаю на основе правового кодекса, а право на это дает ему власть, так как в суде он представитель государства.

Судья, адвокат, прокурор – дискурс профессионалов. Квазиправовой дискурс в программе Час суда

Как было указано ранее, преступнику и жертве в процессе правосудия предлагается пассивная роль. Обсуждение дела ведется между судьей, адвокатом и прокурором, причем на таком профессиональном языке, что сами затронутые не всегда понимают, о чем идет речь в зале суда.

Проблематикой и некоторыми особенностями юридического стиля занималась венгерский лингвист Ч. Добош (1999: 109–114), которая определила, что право, юридическая норма реализуется посредством языка. Исследователь в своей статье Право и язык рассматривает отношение права и языка с точки зрения структурализма. Она определяет язык как «относительно самостоятельное» общественное явление, а отношения языка и права характеризует как связность и взаимную зависимость. В нашем понимании невозможно

отделить дискурс от права. Правовой дискурс сам и есть право, включающий прагматический контекст и схемы, употребляемые в зале суда. Это и есть сам юридический/правовой дискурс.

Задача судьи, адвоката и прокурора, изучить конкретный случай и применить к нему соответствующий параграф правового кодекса. При этом они должны руководствоваться принципами объективности, беспристрастности и справедливости[9]. Для того, чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо толкование двух текстов: представляемое дело и параграф закона. В принципе, суть юридического дискурса это переложение, «перевод» случая на язык законодательства, и интерпретация текста законодательства для применения к конкретному случаю.

Программа Час суда может быть названа квазиправовым дискурсом, так как он лишь подражает юридическому дискурсу и отличается от него в некоторых важных деталях. Судья (имеющий юридическое образование) в процессе вынесения решения опирается не только на свод законов, а, всего лишь следуя некоторым основным юридическим принципам, на чувство справедливости и здравый рассудок. Отсутствуют также двое весьма важных в процессе правосудия лиц: адвокат и прокурор. Частично их функцию выполняет сам судья в процессе выяснения действительных обстоятельств дела (истины). Вместо адвоката обвинение представляет истец, который, как потерпевший ущерб, естественно рассказывает о происшедшем с эмоциями и обвиняет ответчика, ведь происшедшее его непосредственно затрагивает. Таким образом, каково бы ни было требование беспристрастности, его весьма трудно соблюсти. Однако именно эти напряженные моменты и делают телевизионную программу интересной для зрителей. Ответчик, обличенный в преступлении общественных норм, в каком-то безнравственном поступке, защищается, и идет на все, чтобы оправдаться, как правило стараясь поставить под сомнение личность ответчика, и тем самым его слова. Ведь в программе правосудие вершит не только судья, следующий каким-то общим юридическим принципам, но и публика перед экранами телевидения, и ее «приговор» может быть даже важнее «приговора» мирового судьи.

Сценарий как определяющий критерий юридического дискурса в программе Час суда

Дискурс неотрывен от ситуации, поэтому описание контекста занимает важную роль в исследовании дискурса. Разные исследователи по разному называют единицы дискурса, это т.н. фреймы и сценарии, определенные

[9] Все эти определения, к которым может быть добавлено также понятие гуманность весьма расплывчаты и относительны, представляют систему ценностей данного общества. Проблема относительности вышеприведённых понятий объективности, беспристрастности, справедливости и гуманности одна из главных проблем правовых систем как на законодательном, так и на исполнительном уровнях. Эти понятия – ключевые, стремлением к этим критериям объясняется множество особенностей правового дискурса. См. также САБО (2002: 123–129).

коммуникативные ситуации, в связи с которыми у участников имеются определенные знания, как их характеризует Ван Дейк (1989: 140) сценарии: «можно определить как абстрактные, схематические, иерархически организованные наборы пропозиций, конечные пропозиции которых являются незаполненными: их наполнение производится по умолчанию. Поэтому эти сценарии могут быть приложены к различным ситуациям, путем заполнения этих терминальных позиций конкретной информацией». Ван Дейк сравнивает сценарии с другими единицами, которые он называет ситуационными моделями памяти и различает частные (particular) и общие (general) модели. В нашем понимании Ван Дейка частные модели содержат конкретную информацию, действительно разворачивающиеся, имеющие место процессы, а общие модели – это наше социальное знание о том, как происходит какая-либо ситуация (например судебный процесс). «Те общие модели, которые являются социально релевантными, могут быть преобразованы – с целью, например, их большего обобщения, абстрагирования от конкретных ситуаций и отрыва от контекста – во фреймы или сценарии в семантической («социальной») памяти. Следовательно, мы можем теперь осуществить последовательный переход от индивидуальных, частных моделей – через модели более общие – к самым общим фреймам или сценариям, разделяемым членами социума» (Ван Дейк 1989: 165).

Сценарий коммуникативной ситуации в программе «Час суда» в общих чертах был охарактеризован ранее, однако описание требует некоторых дополнений. Суд, появляющийся в программе, представляет собой особенную форму правосудия. В «Час суда» можно подавать иски, по которым возбуждение уголовного дела было отклонено и размер нанесенного ущерба не превышает 30000 рублей. Как правовой дискурс программа представляет интерес потому, что создает абстрагированную ситуацию, как общество представляет процесс правосудия. Этот суд (мировой) отличается от уголовного или гражданского тем, что в ней нет дискурса между судьей и адвокатом, прокурором, а дело представлено истцом и ответчиком, судья опирается не только на законодательство, а в основном на собственный опыт, накопленный в процессе ознакомления с делом. Процесс ограничивается временем передачи. Судья изучает дело путем допроса истца, ответчика и свидетелей, знакомится с различными вещественными доказательствами. В принципе, программа «Час суда» представляет некий популярный взгляд на систему правосудия вернее в телепередаче дается популярная версия профессионального дискурса, который относительно легко поддается анализу ввиду его некоторой схематичности.

Так как в данной статье мы занимаемся особенностями юридического дискурса в русских СМИ, характеризуя квазиюридический дискурс программы «Час суда», затрагивая и сравнивая с общими характеристиками профессионального дискурса, наше внимание фокусируется на речевом поведении судьи, так как в программе он единственное лицо, обладающее юридическим образованием. Однако речевое поведение судьи в телевизионной программе отлично от обычного, так как судья одновременно должен выполнять роли судьи, адвоката и прокурора, наблюдать за порядком в суде, а также стремиться к беспристрастно-

сти и объективности (и требовать стремления к беспристрастности и объективности от остальных участников). Как раз посредством этих особенностей речь судьи и становится профессиональным употреблением языка. Истец и ответчик подражают этому языку, но не всегда успешно, судья вмешивается, если сказанное ими не соответствует нормам юридического дискурса. В заключение, наша задача проследить и интерпретировать, каким образом речевое поведение судьи создает сценарий процесса правосудия.

Метод

Цель исследования – определить роль судьи в коммуникативной ситуации процесса правосудия (в программе «Час суда»), создать его «речевой портрет». Объект исследования – разворачивающийся по определенным правилам устный дискурс. Из различных методов описания дискурса (структуральный анализ дискурса, анализ прагматической ситуации и т. д.) внутренняя структура и закономерности разговорной речи описываются конверзационным анализом.

Конверзационный анализ в венгерской лингвистической литературе представлен работами Жужанны Ивани (Ивани 2001, 2003). Метод конверзационного анализа вырастает из этнометодологии – направления американского социологического исследования. Этнометодология изучает, каким образом создают члены общества социальный строй, социальную реальность в процессе ежедневного общения и практики. (Ивани 2001) Следовательно, предпосылки общественного строя состоят не в системе ценностей данного социума, а наоборот, социальная реальность воплощается и поддерживается в повседневной интеракции членов общества. (Ивани 2001) Важную роль в этом процессе играют стратегия и модели, схемы в разговорной речи. Эта идея появляется и у М. Бахтина в Проблеме речевых жанров, когда он определяет, высказывание не ново, а следует заданному образцу жанра.

Разговорная речь подчиняется своим особым закономерностям, поэтому задача конверзационного анализа может быть определена как создание грамматики разговорной речи. (Ивани 2001) Внимание конверзационного анализа направлено на непринужденную беседу. Разговор в программе «Час суда»развертывается по определенному сценарию, не может быть интерпретирован, как «повседневный», однако к нему вполне применимы приемы конверзационного анализа. Конверзационный анализ изучает заданность беседы, кооперацию разговаривающих, единицы, фазы беседы, предположения слушающего, ошибки и исправление ошибок, вопросы (Ивани 2001).

Текст программы может быть разделен на две части с точки зрения организации языкового материала: на доказывание и оглашение приговора. Процесс доказывания реализуется посредством вопросов судьи и ответов истца и ответчика. Доказывание может быть представлено с помощью метода конверзационного анализа, оглашение приговора же – при помощи риторики (см. Сабо 2002: 135–160).

В анализе устного текста программы мы рассматриваем, в первую очередь, речевое поведение судьи, как центральной фигуры коммуникативной ситуации, естественно, занимаясь его разговорной деятельностью, необходимо в какой-то степени представить также речь истца и ответчика. Следует заметить, что несмотря на то, что судью мы называем центральной фигурой, отсутствие ни одного участника коммуникативной ситуации не допускается, так как это привело бы к «провалу» процесса. Однако несомненным фактом является то, что судья управляет событиями в процессе правосудия, он определяет говорящего, задает вопросы, делает замечания и дает указания по поводу поведения участников разговора. Исходя из этого мы рассматриваем выражение этой ключевой (властной) позиции в узусе судьи.

Речевое поведение судьи

Задача мирового судьи – разрешение спорного вопроса, определение того, нанесен ли ущерб, каков размер ущерба, каков размер компенсации за ущерб, соответствует ли запрошенная истцом компенсация размеру ущерба. Судья должен, ознакомившись с обстоятельствами дела, вынести приговор – это процесс правосудия. Для того, чтобы соблюсти требования справедливости и объективности, судья должен перевести тексты истца и ответчика в юридические термины, затем интерпретировать полученную информацию, сопоставить с законом и вынести решение. Важные критерии при этом точность, адекватность, поэтому часты переспрашивание, повторение, уточнение, перефразировка. В принципе речь судьи может быть практически полностью описана следующими терминами: вопросы, касающиеся спорного дела; перефразировка, повтор; замечания по поводу поведения в суде; оценка поведения; вынесение приговора.

Ключевую роль в процессе правосудия играет доказательство и доказывание (см. Уголовный Кодекс Российской Федерации, Раздел III, Глава 10.). Соответственно уголовному кодексу, доказательству подлежит: «событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания». Статья 74 той же главы определяет понятие доказательства. «Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение

и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы.» Из изложенного следует, что доказывание – основная организующая высказывания судьи задача, а также и то, что текст передачи может быть разделен на две весьма отличающиеся друг от друга части. Первая часть, доказывание, диалогична, может быть рассмотрена в рамках конверзационного анализа, а вторая часть – вынесение приговора, монологична, описывается скорее риторикой, стилистикой.

Так как судья в программе должен ознакомится с подробностями дела и доказать виновность/невинность ответчика, а также обоснованность иска, выполнить роль адвоката и прокурора, он задает вопросы. Можно определить несколько категорий вопросов: фактические (выясняющие, что произошло в общих чертах, в ответе требующие изложения фактов и событий), временные (выясняющие временную последовательность событий, имеющие определяющую роль в изложенном здесь случае), оценки (выражающие отношение судьи к лицам, событиям, имплицитно содержащие личную оценку судьи), обстоятельств (выясняющие обстоятельства событий) и уточнения (уточняют обстоятельства и зачастую содержат повтор, перефразировку). Вопросы оценки, как правило, имеют сложную смысловую структуру, они содержат имплицитную информацию, которая в форме перефразировки дается в таблице №1 в скобках, курсивом.

Таблица №1

тип вопроса	примеры
фактический	Что же произошло? Как вас обидели?
временной	Журнал учета рабочего времени (изучает документы), сколько времени он ведется? Сколько лет вы проработали на этом предприятии?
оценки	А он обладает какими-то специальными знаниями, он работает… (*Достаточно ли компетентно это лицо, чтобы обосновать ваш иск?)* Получается, что (хм) не так, как вы говорите все, по мнению директора, Зои Ивановны Сухой, она представляет доказательства, кому верить, документам, или вам? (Сказано с иронией. *Несмотря на то, что директор все опровергает, я все же склоняюсь к тому, что истина на вашей стороне. Однако для вынесения беспристрастного, справедливого решения суду нужны доказательства.*) Помимо клятвы, Анна Сергеевна, вы могли бы свидетелей пригласить? (*Для вынесения беспристрастного, справедливого решения суду нужны доказательства.*)
обстоятельств	Вы вели эту тетрадь самостоятельно, или это было вашей обязанностью? И каждый ваш выход на работу и отработанное время вам мастер заверял? Вы взыскания на нее накладывали какие-то за нарушение трудового законодательства?
уточнения	Ну, на основании тех записей, которые у вас есть (И. Да…) пересчитал вам вашу пенсию? Значит он работник СОБЕСа? И у него 2200, то есть в два раза больше? А что это вы говорили за карта, тетрадь, журнал? Да или нет? Нет?

Чтобы соблюсти критерии точности, адекватности, а также перевести тексты истца и ответчика в юридические термины употребляются повтор и перефразировка. Проанализировав примеры, приведенные в таблице №2 можно прийти к выводу, что в этих перефразировках, произведенных мировым судьей, главным руководствующим принципом является стремление «очистить» сказанное истцом и ответчиком от субъективного, от эмоций и определение фактов (см. в таблице №2 эмоционально окрашенные выражения истицы). Высказывания судьи подчиняются требованию функциональности: каждый вопрос, каждое определение преследует цель реконструкции социального, общественного происшествия, а рассказанное истицей может быть охарактеризовано как жалоба и просьба о помощи. Судья, перефразируя эту жалобу, формулирует иск.

Таблица № 2

текст истца	перефразировка судьи
А они обидели. Неправильно начислили. Когда я получила пенсию и получилась моя пенсия всего составляет 1100 рублей. Я на этой фабрике работала. Работа очень тяжелая. Работа вредная. Я потеряла зрение, которое я (заминка, ищет слова) за два года стала вообще больным человеком, и когда я пенсию такую мизерную получила, конечно я пришла в ужас и решилась к вам обратиться. За помощью. Получилось так, почему я узнала, что пенсия моя не достаточно такая, что должна быть. У меня друг пришел, он работает на пенсии, Николай Иваныч, он и говорит: «А почему ты такую пенсию маленькую получаешь?» Я говорю: «Ну, вот у меня , посмотри пожалуйста, вот моя тетрадь рабочая. Вся моя работа записана.» – «А почему ты такую маленькую зар… получаешь пенсию?» – «Я сама не знаю, почему.» Он говорит: «По твоей… по твоим расчетам, как ты работала хорошо, нормы перевыполняла, должна твоя пенсия быть в два раза больше, примерно 2200 рублей.»	Ну, на основании тех записей, которые у вас есть (И. Да…) пересчитал вам вашу пенсию? И у него 2200, то есть в два раза больше? А что это вы говорили за карта, тетрадь, журнал?
Он работает в СОБЕСе, он работает…	Значит он работник СОБЕСа?
А я объясняю, как это так получилось, а оказалось, директор фабрики, вот эта женщина (указывает на ответчика), которая меня обманывала, которая себе деньги клала в карман, она мне недоплачивала денег…	Вы говорите, что по вашему мнению эта пенсия рассчитана неправильно.
Ну, свидетели, вы знаете, они боятся. Я пенсионерка, а они против директора никогда не пойдут.	То есть вы пенсионерка, вам бояться некого.

Так как судья единственное лицо в программе, имеющее четкое представление о том, как выглядит сценарий юридического дискурса, а также фигура, распоряжающаяся наибольшей властью, в его роль входит поддержание порядка в зале суда. С этим связаны замечания по поводу поведения в суде: *Анна Сергеевна! Давайте воздержимся от обвинений и будем говорить только о том, что произошло конкретно. / Воздержитесь, пожалуйста, Анна Сергеевна, воздержитесь.* Эти предложения с одной стороны призывают

истицу стремиться к беспристрастности, с другой стороны делать какие-либо выводы и оценки имеет право (власть) только суд. Участники процесса должны следовать нормам поведения в суде, когда ответчик начинает оправдываться во время вынесения приговора, судья прерывает ее повышенным тоном: *Нет, сейчас уже все, закончились прения, здесь, выступления, говорит только суд...*

В процессе ознакомления с делом появляется и личное мнение судьи, оценка чьего-либо поведения, каких-то событий: Истец: Да, они не пойдут: «Я» – говорят – «не пойду, потому, что нам это не надо, мы работаем, а у нас очень она...» Судья: Вот так и проявляется гражданская позиция. (То есть, то, что бывшие сотрудники, боясь директора не согласны идти в суд давать показания, что оценивается как безответственность).

Истец и ответчик, отвечая на вопросы, характеризуют друг друга, в процессе этих (зачастую нелестных) характеристик мировой судья вынужден вмешиваться, чтобы предостеречь их от негативной оценки. Однако участники дают описание не только спорной стороны, но и себя, определяя группы, к которым они определяют свою принадлежность. Так как большинство вопросов обращено к истице, ее мнение более четко выражено. Истица отожествляет себя со всеми обиженными и обманутыми русскими женщинами, живущими на мизерные (тут она часто запинается, так как три выражения «мешают» друг другу: зарплата, пенсия и копейки) зарплаты и пенсии, зарабатывающие на жизнь «потом и кровью», теряющими здоровье на «тяжелой, вредной работе». Например: *Работа очень тяжелая. Работа вредная. Я потеряла зрение, которое я (заминка, ищет слова) за два года стала вообще больным человеком, и когда я пенсию такую мизерную получила, конечно, я пришла в ужас и решилась к вам обратиться. За помощью.* Дальнейшие примеры см. в приложении. Ответчик представляется истицей как ворующий тяжким трудом заработанные деньги своих подчиненных. Например: *А я объясняю, как это так получилось, а оказалось, директор фабрики, вот эта женщина (указывает на ответчика), которая меня обманывала, которая себе деньги клала в карман, она мне недоплачивала денег...*; *Да, а она нехорошая очень, она всегда нас ущемляла...* Ответчик же представляет предпринимательскую сферу и описывает некоторые явления (неоплата больничных листов, нарушение трудового законодательства напр. раздела VIII-го, главы 29-й статьи 189 о дисциплине рабочего труда) как на частном предприятии само собой разумеющееся, а истицу – как плохого подчиненного, который «прогуливает».

В процессе доказывания свидетели не привлекаются, ключевую роль играют два вещественных доказательства, журналы учета рабочего времени, один из которых сфальсифицирован.

Кульминационным моментом и развязкой судебной процедуры является вынесение приговора. Вынесение приговора следует определенной структуре: формулы типа (*Оглашается решение суда.)*, обращение, вынесение приговора, аргументация (в данном случае сперва аргументация для нагнетания

напряжения). После оглашения решения раздается стук молотка, подчеркивающий необратимость и завершенность данного решения. Истица обличена во лжи, на нее налагается штраф за неуважение к суду, после чего определяется размер компенсации и период времени, в течение которого компенсация должна быть выплачена. Каждое слово судьи – перформатив, действие, оказывающее влияние на реальность, так как он располагает необходимой для этого властью.

1. Прошу садится! Оглашается решение суда.

2 Уважаемый ответчик! Вы являетесь руководителем предприятия. (О. кивает) Вы отвечаете за жизнь, здоровье рабочих, потому, что они доверились вам. Также отвечаете за правильность расчета зарплаты, от которой зависит потом пенсия, которую будут получать люди. В этой связи суду были предоставлены два документа: подтверждение требования истца и возражение ответчика. Документы практически одинакового назначения, это тетради учета рабочего времени. Но, как сказал руководитель предприятия, уважаемый ответчик, ее документ, представлен был ей документ с печатями, а этот документ без печатей, с подписью мастера, с записями от руки, но я хочу напомнить вам, уважаемый ответчик, что часто документ с печатями бывает совершенно нового содержания и даже может быть сфальсифицирован.

3 Почему суд пришел к этому выводу? Объясняю. Вы утверждаете, что данный документ, тетрадь учета рабочего времени составлен и отражает записи за последние два года работы уважаемой истицы. Значит, поскольку память мне не изменяет, сегодня на дворе 2004-й год, начало года, а вот эта тетрадь, которая отражает эти записи, на свет выпущена в 2003-м году.

4 О. Ваша честь, у нас тоже...

5 С. Нет, сейчас уже все, закончились прения, здесь, выступления, говорит только суд, суд оглашает свое решение,

6 поэтому суд должен вас изобличить во лжи, наложить на вас штраф за неуважение к суду в размере 5000 рублей (стук молотка), первое решение, затем, в связи с тем, что истица изменила свои исковые требования и просила не взыскивать с вас 26400 рублей в качестве компенсации, а направить, перечислить в пенсионный фонд все недоплаченные взносы, после перерасчета которых вы должны, но суд уже за вас это сделал, вы должны, суд вас к этому обязывает в своем решении перечислить в пенсионный фонд недоплату взносов в пенсионный фонд, после этого будет рассчитана новая пенсия уважаемой истицы, она будет получать новую пенсию 2200 рублей, как сказал вам ваш знакомый из СОБЕСа. В связи с тем, что истица получала некоторое время пенсию в уменьшенном размере, в связи с тем, что вы неправильно производили перечисления взносов в пенсионный фонд вы должны выплатить ей компенсацию за все это время в размере 8000 рублей. Все эти действия вы должны произвести в течение пяти рабочих дней после постановления данного решения. (стук молотка)

Пронумерованные части текста представляют: (1) вводную формулу, (2) обращение к ответчику и определение факта подделки документа, (3) аргументацию, (4) возражение ответчика, (5) указание судьи по поводу порядка оглашения приговора, (6) определение санкций, накладываемых на ответчика.

В передаче «Час суда» параллельно демонстрируется две модели власти: власть судьи, заключающаяся в способности своей речью изменять события и разрешать конфликты, а также власть работодателя над своими подчиненными. Отношения между начальником и подчиненным в программе представлены как негативный пример применения власти – директор пренебрегает своими обязанностями, которые судья определяет как ответственность за жизнь и здоровье рабочих, а также за правильность рассчета зарплаты. Директор кроме этого злоупотребляет своей властью (см. слова истицы: «а она нехорошая очень, она всегда нас ущемляла...», «а они боятся» – то есть бывшие сотрудники и т.д.). А модель государственной власти, представленная судьей, появляется как позитивный пример: мировой судья справедлив, защищает слабых и обиженных.

О роли СМИ в коммуникации между государственной властью и населением не говорилось подробно (см. в разделе Дискурс правосудия и власти), это составляет дальнейшую цель нашего исследования, но сообщение программы однозначно – оно желает укрепить в массах доверие к государственной власти.

Заключение

Исследование, после ознакомления с теоретическими предпосылками, представило развитие квазиправового дискурса в телевизионной программе «Час суда». Были описаны различия между правовым и квазиправовым дискурсом, а также роль сценария в создании контекста. Была определена роль судьи, как обладающего наибольшей властью и компетенцией лица и описано его речевое поведение, как определяющее процесс коммуникации в процессе правосудия. Речевое поведение судьи может быть охарактеризовано следующими терминами: вопросы, касающиеся спорного дела; перефразировка, повтор; замечания по поводу поведения в суде; оценка поведения; вынесение приговора. Важный аспект речевого поведения судьи – перевод высказываний истца и ответчика в юридические термины, очищение от стереотипов и эмоций. Цель модели правосудия, представленной в телевизионной программе «Час суда» – укрепить в массах доверие к государственной власти.

Литература

БАРТ 1978: Барт, Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII Лингвистика текста Ред. Т. М. Николаев. Москва, 442–449.

БАХТИН 1979: Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. Москва, 237–280.

ВАН ДЕЙК 1989: Ван Дейк, Т. Когнитивные модели этнических ситуаций // Язык, познание, коммуникация, Москва, 161–189.

ВАН ДЕЙК 1989: Ван Дейк, Т. Контекст и познание. Фреймы знаний и понимание речевых актов // Язык, познание, коммуникация. Москва, 12–40.

Водак 1996: Wodak, R. Disorders of Discourse, New York, Addison Wesley Longman limited.

Гаспаров 1996: Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования, Москва.

Герасимов–Петров 1988: Герасимов В. И., Петров В. В. На пути к когнитивной модели языка. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII Когнитивные аспекты языка. Ред. М. А. Оборина, Москва, 5–93.

Добош 1999: Dobos Cs. A nyelv és a jog általános összefüggésének néhány aspektusa [Несколько общих аспектов связи языка и права] // Modern Filológiai Közlemények 1., Scholastica, Miskolc, 109–114.

Добрускина–Берзон 1986: Добрускина Э. М., Берзон В. Е. Синтаксические сверхфразовые связи и их инженерно-лингвистическое моделирование. Кишинев, 3–52.

Золотова 1979: Золотова Г. А. Роль ремы в организации текста // Синтаксис текста. Москва, 113–134.

Ивани 2001: Iványi Zs. A nyelvészeti konverzációelemzés [Лингвистический конверзационный анализ] // Magyar Nyelvőr, 125. évfolyam, 1. szám, 2001. január-március, Online. Available. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1251/index.html

Ивани и др. 2003: Iványi Zs., Kertész A., Marinecz K., Máté N. A társadalmi kategorizálás grammatikája és pragmatikája [Грамматика и прагматика социальной категоризации] // Modern Filológiai Közlemények 1., Scholastica, Miskolc, 2003, 5–24.

Кибрик 1994: Кибрик А. А.Когнитивные исследования по дискурсу. // Вопросы языкознания. 1994, №5, 126–139.

Кочань 1989: Kocsány P, Szövegnyelvészet vagy szövegtípusok nyelvészete [Лингвистика текста или лингвистика типа текста] // Filológiai Közlöny 35, Akadémiai Kiadó, Budapest, 26–43.

Кристева 2004: Кристева, Ю. Разрушение поэтики (пер. с франц. Г.К. Косикова) // Избранные труды: Разрушение поэтики, Москва, 7–30.

Лайонз 2003: Лайонз, Д. Лингвистическая семантика (пер. с англ. В.В. Морозова и И. Б. Шатунова), Языки славянской культуры, Москва, 36–39.

Остин 1962: Austin, J. L. How to Do Things with Words, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1962.

Папп 1968: Papp F. О некоторых общих вопросах порождающей грамматики современного русского языка // Studia Slavica, Budapest, Akadémiai Kiadó, 291–302.

Папп 2001: Papp F. A moszkvai szemantikai iskoláról: az értelem-szöveg modell [О московской школе семантики: модель смысл – текст] (ÉSzM) // A moszkvai szemantikai iskola, szerk. Papp Ferenc, Corvina Kiadó, Budapest.

Петрова 2003: Петрова, Н. В. Текст и дискурс // Вопросы языкознания. 6, 123–131.

Сабо 2002: Szabó M. A kommunikáció általában és a jogban [Коммуникация вообще и в праве], Miskolc, Prudentia Iuris.

Серль 1965: Searle, J. R. What is a Speech Act? // Philosophy in America, Ed. by Black, Max. Ithaca, Cornell University Press.

Филлмор 1988: Филлмор, Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII Когнитивные аспекты языка. Ред. М. А. Оборина, Москва, 52–92.

Фуко 1994: Foucault, M. Dits et écrits II, Paris, Gallimard, 1994.

Х. Тот 1996: H. Tóth I. A nyelvtudomány története a XX. század elejéig. Csomópontok és átvezető szálak, [История языкознания до начала XX века. Узлы и связи] Savaria University Press, Szombathely, 145–196.

ШАУМЯН 1965: Шаумян С. К. Насущные задачи структурной лингвистики. Заключение // История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. In: В. А. Звегинцев, (ред.) Москва, 459–478.

ШЕНК 1980: Шенк, Р. Обработка концептуальной информации. (пер. с англ. Г. В. Сенина, под ред. В. М. Брябрина) Москва, 5–81.

Приложение

Транскрипт эпизода программы «Час суда» записанный по программе НТВ 2005 года, 28 сентября в 16:00

Сокращения: истец (И.), ответчик (О.), судья (С.). Транскрипт не отражает интонаций, пауз, лишь в некоторых, особо характерных или важных для понимания случаях. Фрагментарен транскрипт, так как оценка решения судьи истцом и ответчиком, а также писателем опущены, как не непосредственно важные с точки зрения данного исследования.

Ведущий: Истец Анна Пряхова обратилась в суд и требует 26400 рублей как возмещение ущерба за неправильно рассчитанную пенсию. Ответчик Зоя Сухая утверждает, что истец заслужила только ту пенсию, которую ей рассчитали.

И. Я два года последние работала на этом предприятии.

С. Что же произошло? Как вас обидели?

И. А они обидели. Неправильно начислили. Когда я получила пенсию и получилась моя пенсия всего составляет 1100 рублей. Я на этой фабрике работала. Работа очень тяжелая. Работа вредная. Я потеряла зрение, которое я (заминка, ищет слова) за два года стала вообще больным человеком, и когда я пенсию такую мизерную получила, конечно я пришла в ужас и решилась к вам обратиться. За помощью. Получилось так, почему я узнала, что пенсия моя не достаточно такая, что должна быть. У меня друг пришел, он работает на пенсии, Николай Иваныч, он и говорит: «А почему ты такую пенсию маленькую получаешь?» Я говорю: «Ну, вот у меня , посмотри пожалуйста, вот моя тетрадь рабочая. Вся моя работа записана.» – «А почему ты такую маленькую зар… получаешь пенсию?» – «Я сама не знаю, почему.» Он говорит: «По твоей… по твоим расчетам, как ты работала хорошо, нормы перевыполняла, должна твоя пенсия быть в два раза больше, примерно 2200 рублей.»

С. Так…

И. Я говорю…

С. Ну, на основании тех записей, которые у вас есть (И. Да…) пересчитал вам вашу пенсию?

И. Да…

С. А он обладает какими-то специальными знаниями, он работает…

И. Он работает в СОБЕСе, он работает…

С. Значит он работник СОБЕСа?

И. Да, он работник СОБЕСа, он знает правила эти, порядки, а владелец…

С. И у него 2200, то есть в два раза больше?

И. Да, в два раза больше.

С. Так…

И. А я объясняю, как это так получилось, а оказалось, директор фабрики, вот эта женщина (указывает на ответчика), которая меня обманывала, которая себе деньги клала в карман, она мне недоплачивала денег…

С. Анна Сергеевна! Давайте воздержимся от обвинений и будем говорить только о том, что произошло конкретно. Вы говорите, что по вашему мнению эта пенсия рассчитана неправильно.

И. Неправильно!

С. Так, и у вас получилось, что она вам 26400 рублей еще должна.

И. 26400.

С. 26400.

И. Да.

С. А что это вы говорили за карта, тетрадь, журнал?

И. А карта – это карта моей работы, которую я проделала работу. Она мне…

С. Вы вели эту тетрадь самостоятельно, или это было вашей обязанностью?

И. Вели за подписью мастера.

С. А…

И. Я проделывала работу и с подписью мастера, он подписывал мою… У меня работа сдельная была и он подписывал мне, расписывался за…

С. То есть это то, что раньше называлось журналом учета рабочего времени, как я понял.

И. Да, правильно, правильно, все правильно говорите.

С. И каждый ваш выход на работу и отработанное время вам мастер заверял?

И. Да, заверял.

С. Можете представить суду эти документы? Через судебного пристава пожалуйста передайте! (изучает документы) Сколько лет вы проработали на этом предприятии?

И. Я на этом предприятии проработала всего два года, я работала на другом предприятии, но сюда перешла перед пенсией, думала побольше заработать пенсию, но когда я получила такую мизерную пенсию, естественно, я пришла в ужас. И пришла, чтобы вы разобрались, как я могу… Сейчас за всех русских женщин я говорю, как я могу, пенсионерка, получать такие мизерную… копейки, такую мизерную… пенсию такую маленькую, потому, что сейчас прожить, вроде договорились, что прибавляют, но прибавят опять какие-то копейки, как я могу жить…

С. Ну, чтобы прибавить, надо сначала правильно рассчитать, правильно?

И. Да, правильно.

С. Можно прибавить к тому, что уже есть.

И. Я живу одна, мне помочь некому. Я пенсионерка, живу на такой мизер, как я могу жить?! И я прошу, чтобы она мне выплатила, а почему выплатила? А потому, что не полностью записывала мою работу, чтобы не платить налоги. Она мне начислила, мою работу оценила в 1500 рублей, и она неправильно переписывала, отписывала куда-то, я не знаю, почему получилась… у меня такой маленький заработок. И я хочу, чтобы она вернула, мне надо свое зрение восстановить, хотя бы эти деньги мне получить, которые я заработала своим трудом, своей кровью, которые… Я за два года все на свете потеряла, я стала вся больная!

С. Так, давайте выясним у ответчика, как обнаружилось такое несоответствие, как вообще оно произошло. Поясните пожалуйста, Зоя Ивановна, как директор фабрики!

О. Ваша честь! У меня есть журнал, такой же самый, как у нее, под печатью. Вот. Позвольте вам передать вот в этом журнале учет.

С. Передайте, пожалуйста, через судебного пристава!

О. Вот в журнале учет, журнал учета рабочего времени, я хочу отметить…

С. Журнал учета рабочего времени (изучает документы), сколько времени он ведется?

О. Я хочу отметить, журнал ведется, как положено!

С. И за то же время, о котором говорилось, соответственно.

О. Да, за то же самое время журнал. К тем данным, где есть подпись мастера можно было приписать дополнительные часы. Я хочу отметить такой факт, что истица прогуливала очень много, она… У меня частное предприятие и больничные листы я не… то есть не оплачиваю, вот, очень часто я ее отпускала, она приходила и говорила, что она не может, она работала полдня, вот, там отмечено, что все работали по восемь часов, а она работала только по четыре часа. Я, в принципе, могла ее давным-давно уволить, но я пожалела ее, потому, что ей нужно было два года доработать до пенсии.

С. Вы взыскания на нее накладывали какие-то за нарушение трудового законодательства?

О. Вы понимаете, у нас частное предприятие…

С. Да или нет?

О. Нет.

С. Нет?

О. Нет, не накладывала. У нас с ней был договор, вот, что она больничный лист брать не будет, то есть, вот, она работала по четыре часа.

И. У вас была другая тетрадка! Эта тетрадка совершенно новая.

С. Получается, что (хм) не так, как вы говорите все, по мнению директора, Зои Ивановны Сухой, она представляет доказательства, кому верить, документам, или вам?

И. Ну, я не знаю, но я клянусь, что все, что здесь, в моей тетрадке, которое я заработала, и я не могу вам доказать, против меня конечно… нет, за меня многие могут пойти, но видите…

С. Так! За вас многие могут пойти. Помимо клятвы, Анна Сергеевна, вы могли бы свидетелей пригласить?

И. Ну, свидетели, вы знаете, они боятся. Я пенсионерка, а они против директора никогда не пойдут.

С. То есть вы пенсионерка, вам бояться некого.

И. Да, мне нечего терять.

С. И ваши свидетели, хоть и за вас, до сих пор работают на предприятии.

И. Да, они не пойдут: «Я» – говорят – «не пойду, потому, что нам это не надо, мы работаем, а у нас очень она…»

С. Вот так и проявляется гражданская позиция.

И. Да, а она нехорошая очень, она всегда нас ущемляла….

С. Так, так!

И. И..

С. Воздержитесь пожалуйста, Анна Сергеевна, воздержитесь. Анна Сергеевна, скажите пожалуйста, вот вы заявляете иск, требуете 26400 рублей, да…

И. Да.

С. Ну, предположим, давайте просто предположим на секунду, что вы получите эти деньги. Ну и хорошо, на сколько вам этих денег хватит?

И. Знаете, я знаю, что эти деньги небольшие, но для меня, в данный момент я хочу полечить…

С. Ну я хочу разобраться, Анна Сергеевна, я хочу разобраться, принципиальный это для вас вопрос?

И. Да, для меня да.

С. Или, так сказать, сиюминутный, потому, что вы можете получить требуемую сумму, но вы говорите, что неправильно рассчитана пенсия, понимаете, дай вам бог здоровья и долгих лет жизни, вы собираетесь же еще, так сказать, жить и жить и пенсия-то все время будет 1100 рублей.

И. Да, я понимаю, но вы знаете…

С. Может быть есть смысл, но вам выбирать, вам решать. По другому сформулируйте иск, может есть смысл взыскать, если суд установит, что действительно неправильно велся расчет пенсии, действительно не все деньги перечислялись в пенсионный фонд, то есть смысл пересчитать эти взносы в пенсионный фонд и тогда вы имеете право именно на ту пенсию, которую рассчитал вам ваш знакомый из СОБЕСа, которую вы будете получать до конца жизни.

И. Ну, если это так возможно, естественно, это лучше будет.

С. Да, это возможно.

И. Да, потому, что это невеликие деньги…

С. Вы можете изменить ваше исковое требование. Перед вами сейчас есть альтернатива, либо потребовать взыскать 26400 рублей, как вы заявили, либо потребовать заплатить в пенсионный фонд 21400 рублей в качестве неоплаченных взносов и тогда вы получите совершенно новую пенсию 2200 рублей и будете совершенно до конца своих последних дней получать 2200 рублей.

И. Да, я согласна.

С. Значит вы меняете исковое требование. Вы должны четко выразить свою волю.

И. Да. Я хочу.

С. Суд удаляется для вынесения решения.

С. (возвращается) Прошу садится! Оглашается решение суда. Уважаемый ответчик! Вы являетесь руководителем предприятия. (О. кивает) Вы отвечаете за жизнь, здоровье рабочих, потому, что они доверились вам. Также отвечаете за правильность расчета зарплаты, от которой зависит потом пенсия, которую будут получать люди. В этой связи суду были предоставлены два документа: подтверждение требования истца и возражение ответчика. Документы практически одинакового назначения, это тетради учета рабочего времени. Но, как сказал руководитель предприятия, уважаемый ответчик, ее документ, представлен был ей документ с печатями, а этот документ без печатей, с подписью мастера, с записями от руки, но я хочу напомнить вам, уважаемый ответчик что часто документ с печатями бывает совершенно нового содержания и даже может быть сфальсифицирован. Почему суд пришел к этому выводу? Объясняю. Вы утверждаете, что данный документ, тетрадь учета рабочего времени составлен и отражает записи за последние два года работы уважаемой истицы. Значит, поскольку память мне не изменяет, сегодня на дворе 2004 год, начало года, а вот эта тетрадь, которая отражает эти записи, на свет выпущена в 2003 году.

О. Ваша честь, у нас тоже…

С. Нет, сейчас уже все, закончились прения, здесь, выступления, говорит только суд, суд оглашает свое решение, поэтому суд должен вас изобличить во лжи, наложить на вас штраф за неуважение к суду в размере 5000 рублей (стук молотка), первое решение, затем, в связи с тем, что истица изменила свои исковые требования и просила не взыскивать с вас 26400 рублей в качестве компенсации, а направить, перечислить в пенсионный фонд все недоплаченные взносы, после перерасчета которых вы должны, но суд уже за вас это сделал, вы должны, суд вас к этому обязывает в своем решении перечислить в пенсионный фонд недоплату взносов в пенсионный фонд, после этого будет рассчитана новая пенсия уважаемой истицы, она будет получать новую пенсию 2200 рублей, как сказал вам ваш знакомый из СОБЕСа. В связи с тем, что истица получала некоторое время пенсию в уменьшенном размере, в связи с тем, что вы неправильно производили перечисления взносов в пенсионный фонд вы должны выплатить ей компенсацию за все это время в размере 8000 рублей. Все эти действия вы должны произвести в течение пяти рабочих дней после постановления данного решения.

Abstract

Some Peculiarities of Judicial Discourse (Based on the of television program *Hour of Law*)

The aim of the article is to present a few aspects of judicial discourse and create theoretical basis for further research. The analysis is based on the text of television program "Час суда" (Hour of Law). The central question of research is how the position of power is presented in judicial discourse. That is the reason why the author examines the usage of judges. The research goes through different stages. In the first part of the article the author outlines the theoretical aspects of discourse analysis and how the development of linguistics in the 20th century leads to building up cognitive linguistics. The definition of discourse is the next question in the article. The author suggests using the term "judicial discourse" in the broad (language of the law) and in the narrow (language usage in court) sense. In the process of description the judicial discourse term "scenario" plays an important role. "Scenario" is related to pragmatic situations in court. The author describes judicial discourse as discourse between professionals: judge, lawyer and prosecutor. Discourse in the program differs from previous because the victim and the delinquent represents themselves. That is the reason why the discourse in the television program is called quasi-judicial discourse. The next step in research is the examination of judges' language as to how power position influences their speech. The usage of judges can be described in the following terms: questions, paraphrasis, repetition, comments and evaluation of behavior in court. These forms are examined by means of conversation analyses. Sentences, containing performatives, are capable of being represented through those formal qualities.

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

ПОЕТИЧНЕ СЛОВО МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Леся ГЛИВІНСЬКА

Микола Вінграновський був людиною широкого мистецького обдарування – поетом, прозаїком, сценаристом, режисером-постановником, кіноактором. Ставлення ж до поезії мав особливе: саме в поезії М. Вінграновський вбачав першооснову, духовні витоки своєї творчості.

Наукове вивчення словесно-художньої практики письменників має давню традицію і, як засвідчує нинішній стан активізації досліджень у цій сфері, залишається на часі. Художня мова визнається найпитомішою сферою індивідуального стилю, його найпотужнішим чинником (ТКАЧЕНКО 1998: 13, 2). Письменницька творчість пов'язана з постійним пошуком слова: у мові митець має віднайти засоби для репрезентації свого авторського "я". За твердженням акад. В. Виноградова, "основою стилю, його душею є мова... Немає мови – немає письменника" (ВИНОГРАДОВ 1959: 111).

Показово, що й сам Микола Вінграновський вважав творчий підхід до мови визначальним для художника слова. І таке бачення митця яскраво втілено в його поезії:

У синьому морі я висіяв сни,
У синьому морі на синьому глеї
Я висіяв сни із твоєї весни,
У синьому морі з весни із твоєї.

Українська література з другої половини XX століття й до сьогодні переживає час однієї з найінтенсивніших взаємодій традиційних і новаторських стильових тенденцій. З огляду на це не втрачає актуальності питання функціонування мови як першооснови стилю в текстах української художньої словесності означеного періоду.

Поетична творчість М. Вінграновського – учасника цього літературного процесу – здебільшого вивчалася в літературознавчому аспекті (у працях В. Базилевського, І. Дзюби, В. Дончика, В. Моренця, Т. Салиги та ін.). В аспекті ж лінгвістичної проблематики поезія М. Вінграновського була об'єктом нечисленних наукових студій. Художнє мовлення митця розглядалося принагідно – у загальному контексті дослідження української поетичної мови XIX – XX століть – у роботах Т. Беценко, Н. Данилюк, С. Єрмоленко, В. Калашника, О. Маленко, Л. Пустовіт, О. Рудь та ін.

З огляду на брак фахових розвідок, присвячених аналізу словесно-художніх засобів у поезіях М. Вінграновського, постає необхідність різноаспектно-

го вивчення мовотворчості цього автора. Запропоноване дослідження спрямовано як на вивчення ключових, повторюваних образно-виражальних засобів, розкриття провідних тенденцій семантичного перетворення художнього слова, так і на виявлення низькочастотної лексики в мовотворчості М. Вінграновського.

Поетична мова починається на рівні звуку, та все ж на рівні слова – у розгалуженій системі актуалізованих естетичних значень – вона найвиразніше виявляє свій образотворчий потенціал. "Одиниці лексичного рівня – це основний засіб і текстотворення, і смислотворення, і смисловираження. Слово з-поміж інших текстових одиниць має найбільшу структурну, конструктивну, смислонакопичувальну та кумулятивну силу… слово – це базовий, центральний, ключовий знак мови, мовлення й тексту…", – пише Ю. Казарін (Бабенко и др. 2000: 325). Поетичне слово як своєрідний засіб / спосіб комунікації є носієм не лише предметно-понятійної інформації, а спрямовано насамперед на експлікацію емоційно-оцінних конотацій, на вербалізацію образно-чуттєвих вражень, уявлень.

Для лінгвостиліста становлять інтерес насамперед ті мовно-поетичні факти, що мають закономірний характер, тобто доцільно "описувати "будову" тексту з боку повторюваності слів" (Перебийніс та ін. 1985: 127, 129). Працюючи над розв'язанням проблеми систематики різнорідного мовного матеріалу, ми звернулися до методики домінантного аналізу, розробленої науковцями Курської лінгвофольклористичної школи на чолі з проф. О. Хроленком (Идиолект 2000). Предмет дослідження становили перші сто повнозначних лексем частотного словника поета. За методикою домінантного аналізу саме в цьому списку наявні слова, що є важливими для мовної картини світу особистості (письменника), ширше – соціальної групи, етносу. Високочастотні лексеми, насамперед повнозначні, є показовим матеріалом у встановленні особливостей стилетвірної манери того чи іншого автора.

Інформацію про домінантні в мовотворчості М. Вінграновського слова було запозичено з електронної бази даних "Параметризація українського поетичного мовлення ІІ половини ХХ століття" (Лінгвістичний портал Mova.info). З метою увиразнення індивідуальних пріоритетів у мовно-художній картині світу М. Вінграновського до аналізу залучалися тексти й інших поетів-шістдесятників – І. Драча, Л. Костенко, Б. Олійника, Д. Павличка, а також дані Генерального частотного словника сучасної української поетичної мови.

Складаючи списки найчастотніших повнозначних лексем, ми враховували слова, що називають предмети, статичні ознаки, дії, ознаки іншої ознаки, кількість, не беручи до уваги власні назви і займенники.

З урахуванням кількісних показників установлено, що в складі високочастотних лексем, дібраних зі словників української поетичної мови, переважають іменники. Зауважено, що питома вага іменників найвища в списку домінант, визначених для художнього мовлення М. Вінграновського (66 %). Друге місце в реєстрах найчастотніших слів посідають одиниці з категоріальним

значенням динамічної ознаки, і тільки Б. Олійник надає перевагу номінатам статичної ознаки (17 % ад'єктивів, 12 % дієслів). У І. Драча і Л. Костенко простежується домінування прислівників (по 13 %), склад яких у списку домінант є менш чисельним, ніж реєстр дієслів (а саме – 29 % і 25 % відповідно), і ширшим, ніж реєстр прикметників (а саме – 6 % і 9 %). У поезії Б. Олійника прислівники так само переважають (16 %), дещо поступаючись перед прикметниками (17 %) і відсуваючи на четверту позицію дієслова (12 %). Частотні списки демонструють приблизно однакове вживання ад'єктивів М. Вінграновським, І. Драчем, Л. Костенко і Д. Павличком; Б. Олійник, як уже зазначалося, урізноманітнює цей клас слів. Числівники практично відсутні з-поміж домінантних лексем: незначна питома вага цих одиниць – у словниках І. Драча (3 %), Б. Олійника (2 %), Л. Костенко (1 %); повна відсутність – у лексиконах М. Вінграновського і Д. Павличка.

Порівняння лексичного складу вибірок виявило спільні слова, що зустрічаються й у художній мові всіх досліджуваних поетів, і в Генеральному частотному словнику поетичної мови. У списку домінантних лексем нараховано 27 таких одиниць: 16 іменників, 5 дієслів, 3 ад'єктиви, 3 прислівники. Числівників у складі спільної лексики не зафіксовано.

Слова з категоріальним значенням предметності, що демонструють тотожність у поетичних лексиконах, об'єднуються в такі тематичні групи:

1) соматизми: серце, рука, око, крило;
2) назви просторових понять: небо, земля, світ;
3) назви часових понять: ніч, день;
4) назви природних реалій: вітер, сонце;
5) назви абстрактних понять: слово, життя;
6) назви фізіологічних станів: сон;
7) назви речовин: сльоза;
8) назви фауни: кінь.

Динамічні ознаки лінгвалізовано в спільних дієсловах *бути, жити, знати, любити, стояти.*

Категоріальне значення статичної ознаки виражено в колористичній лексиці: *білий, золотий, чорний.*

У реєстрі високочастотних слів, дібраних із художніх текстів М. Вінграновського, зафіксовано одиниці, специфічні для його мовотворчості, тобто відсутні з-поміж домінант у словниках інших досліджуваних авторів. Лінгвальні пріоритети саме М. Вінграновського становлять такі одиниці:

– *гай* (індекс 58), *ім'я* (60), *щастя* (62), *хвиля* (70), *зима* (86), *літак* (88), *тривога* (90), *берег* (91), *вечір* (93), *квіти* (97), *крок* (98);

– *цвісти* (45), *думати* (82);

– *малий* (100).

Взагалі аналізовані поетичні лексикони мають значну кількість спільних слів у складі першої сотні одиниць, що не випадково, зважаючи на споріднений хронологічний і жанрово-тематичний характер обстежуваних вибірок. А втім, кількість спільних слів дає лише приблизну оцінку лексико-стиліс-

тичної близькості обстежуваних поетичних словників. Хоча лексичні реєстри подібні за рахунок високочастотних слів, говорити про істотність / неістотність розходжень між авторськими стилями доречно тільки в разі порівняння кожної пари списків спільної лексики як із позиції статистичної однорідності, так і з позиції функціонального навантаження в тексті.

Підґрунтям для з'ясування закономірностей функціонування лексики в художніх текстах різних авторів може стати аналіз семантичної структури слів. Проілюструємо це на матеріалі високочастотних субстантивних одиниць.

Домінантні іменники з лексикону М. Вінграновського репрезентують практично всі тематичні групи, за якими розподіляються високочастотні субстантиви в інтегрованому поетичному словнику.

Предметний, а отже, статичний характер мовно-художньої картини світу українських шістдесятників узагалі й М. Вінграновського зокрема виявляється в активному використанні поетичних топосів – назв місць ліричних подій. Впадає в око переважання номінацій просторових реалій (15 одиниць) у словнику саме М. Вінграновського. Автор урізноманітнює загальножанровий реєстр таких слів одиницями *гай* (індекс 58), *село* (73), *степ* (80), *берег* (91). Три топоси – *земля, небо, світ* – збігаються в обстежуваних поетичних лексиконах. У творчості М. Вінграновського найвищу абсолютну частоту вживання (125) в аналізованій тематичній групі має лексема *небо* (індекс 2). Для порівняння: у словнику Д. Павличка ця одиниця зустрічається із частотою 79 (індекс 4), у І. Драча – 64 (8), в Б. Олійника – 51 (10), у Л. Костенко – 44 (15); в інтегрованому словнику лексема *небо* знаходиться на 9 позиції. Домінування цього концепту в образотворчих системах може свідчити про його національно-культурну (власне українську) конотованість, а також вказує на виразну значущість небесної сфери для мовомислення саме М. Вінграновського. Тяжіння автора до непізнанного, таємничого втілюється в частотному використанні назв небесних реалій (*небо* (індекс 2), *хмара* (18), *зоря* (28), *сонце* (44)) – реалій, об'єктивно віддалених від людини, а тому й загадкових

Лексико-семантична група абстрактних понять у поетичному словнику М. Вінграновського посідає друге місце за ступенем наповнюваності одиницями. На 66 високочастотних іменників припадає 11 абстрактних назв. З-поміж цих номінацій мовно-поетичні картини світу споріднюють лише концепти *слово* і *життя*.

Наявність лексеми *слово* в списку високочастотних одиниць відбиває фундаментальну рису української поезії – її словоцентричний характер.

Переважання лексеми *життя* в поетичних словниках налаштовує на роздуми, з огляду на загальну мінорну тональність української лірики, і дозволяє висунути припущення все-таки про життєстійкість, життєствердження як іманентну складову українського менталітету. Цікаво зауважити, що в Генеральному частотному словнику назва *життя* знаходиться на 21 позиції, *жити* – на 25, *живий* – на 68, а слово *смерть* має індекс 53. Характерно, що список домінант М. Вінграновського і Л. Костенко не містить слова *смерть*

як антитези до *життя*, що вказує, можливо, на поглиблену віталістичну тональність, яка споріднює поезію цих авторів.

В образотворчій системі М. Вінграновського суттєвими є номінати з абстрактним значенням *ім'я* (індекс 60), *щастя* (62), *тривога* (90), відсутні в списках домінантних лексем у словниках інших поетів. Письменник надає перевагу найменуванням реалій екзистенційно-почуттєвої сфери (7 слів), як-от: *любов* (23), *душа* (31), *доля* (59), *біль* (92), над назвами реалій мовленнєво-мислиннєвої сфери (4 слова) – *дума* (53), *пісня* (83) та ін. Єдиний смисловий ряд з абстрактними поняттями можуть становити домінантні іменники, що формально належать до інших тематичних груп. Наприклад, слова *світ* (індекс 3), *серце* (10), *кров* (76) у художньому контексті стають назвами "ідеальної" – почуттєвої – сфери. Якісний аналіз мовотворчості дозволяє виявити такі невідповідності-взаємопроникнення між формальним тезаурусом поета, репрезентованим у частотному словнику, і смисловим навантаженням лексем у конкретному контексті. У такий спосіб домінантний аналіз стимулює до використання інших методик для поглибленого вивчення виявленої ключової одиниці й встановлення її місця в мовно-поетичній (ширше – етнічній) картині світу.

Високу частоту вживання в поезії М. Вінграновського мають назви натурфактів (10 слів): *вітер* (індекс 16), *хмара* (18), *сніг* (24), *зоря* (28), *дощ* (51) тощо. Домінанти *вітер* і *сонце* є спільними для аналізованих поетичних словників. Номінація *хвиля* (індекс 70) фіксується лише в лексиконі М. Вінграновського (у списку високочастотних одиниць).

Однакову кількість слововживань містять тематичні групи з назвами часових вимірів і соматизмами (по 9 одиниць). Характерними для поезії М. Вінграновського темпоральними поняттями є найменування пір року – *літо* (індекс 32), *весна* (43), *зима* (86). До речі, іменник *зима* актуалізується лише в цього автора, так само, як і лексема *вечір* (93). Аналізована семантика реалізується як у словах із видовим означенням часу (*ніч* (5), *день* (27), *вечір* (93)), так і в родових поняттях (*час* (35), *вік* (71), *літа* (87)). Одиниці *ніч* і *день* є високочастотними в усіх словниках.

Соматична лексика також складає значну частину поетичних словників, що є свідченням уваги авторів насамперед до людини. Назви *серце*, *рука*, *око*, *крило* зустрічаються послідовно. Іменник *серце* (індекс 10) з лексикону М. Вінграновського у функціональному плані нерідко фігурує як поетична паралель *душі*. У цілому соматизми в поезії шістдесятників "матеріалізовані" – це *губа*, *долоня*, *нога*, *палець*, *плече* тощо.

Зі складу інших тематичних груп спільними виявилися іменник із речовинним значенням *сльоза*, назва фізіологічного стану *сон*, зоонім *кінь*, а специфічними для художнього мовлення М. Вінграновського стали високочастотні лексеми *літак* (індекс 88), *квіти* (97).

Виразно обмежений реєстр у словнику М. Вінграновського демонструє тематична група лексем на позначення людей: у складі високочастотних слів зафіксовано лише одиницю *народ*.

Цікаво, що поетеса Л. Костенко актуалізує у своєму лексиконі слово *жінка*, чим відбиває загальну мовно-художню традицію друг. пол. XX ст. (у Частотному словнику сучасної української поетичної мови лексема *жінка* знаходиться під індексом 67). Концепт *поет* часто згадується в ліриці Л. Костенко і Б. Олійника. До речі, в Б. Олійника лексико-семантична група назв людей є найчисельнішою (13 одиниць) у складі перших 100 високочастотних повнозначних слів.

Таким чином, предметно-понятійний світ у змодельованій М. Вінграновським естетичній дійсності репрезентують субстантивні одиниці різних лексико-семантичних груп, а саме: назви просторових понять, лексеми з абстрактним значенням, номінати природних явищ, одиниць часу, соматизми, назви споруд, речовин, фізіологічних станів, людей, номінації об'єктів флори і фауни. Аналіз контекстуальної сполучуваності високочастотних у поетичному тезаурусі М. Вінграновського іменників, зіставлення конкордансів із загальномовним узусом засвідчили, що в художніх текстах митця домінантні субстантивні слова здебільшого зазнають метафоричного переосмислення через антропоморфізацію – перенесення властивостей, ознак предметів, явищ, аспектів буття за принципом уподібнення істотам, насамперед людині. 68,3 % тропеїчних контекстів М. Вінграновського становлять антропоморфні метафори (Алексієнко–Дарчук 2003). Наскрізний антропоморфізм характеризує мовний стиль поета. За принципом "оживлення" неживого побудовано цілі художні твори М. Вінграновського. Встановлено, що найчастіше поетичний контекст формують багатокомпонентні метафоричні конструкції. У складі таких тропів метафоризовані слова мають розгалужену систему компонентів-метафоризаторів. Наприклад: "*І* ***небо йшло задумливо*** *над світом*, / *І довгі* ***зорі сіяло крізь віти***, / ***Втираючи хмариною чоло***"; "*І, тихий* ***туман пригорнувши до себе***, / ***Вечеряє поле піснями*** *з долин*, / *Над селами й полем* ***вечеряє небо***, / ***Вмокаючи в ріки хлібини хмарин***"; "*Білий* ***ранок рушник носить***, / ***Витирає очі.*** / ***Витирає і не каже,*** / ***Що сказати має.*** / ***Де присяде, де приляже***, / ***Очі витирає***".

Зримий, персоніфікований світ постає з поезій Миколи Вінграновського. Система понять, на які поширюється переосмислення, є досить розгалуженою. Зауважено, що в художньому мовленні за принципом антропометафоризації переосмислюються назви просторових понять (***гай***, ***земля***, ***ліс***, ***поле***, ***сад***), часових вимірів (***день***, ***ранок***, ***вечір***, ***серпень***, ***осінь***), реалій предметно-матеріального світу (***глечики***, ***камінь***, ***млини***, ***піч***, ***хата***), номінації об'єктів флори (***груша***, ***квітка***, ***сонях***, ***трава***, ***яблуня***), фауни (***вовк***, ***заєць***, ***лелека***, ***метелик, півень***), природних явищ (***вітер***, ***грім***, ***сніг***, ***туман***, ***хвиля***), ірреальних істот (***Відьма***, ***Русалки***, ***Утоплена***), абстрактних понять (***життя***, ***краса***, ***любов***, ***мрія***, ***пам'ять***). Наприклад: "*Та* ***згорблена стежка*** *в глухій кропиві* / ***Показує небо по зорях***"; "***Серпень ліг під кущем*** *смородини*, / ***Шепотів***: ***дозрівай***, ***будь ласка…***"; "*Ми підійшли до скирти, і* ***впізнала*** / ***Мене відразу скирта молода***, / *І вже* ***на груди кинулася скирта…***"; "***Переманює-перейма*** / ***Хвиля хвилю*** *попід горою*"; "***Бог прикотив небеса…***"; "***Мовчить***

печаль, і сум мовчить у сумі". Через світ людини як фізичної й духовної субстанції репрезентується весь навколишній світ і система філософсько-абстрактних категорій. Найхарактернішою рисою поетичної метафори М. Вінграновського є постійна співвіднесеність ключового (метафоризованого) компонента з логіко-понятійним класом "природні явища" – послідовно витримується паралелізм світу природи й життя людини: ***водо молоденька, громе молодий; обнімало море хвилю кару; додому ніч собі на небо йшла; під*** *самим* ***садом обрій ліг на*** *сіру* ***павутину***; *над гаєм* ***хмара руку простягає і гається, і гається*** *над гаєм*.

Отже, лінгвостилістичний аналіз поетичних текстів М. Вінграновського засвідчив, що в художній мові письменника антропоморфізовані слова демонструють стилетвірну потужність. Антропоморфна метафора стає засобом маніфестації світобачення автора – людини, яка цінує й любить життя в усіх його проявах. Вдаючись до послідовної персоніфікації, поєднуючи конкретні й абстрактні назви, поет прагне усунути опозицію реального й уявного, матеріального та ідеального, утвердити всюдисущість життя.

У реєстрі атрибутивних одиниць з поетичного словника М. Вінграновського найбільш репрезентативною за складом і частотою вживання виявилася група кольоропозначень.

Предмет нашої уваги становили кольоративи, вжиті й у прямому, і в переносному значеннях. Конкретна спектральна чи асоціативна колірна ознака актуалізується у смисловому комплексі як простих, так і складних різночастиномовних слів – прикметників (***багряно-сизий, карий, синьо-білий***), іменників (***білоквіт, голубінь, сивина***), дієслів (***збіліла, сіріло, прочорнів***), прислівників (***малиновоголово, синьосливо, терново***). Власне номінативну семантику кольорономінації реалізують у сполученні з назвами конкретних, спостережуваних реалій, а саме: природних явищ (***в білій*** *хмарі*, *в зорях* ***золотих***, ***прижовклено збіліла*** *далина*, ***сіріло*** *джерело*, *у* ***попелястій*** *млі*); просторових понять (*в далеч* ***рожевих*** *степів*, ***жовтіє*** *дорога*, *на* ***сизих*** *пагорбах*); об'єктів рослинного й тваринного світу (*мак* ***червоний***, *слива зацвіла так* ***синьосливо***, *спориш* ***сіріє***, ***червоногруді*** *теплі снігурі*); зовнішності людини (***карі*** *коси, Михайла погляд* ***голубий***, ***чорний*** *локон*); предметів побуту, одягу (***в червонім*** *намистинні*, *за* ***посірілим*** *тином*, *у* ***синіх*** *відрах*, *в* ***білій*** *сорочині*, ***червона*** *кофта*); темпоральних понять (***білий*** *ранок*, *вечір* ***прочорнів***, ***чорніє*** *ніч*).

Стилістична функція кольоративів, що контамінуються з одиницями вказаних лексико-семантичних груп, зводиться до описової, пейзажно-зображальної.

Характеристичною рисою художньої мови є спосіб приписування колірної ознаки певній реалії через інші поняття, пов'язані з ключовим словом, тобто опосередковано. Пор.: *гаї* ***в зелених льолях літ***; ***голубі пожежі голубих*** *небес*; ***зеленим голосом*** *сади зовуть зозулю*; ***срібні кроки*** *осокору*; *хмара* ***в червоній хустині***.

У сполученні з назвами абстрактних понять кольоративи нейтралізують своє спектральне значення, і їх уживання підпорядковується емоційно-виражальній меті. Наприклад: *в стражданні* ***золотім***; ***голубою*** *журбою*; ***золотаве*** *слово України*; *нелюбові* ***чорна даль***; *передчуттями* ***сизими***.

Показово, що поет використовує амбівалентну природу кольору: той самий кольоратив паралельно функціонує в позитивно-оцінному й негативному конотативному значеннях. Наприклад, в інтимній і пейзажній ліриці М. Вінграновського назви з групи ***червоних*** кольорів є носіями позитивної оцінної семантики (“***Червоною*** *задумливою* ***лінією*** *… Окреслилась ти на вечірнім тлі / Отих небес…*”; “*На крило небокраю сіла* ***хмара*** */* ***в червоній хустині***”). Натомість у поезіях громадянського звучання аналізовані лексеми виявляють свою амбівалентну природу, активізуючи негативно-оцінні конотації. ***Червоний*** колір – колір крові, кровопролиття, спричиненого війнами, катастрофами, – втілює зло, є знаком руйнівного вогню, символізує страждання, смерть (*“І на мерцях ромашки у рові / Гойдаються* ***червоними тільцями***…”).

Образотворчій меті підпорядковується вживання кольороназв як складових елементів семантико-асоціативних опозицій: *білий – чорний, червоний – чорний, червоний – жовтий, жовтий – сірий*. Наприклад: *“Цієї ночі сніг упав / –* ***На чорне*** *впало* ***біле***”, *“І тане мак,* ***в червонім чорне*** *тоне...”*, *“Тринадцять руж – тринадцять кружелянь: /* ***Червоне жовтим***, ***жовте сірим*** *душиться”*.

Мовотворчості поета властива синестезія вражень: зорових і звукових (*голубим сміється птах, на синій звук любові і свободи, дві білих пісні рук*); одоративних і зорових (*сорочка пахне голуба* (про літак), *вітер пах зеленим дивом*); зорових і тактильних (*біле холодило*); зорових, смакових, тактильних (*затисла груша в жовтих кулачках смачного сонця лагідні жовточки*).

За даними емпіричних спостережень над фактичним матеріалом виявлено ще одну репрезентативну в поетичному мовленні М. Вінграновського групу лексики – це слова з меліоративною конотацією. Лінгвістичний термін “меліоризація” (від лат. melior - кращий) трактують як “процес набування словом позитивного значення” (Мацько та ін. 2003: 443). Експліцитним засобом вираження конотації меліоративності є суфікси. Предметом нашого аналізу стали одиниці, творені за допомогою суфіксів (**-ик-**, **-ок-**, **-очк-/-ечк-**, **-иц'-**, **-он'к-/-ен'к-** та ін.) з узагальненим словотвірним значенням “позитивна оцінка”. Суфіксальні форманти в аналізованих словах виражають низку конкретних деривaційних значень, а саме: 1) значення реальної зменшеності (демінутивності), яке часто супроводжується експресією пестливості (гіпокористичності) – конотативним компонентом, що надає мовній одиниці позитивно-оцінного (меліоративного) забарвлення (***відерце***, ***зернятко***, ***ніженька***, ***стовпчик***, ***човник***); 2) тільки позитивно-оцінне значення, якщо реалія, названа твірним словом, не асоціюється з відповідним розміром (***словечко***, ***пісочок***, ***щастячко***); 3) значення пестливості, що доповнює деривaційне значення неповного або інтенсивного вияву ознаки (***біленька***, ***тоненька***, ***однесень-***

кий); 4) пестливість, що в назвах малят нашаровується на словотвірне значення недорослості (***гуселя***, ***козенятко***, ***хлопченятко***).

Помічено, що в поезіях М. Вінграновського до ряду оцінних одноструктурних дериватів потрапляє оказіональне слово, породжене в певному контексті інерцією словотвірної моделі. Так, урізноманітнюють слововживання гіпокористичні новотвори, продуковані за аналогією до іменників середнього роду зі словотвірним значенням недорослості-пестливості: "*У ластівки – ластівенятко. / В шовковиці – **шовковенятко**. / В гаю у стежки – **стеженятко**. / У хмари в небі – **хмаренятко**. / В зорі над садом – **зоренятко**...*", "*Цвіте при хмарі **хмареня**, / І зірка недалечко... / І чуло сонне каченя: / Цвіте його крилечко*".

Тексти М. Вінграновського надзвичайно насичені лексемами з меліоративною конотацією, що увиразнюють загальну мовленнєву експресію поетичної мови у позитивно-оцінному ключі.

Зі складу низькочастотної лексики поетичного словника М. Вінграновського нас цікавили оказіоналізми як одиниці, що найвиразніше репрезентують індивідуально-авторські уподобання щодо можливостей формо- й словотворення в українській мові. Вважається, що саме низькочастотні слова демонструють "багатство" лексикону автора (Перебийніс та ін. 1985: 139). За результатами систематизації фактичного матеріалу можна констатувати, що більшість індивідуально-авторських слів з'являються внаслідок дії аналогії. Словотворення оказіоналізмів у поезіях М. Вінграновського об'єднує афіксацію (***бринінь***, ***піднеб'я***, ***сумовливі***, ***горевіз***, ***духоозброєння***, ***срібноокі***) і словоскладання (***даль-хитавиця***, ***журба-зажура***, ***місто-любов***).

Фольклорно закорінене мовностилістичне новаторство М. Вінграновського демонструють оказіоналізми-демінутиви. Ефект оказіональності створюється в результаті порушення правил структурно-семантичного поєднання морфем у слові. У художньому мовленні нестандартність словотвірних інновацій, виявляючись у формально-змістовій невідповідності між мотивуючим і мотивованим словами, є стилістично маркованою. Яскраве емоційно-оцінне забарвлення мають лексеми, що нормативно не підлягають демінутивації, а саме:

1) іменники – назви неістот (предметів, явищ): **шовковенятко**, **стеженятко**, **хмаренятко**, **сніженя**, **тополята**;

2) назви абстрактних понять: **вдаченька**, **мрієчко**, **літатенятонько**;

3) займенники: **йогенька**, **тебенько**;

4) прислівники: **ніколиньки**.

Тяжіння М. Вінграновського до "грандіозності" вислову демонструють архаїзовані неолексеми з препозитивними компонентами **сто-** (**стобор'я**, **стоглобальний** біль, **стодумна** дума), **много-** (**многокрилля**, народи **многозикі**), **бистро-** (**бистроліття**, **бистротекучість**, години **бистролетні**), **глибоко-** (**глибокомудра** земле).

На тлі узуальних спільнокореневих одиниць увиразнюються асоціативно-образні конотації неолексем, а також чітко усвідомлюється механізм проду-

кування інновацій: "*Приспало просо* ***проселя***", "*Ожина стала ще* ***ожіша***, / *Горіх, так той свого* ***горішшя*** / *Вже ж натрусив – земля в дірках*!", "*Довго-довго давнє літо* ***давніло***", "*І стежка в яблуках вже* ***стежкояблуката***", "*І день і ніч, і* ***нощеденно*** *в цвіті* / *Цвіту собі у тім яру в полях*".

Вживання оказіональних слів підпорядковується звуковій організації поетичної фрази, збереженню евфонічності, ритміки вірша: "Дніпро, і сад, і сонна блискавиця, / Та неба **сонь**, та синя **сонь** доріг", "Синє **плиння**, синє **плиння**, / Синя **плинь**. / Своє світле безгоміння, / Своє біле **лілеління** / Не покинь, / Не покинь".

Отже, наукова проблема, порушена в запропонованому дослідженні, – необхідність виявлення й аналізу стилетвірних ознак поетичної мови М. Вінграновського – знайшла своє розв'язання через аспектне вивчення словесно-художнього доробку письменника. На засадах рівневого підходу до аналізу поетичної мови – специфічного системно-структурного утворення – з'ясовано лексичні особливості індивідуальної мовотворчості М. Вінграновського.

Методика домінантного аналізу, використана в роботі, стала важливим підґрунтям для виявлення об'єктивно значущих у художньому мовленні словесних засобів.

На основі кількісно-якісного аналізу поетичного словника М. Вінграновського було визначено релевантні лексичні одиниці, а саме: антропоморфізовані слова, кольороназви, лексеми з меліоративною конотацією, оказіоналізми.

Специфікою стилю М. Вінграновського зауважено тяжіння до ускладненої метафоричної мови, до асоціативної розкутості в процесі мовної естетизації дійсності, що нерідко визначає герметичність авторської метафори. Ускладненість виявляється як на поверхневому рівні – у формо- й словотворенні, у розгалуженій системі синтаксичних зв'язків між метафоризованими компонентами й словами-метафоризаторами, так і в плані змісту, на рівні глибинної структури – у багатовимірності асоціативного потенціалу поетичної мови, множинності прочитання словесно-художніх образів.

Література

Алексієнко–Дарчук 2003: Алексієнко Л. А., Дарчук Н. П. Метафора у параметризованій базі даних сучасної української поетичної мови // Вісник Київського лінгвістичного університету. Філологія. 2003. Т. 6. № 2, 61–67.

Бабенко и др. 2000: Бабенко Л. Г., Васильев И. Е., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста. Екатеринбург.

Виноградов 1959: Виноградов В. В. О языке художественной литературы. Москва.

Идиолект 2000: Идиолект. Курск.

Мацько та ін. 2003: Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. Київ.

Перебийніс та ін. 1985: Перебийніс В. С., Муравицька М. П., Дарчук Н. П. Частотні словники та їх використання. Київ.

Ткаченко 1998: Ткаченко А. О. Індивідуальний стиль: феноменологія / типологія; динаміка / статика (На матеріалі творчості українських поетів 60–90-х років XX ст.). Київ.

Лінгвістичний портал Mova.info – Online: http://www.mova.info

Abstract

The Poetic Word of Mykola Vinhranovsky: the Linguistic-Stylistic Aspect

The article deals with the problem of linguistic reception of the literary text. The author investigates the functional peculiarities of the lexical corpus in the poetry of Mykola Vinhranovsky, an Ukrainian writer who belongs to the so called "generation of sixties". The author emphasizes that at the word level the poetic discourse reveals its image creating potential in the most efficient way; lexical units are the main tools of text formation and meaning conveyance.

In this research, the information from the electronic database "Parameterization of Ukrainian poetic language of the second half of the 20th century" has been used. In order to clarify Vinhranovsky's verbal priorities, his poetry has been analyzed in the broad context of the poetry of I. Drach, L. Kostenko, B. Oliynyk, and D. Pavlychko.

The special features of the M. Vinhranovsky's poetic language are anthropomorphized lexemes, colours denoting lexemes, lexemes with connotation of melioration, and occasionalisms. The author analyzes the content and structural-semantic peculiarities as well as stylistic functions of the relevant lexical units.

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

PRODUCT GLOBALIZATION AND BRAND UNIFICATION (OUTDOOR ADVERTISING AS USED BY INTERNATIONAL CORPORATIONS IN POST-COMMUNIST COUNTRIES)

Ewa URBANIEC

Poland and Hungary are currently experiencing a similar political, economic and intellectual transformation; yet they also represent societies that were historically, linguistically and culturally divided from the Roman-Germanic Europe that has been subject to the processes of globalization for a long time now. After being deprived of direct and diverse links to the world economy for so long and due to the absence of the problems of post-colonialism, they see the modern commercial face of Europe in a different way and thus the activities of international corporations are also perceived differently.

In the following discussion I will introduce the phenomenon of brand development and its effects. I will present the social and linguistic phenomena which determine a brand's success as well as the global elements of brand development and methods of manipulating this in different ways (e.g. as support for social change).

In order to illustrate and provide examples of these phenomena I will make use of outdoor advertising campaigns carried out in Hungary, Poland and Bulgaria. Despite their accession to the EU, and the many years prior (BG) to that of efforts to achieve the successful integration and harmonization required by investors, the countries of the former Eastern Block still carry out global marketing, corporate advertising and image creation of new brands in a different way. Despite clear trends in the media, which obtain the source of their popularity from the 'westernization' of culture (and the profit they can gain from that), advertising and the creation of a linguistic and cultural image of the world that is connected with it are still deeply rooted in the national systems of codes that exist in each country.

1. Woman/advertising

An example of the strong influence of "young people's codes" was the reaction to the first stage in the 'Heyah' campaign in Poland. This mobile telephone company was completely unknown until 2004 when it began to promote its products in a very independent and innovative way. It managed to achieve success both financially and aesthetically and went down in the record books of Polish advertising history.

They managed to reach their target group – young people from medium-sized and big towns – with their visual and textual message in exactly the right way. How-

ever, it was not taken into consideration how much of an effect the different elements used in developing the brand would have on those outside of the target group.

"It started with billboards. At the beginning of 2004 huge boards appeared on the streets with the words "*Nie jedźcie nad morze*!" [Don't go to the seaside!]. The advertising campaign of the mobile network operator Heyah was targeted at young people. The operator was counting on the fact that if this target group were sufficiently young and intelligent they would interpret this slogan in the right way, i.e. the opposite way. Hoteliers and restaurant owners from the coast went mad. Town mayors wrote letters of complaint, bed and breakfast owners declared the campaign a scandal and complained to the Office of Competition and Consumer Protection". (CZARNECKA, 2005: 28)

Thus, because the message of the campaign remained within a different range of linguistic and cultural codes this resulted in the creation of a wave of local organizations independently promoting the national tourist industry that they felt had been damaged by the imperative command on Heyah's black and white billboards. The nameless, abstract "seaside" became the Baltic Sea, and the command was read literally, and not the other way round, as intended, as a slogan addressed to young people living through the rebellious stage in their lives (Photo No. 1) (ŁUKASIK, 2005: 88–90).



Photo No. 1

The phenomenon of misunderstanding information in advertisements, which occurred in the above-mentioned campaign due to the diametric differences between the target group and those outside it, can also be observed on the international arena.

The Orange Group is a world-famous brand which has been successively taking over national mobile telephone operators and now operates in 12 countries, including Slovakia, Romania, Botswana, Cameroon and France. After the success of their image-based campaigns, e.g. in the UK in 2003 and Slovakia in 2002, in their campaign in summer 2005, in preparation for their takeover of the Polish operator Idea GSM, they did not create a clear field of communication with their present and future clients. The slogan which introduced the brand (launched 11 years ago in the UK) "*The future's bright. The future's Orange*" and the slogan created especially for the Polish market: "*More innovation. Wider coverage*", did not fit in with the Polish cultural code (TOKARSKI, 1999). The same is true of the colour scheme and its related connotations (Orange meaning good, positive or warm but shown on a distinctive black background). The "positive" (although not positive according to Polish cultural codes) symbol of this brand is a young smiling woman who we see on their posters as she gazes into space. She is not afraid because, as the slogan says "*the future's bright*", and she looks similar in a second version of this arrangement, as she appears with a man who looks just as

relaxed as her (Photo No. 2). On the Polish advertising market this scene, shown on large format outdoor billboards, is associated with advertisements for cosmetics, insurance firms and clothes. Over the last three years, an excess of beautiful women in advertisements has resulted in the fact that even the faces of well-known models or actresses are only associated with the product for the short period of time in which a given product is introduced to the market, but later they become only a background element of the street scenery.



Photo No. 2

The danger in this process of rebranding Idea into Orange in this way is the very scale of the venture: "The Polish case was supposed to be the exception. Until taking over Idea, Orange had not taken over a brand which already had such a strong position on the market as one of only three main operators – said Rafał Baran, Managing Director of the Testardo Red Cell Advertising Agency" (WRÓBEL 2005: 76).

The rebranding process consists of building new fields of meaning and the creation of a consumer situation based on the "old" product, which is now however being sold in entirely new packaging both literally and from a marketing point of view. This is most often done through billboards, television commercials and banners on the internet in order "to eradicate" the customer's associations with the old brand in such a way that they are not totally lost. The encoding of visual messages and textual sequences e.g. on the websites of mobile telephone operators, is so strong that an inexpert transition, devoid of this "double" phase of information, can cause misinformation.

According to Dominika Maison of Warsaw University, an expert on branding, Orange's lack of image on the Polish market could become the source of various problems. The opinion of enthusiastic designers in advertising agencies is completely different from that of the consumers. Here, the danger could be the very name itself (and not only its unclear and unintriguing visualisation), which could end up sharing the fate of such giants like Geant or Auchan, whose names are still pronounced incorrectly by Poles even after several years on the market (BŁASZCZAK, 2006).

Another example of a campaign which shows the close link between cultural codes and consumer research is the promotion of the new Suzuki Swift.

In European countries (including in Hungary) it was advertised as a fast, lively car for young people, which was symbolised by the football star Ronaldo's smiling appearance in the television commercial. In Poland, after consumer research was conducted it was revealed that women decide on more than 70% of household spending, regardless of whether or not they are bringing in a wage themselves. The marketing department at Suzuki linked these results with access to the television

remote control; the already proverbial attribute of the modern man is now more and more often found in women's hands as it is women who chose the family's viewing schedule.

It is precisely for this reason that the ball that is kicked in the Suzukui Swift advert is caught by a shapely, normally-dressed, young woman. She could be a young mother or an independent woman with her own income.

In 2005 the above-mentioned consumer research also had an effect on a change in the advertising strategy of a Polish paint manufacturer. This was the first time that women, who paint, help with painting or 'only' chose the colour scheme, were directly targeted. The manufacturers used a simple linguistic trick: they increased the connotations of names of colours and created new ones based on classic linguistic tricks such as metaphoric epithets and comparisons.

The Polish language is relatively rich in names for colours (according to the PWN Dictionary there are 176 words) (SZYMCZAK 1998) in comparison with for (according to the Hungarian Dictionary MértSZ 109 words) (BÁRCZI–ORSZAGH 1959–62). Therefore, instead of using lexical words such as 'yellow', the company Śnieżka addressed the female imagination by offering shades such as "cornfields of wheat" or "peach orchard". What is interesting is that most of these new names are based on an idyllic, cognitive model that often only exists in literature. How many customers buying a pot of paint have actually seen for themselves a cornfield full of wheat or an orchard full of peach trees? The poetization of language, which until now had been replaced by iconization, has once again found its place in the modern field of distribution in languages.

2. Unification/advertising

National differences in building advertising messages and the encoding of visual icons are not however able to stop the process of globalization in the advertising market. There are some products and services which are universal. These include for example banking services, electronic devices, and in particular modern, miniaturized electronic equipment. In these cases global production in special economic zones all over the world is supposed to translate into a universal image and world sales which can be easily predicted

That is why the opinion of Andrzej Stasiuk, a writer and sharp observer of the modern world (winner of the most prestigious literary prize in Poland, NIKE, in 2005), could appear shocking:

"Belgrade is an exceptional city. You enter from the north east along a wide, multi-lane bridge across the Danube. Everything seemed to be normal, but not quite. Then V. said: "there's no adverts". Yes, it was true, we were on the edge of a metropolis of two million people, but on both sides of the road the only things to be seen were grey-brown bushes scorched by the sun, with no sign that this was where modern civilization began. No billboards, no world of bathrooms, no king of carpets, no Ikea or any other kind of Praktiker" (STASIUK 2005: 85).

That's how the author saw our modern world while traveling in July 2005. We do not wait for the appearance of the first characteristic constructions for our corner of the world (i.e. Europe), either modern or old. Instead, we are pushed into the world of outdoor advertising as if we consciously expect that this is what the reality that surrounds us consists of. Its long-standing presence in people's consciousness (even among the older generation who remember the grey buildings of communist Europe) means that it has joined the opposing concepts which construct our perception of our environment: FOREIGN/OURS.

"It's a sign that modern civilisation starts here" writes Stasiuk, so there is some kind of space that is 'ours', in which the way it functions does not surprise us and which constitutes an integral element of 'our' linguistic and visual image of the world.

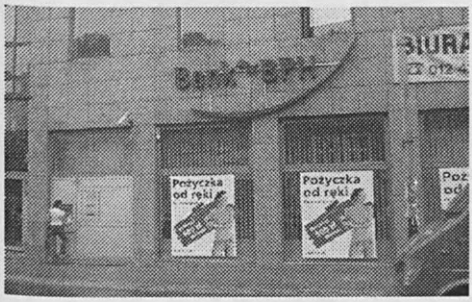


Photo No.3

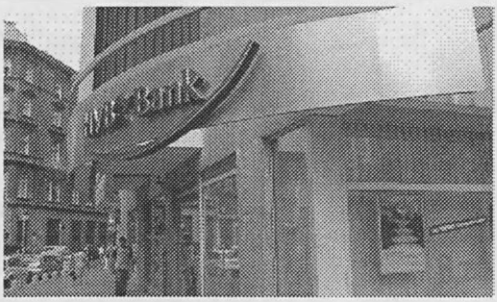


Photo No.4

This intuitive movement across safe areas of space and concepts is used for example by banks. The mergers of many European financial institutions has lead to the fact that there are now only a few 'groups'. One of these is HVB, which is present on the Polish, Hungarian, Romanian, Bulgarian and German markets, as well as many others. In order to make things easier for their traveling clients who need contact with one of their branches (often taken over from state banks) they have a unique visual symbol which is identified with them, and has been applied to all markets regardless of the costs spent on this transformation. In this way the fundamental need of a bank's client is met, as is the need of the average person who is lost in the modern, pulsating world that is filled with ever more codes – SAFETY. On a Hungarian street, a Bulgarian airport or in a German resort the same color welcomes us and creates a positive feeling in us – 'I see something that is familiar to me!' (Photo No. 3, 4, 5).



Photo No.5



Photo No.6



Photo No.7

There is a similar situation with mobile telephone brands. In all European countries it is possible to correctly recognize the style and colors of particular manufacturers: Ericsson, Nokia or Samsung. Regardless of the country and mobile operator, these companies create their brands and just like the signal coverage the handsets themselves are also supposed to be international. The most important element in creating a global brand is a consistent vision of a given product and the ability to be consistent in presenting this image. Like the Polish songwriter Agnieszka Osiecka, who managed to create a slogan which became a worldwide symbol of one particular brand (*Always Coca-Cola*) (JONES 2004), electronic companies strive to identify their flagship products with a specific semantic field. An example of this would be Nokia's international campaigns which through their atypical and creative visualization of products that is fixed on the young client manage to appeal to many different needs. The same design is adapted to extreme sports, modern colors, computer games or starting up your own business – everyone can find something for them in this brand because it is precisely THAT telephone which is '*simply perfect; it adapts to your every need*' (Photo No. 6).

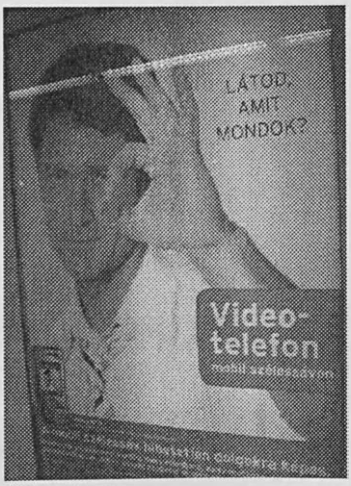


Photo No.8

In Poland (as in Slovakia, Hungary and the Czech Republic) the 1990's was a time of visual campaigns. New brands were entering the market that were often unknown to the average consumer. Through advertising which played on emotions, fields of meaning and needs connected to a given product, it was possible to obtain loyal clients who later on were able to appear in television commercials telling us that "this washing power really is better".

Work on building up an image of products has been going on in our post-communist societies for more than ten years now. That's why Ajax and Ariel (or Westa and Hestia) no longer exist in common usage in a cognitive structure that is

associated with myths – they are washing powders, cleaning fluids and telephones which are now entering the next phase in market existence through 'expansive' advertising. The aim of this kind of advertising is that in order to widen the methods of exploiting a given brand (WANSINK 2004: 86) a producer uses various, quite often surprising ways, of convincing consumers to use or "to need" the product in a new situation.



Photo No. 9

Mobile telephone manufacturers began to use expansive advertising all over Europe. Their products cannot only be used for making phone calls – they also have gadgets, cameras, dictaphones or how about a mirror for touching up your make-up, in which while you're at it you can also check your email?

Hungarian advertisements promoting brands such as Nokia, Samsung or Sony/Ericsson present their products in such a way that it is possible to see the same telephone many times on different competing billboards in campaigns which are going on in the same period of time. (Photo No. 7–9). Making calls has become a secondary function of these modern gadgets; now what is more important is how many you've got (*Buy one get one free from Sony/Ericsson*), high-quality cameras (*Can you see what I'm saying? Nokia*) and high-speed data transfer (*Just imagine – business is gonna be good..., Samsung*). At the same time as national operators, international corporations promote themselves independently. Investments in advertising for mobile phones are so big that a company, as well as consolidating selected models as their flagship ones in their local network, can also show just one specific brand (Photos 10, 6). These outdoor advertisements are applied to the global market; distinctive graphics and a textual message without any local connotations mean that it is possible to distribute them on any market (*Motohit – Motorola; simply perfect; adapts to your every need – Nokia*).

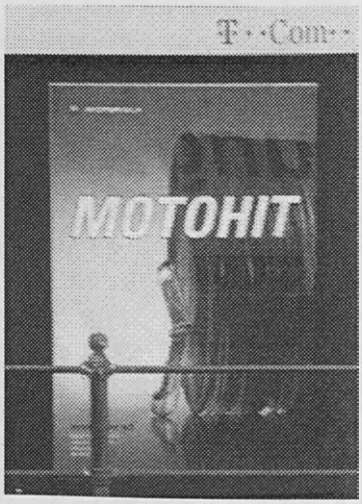


Photo No. 10.

3. Corporation/advertising

Since the early 1990's in Western European societies and in particular in the USA, where large corporations conduct their activities on a very wide scale, a much larger, more dynamically developing opposition to them has been observed. Through the

publication of texts on anti-globalization independent consumer organizations, student movements and independent activists have been fighting with the help of the Internet, lectures, workshops and demonstrations. Their aim is an improvement in conditions for factory workers in Asia, Indonesia and Africa, which similar to those European manufacturers of the beginning of the last century. These workers in developing countries have no idea that each pair of shoes or item of clothing or brand name telephone, which they produce in their hundreds for just a few cents a day, are sold for 100 dollars.

"All over the world children are working in fields infected by pesticides, in unsafe mines, in rubber factories and steel works (...). However, their dramatic situation does not speak to the imagination of world public opinion in such a way because the situation of children who produce swoosh balls or sew clothes for Barbie, due to the pressure they feel is unlabelled, and therefore more difficult to identify and less visible in our crazy brand-obsessed world" (KLEIN 2004: 440).

This is how the battle with the manufacturers has resulted in the war against brands: it is only a well-defined, frequently anthropomorphised enemy and its actions that can become a stimulus to create consumer opposition.

The category of giving a name, or precisely giving a kind of biblical existence to a phenomenon or product has become the key to market success. The cognitive codification of quality, showing us in one go the features of a given product or later, the subsequent building up of the brand is just the same as creating more and more new, identifiable cultural semantic fields.

In order to fight for worker's rights the weapon in the hands of the activists became the Word or Logo. A direct attack on specific brands like Nike, Reebok, Gap or McDonalds which sell first of all "dreams about their products" became manifested in the depreciation of the advertising slogans propagated by these companies. Elaborate visions and pyramids of phraseological connections constructed in several dozen world languages by corporate marketing departments form the basic field for creating consumer opposition. Specific texts and advertising slogans become an alternative field for morphological activities; from the detailed analysis of visionary texts on brands to changing slogans so that their 'reversed' versions become the symbols of solidarity with the anti-corporate movement. The most famous of these is the paraphrase of the English version of the Nike slogan "*just do it*" into "*just don't*", or "*just Boycott it*" (and in other languages e.g. "*Nike, Nein, Ich Kaufe Es Nicht*!", "*Nike Soyez Sport*!").

An organisation like the National Labor Committee (NLC) in New York, which was led between 1994–99 by Charles Kernaghan, would not find much support in most post-communist countries. Its achievements in publicizing serious breaches of labour laws and the exploitation of workers employed by Nike, Reebok, Disney and Gap etc. were more impressive than those achieved by the trade union movement in over 100 years. By using marketing rules and tricks, similar to those used by large corporations, Kernaghan increased media interest in a subject that was "against the official line". By skilfully comparing, for example, the hourly wages of the president of Disney Michael Eisner (approx. 10 thousand USD) with

the time it would take a Haitian guy sewing a pair of pyjamas with a picture of Mickey Mouse to earn that much (16.5 years), he was able to make many more people aware of the problems of violation of the Convention on Human Rights.

The examples described above are just an attempt to outline the problem of the battle with words. Their force in the world of marketing and advertising have exceeded the possibilities of linguistic specialists interested in this subject on more than one occasion.

The influence on the consumer however is not only limited to textual or visual persuasion, more and more often (depending on the financial resources available) stimuli which have an effect on our other senses are now being used:

"Vattenfall (an electrical energy provider) added value to its campaign by heating bus and tram stops in wintertime in Katowice and Warsaw. The Żywiec group (beer manufacturer), in advertisements for its main product, often makes a joke through the slogan "Polakom gratulujemy Żywca" [Thank Poland for Żywiec] and variants of this – which has now entered everyday language and was even used in newspaper headlines. (BOCZEK 2005: 81)

The slogan from the 'Media Markt' campaign in Polish and in Hungarian also took root in a similar way (in Polish: *Nie dla idiotów*! [Not for idiots], and in Hungarian: *Mert hülye azért nem vagyok*!). This corporate campaign could also be called a success. Its standardized, gigantic advertising campaign, combining elements of local linguistic and cultural connotations in specific countries where it operates was retained as a visual code and a phraseological connection in spoken language. (Photo No. 11).



Photo No. 11

The above examples of selected advertisements and campaigns show just how divided the market of the advertising executives and the market of the consumers is. They also prove the strategy of existence of specific products in socio-linguistic reality. Advertising slogans no longer exist as carbon copies; their aim is to reach the linguistic model of their chosen group of consumers who could be both "working women of 18–35 years old from large and medium-sized towns" throughout Europe, or just "Hungarians" or "Poles".

The guarantee of success in searching for roots in a fragmented Europe seems not only to be the linguistic side of the advertisements presented but also the social context, which is often not taken into consideration by large corporations. Connotations and cognitive concepts of complementary words and images force us to reflect wether our world is reproduced in a meaningful way by playing with meaning and convention.

Bibliography

BÁRCZI–ORSZÁGH 1959–62: Bárczi G., Országh L. A magyar nyelv értelmező szótára I–VII, szerk. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Akadémiai Kiadó I. kiadás.
BOCZEK 2005: Boczek, K. Image i sprzedaż // Press, No. 8, 8.09.2005, 79–81.
CZARNECKA 2005: Czarnecka, B. Szklana pogoda // Ozon No. 9, 22.06.2005, 28–29.
JONES 2004: Jones, John Philips, red. Jak działa reklama, GWP, Gdańsk.
KLEIN 2004: Klein, N. No logo, Świat Literacki, Izabelin.
Łukasik 2005: Łukasik M. Kobiety 16-49 // Press No. 9, 15.09.2005, pp. 88–90.
STASIUK 2005: Stasiuk, A. Poetyka i masakra // Ozon No. 12, 13.07.2005, 85.
Szymczak 1998: Szymczak, M. ed. Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa.
Tokarski 1999: Tokarski R. Językowy obraz świata w metaforach potocznych, 1999 // Językowy obraz świata., ed. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 65–81.
WANSINK 2004: Wansink, B. Reklama ukierunkowana na ekspansję // Jones, John Philips, eds. Jak działa reklama. GWP. Gdańsk, 86–92.
WRÓBEL 2005: Wróbel, J. Ideowy pomarańcz // Press No. 9, 15.09.2005, 72–78.
BŁASZCZAK 2006: BŁASZCZAK, A. Supermarkety zarabiają mimo konkurencji. Online: www.spozywka.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1349, 28.03.2006.

Резюме

Глобализация продукта и унификация марки. Внешняя реклама услуг наднациональных корпораций в постсоциалистических странах

Польша и Венгрия, переживающие в настоящее время изменения в политике, экономике и менталитете, представляют собой пример обществ, находящихся в историческом, языковом и культурном отрыве от уже давно подверженной процессам глобализации романско-германской Европы. Лишенные тесных и разнородных связей с мировой экономикой, не испытавшие колонизации, они иначе воспринимают ее нынешний коммерческий облик – а что следует за этим – активность международных корпораций.

В своих размышлениях я приблизила явление возникновения марки продукта и ее воздействия; я показала социальные и языковые явления, предопределяющие успешность марки, а также глобальный аспект и способы его использования (напр., в качестве поддержки социальных преобразований).

Иллюстрационным материалом к данной работе послужили внешние рекламные кампании, которые проводились в Венгрии, Польше и Болгарии. Несмотря на яркую тенденцию в средствах массовой информации, источником популярности которых является «вестернизация» культуры (что приносит свою выгоду), реклама и связанное с ней формирование языкового и культурного облика мира сохраняет сильную связь с отечественными системами кодов.

Представленные примеры реклам и кампаний показывают, насколько разделен как рынок производителей и потребителей, так и сама стратегия существования отдельных продуктов в социально-языковой действительности. Рекламные тексты уже не существуют лишь как кальки; их целью является отражение языковой модели определенных групп потребителей.

Литературоведение

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

СПОСОБЫ НАРРАТИВНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ (*ЗРЕЛИЩЕ, ЗВУК, ЗАПАХ, ВКУС* И *ОСЯЗАЕМОЕ* КАК СИМВОЛЫ ИНТЕНСИВНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ БЫТИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ)

HAJNÁDY Zoltán

Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.
Гете

Все идеальное есть не что иное,
как аромат и цвет реального[1].
Ап. Григорьев

Повседневный человек не может выразить увиденное-услышанное во всех звуковых и цветовых оттенках, несмотря на то, что он стремится к возможно более точному описанию эмоций. Однако поэт должен *эквивалентно* выразить то, что видит, слышит и чувствует. Необходимо обладать двойным зрением и слухом, чтобы заметить за миром явлений мир сущностей, потому что в поэзии мы подразумеваем наиболее глубокое выражение бытия. Мистерия просветления и превращения в поэта вскрывается Пушкиным в стихотворении *Пророк*. У него Бог отправляет посланца – шестикрылого серафима – для того, чтобы пробудить к жизни омертвевшие для видения и слышания физического и метафизического мира органы чувств избранника. Он открывает ему уши и глаза, чтобы тот услышал и увидел то, что не слышит и не видит обыкновенный человек. Поэт-пророк не только лучше различает цвета и звуки спектра и звуковой шкалы нежели чем человек обычный, но способен проникнуть и в такие запредельные области, которые недоступны простому человеку без посторонней помощи. Только вследствие сверхъестественного видения просветленному разуму мир становится полностью доступным и проницаемым: ‘не сквозь тусклое стекло гадательно, а лицом к лицу’. Углубленные зрение и слух далеко превосходят границы повседневного опыта относительно более утонченного восприятия запахов, осязания и обоняния.

[1] Афоризм Аполлона Григорьева стал крылатым словом сенсуалистов: *nihil est in intellectu, qud non prius fuerit in sensu* (нет ничего в интеллекте, чего раньше не было бы в ощущениях). Этот афоризм, приписываемый еще и к Аристотелю, является первоосновой философии сенсуализма. Его смысл в том, что происхождение душевных порывов имеет исключительно физиологическую изнанку. Это стало ответом наследникам Декарта, превозносящим способность мышления. Ведь понятийное мышление основывается только на языке, а не отражает истинные отношения мира. А если и отражает, то логические и грамматические правила (ГРИГОРЬЕВ 1967: 125).

В ходе проникающего до самых глубин ощущения и восприятия мир архетипов становится видимым, слышимым, осязаемым.

Набоков писал: «До Пушкина и Гоголя русская литература была подслеповатой. Она ощущала только контуры форм, подсказанных разумом: цвета же сами по себе не различала и жила лишь избитыми и заезженными существительными и истертыми определениями, которые наследовала Европа у античного мира. Небо было голубым, рассвет – красным, листва деревьев – зеленой, очи красавицы – черными, облака – серыми и т. д. Гоголь был первым (а за ним Лермонтов и Толстой), кто первым открыл желтое и лиловое. То, что небо при восходе солнца может быть бледно-зеленым, а снег в безоблачный день – темно-голубым, звучало еретическим вздором для так называемых писателей-'классиков', привыкших к конвенциональной цветовой шкале французской литературной школы XVIII века» (1973: 86). Толстой вступил в литературу тогда, когда Пушкин, Лермонтов и Гоголь уже выиграли битву с романтическими шаблонами. Он подключился только к арьергардным боям, но и для него было неприемлемым сравнивание поэтами-романтиками описываемого ими красивого предмета с какой-то дорогой вещью: «Хотя наклонность сравнения вообще и в особенности с драгоценными вещами преобладает, как мне кажется, у французов, эта наклонность существует и у нас, и у немцев, но меньше всего у англичан. Бирюзовые и бриллиантовые глаза, золотые и серебряные волосы, коралловые губы, золотое солнце, серебряная луна, яхонтовое море, бирюзовое небо и т. д. встречаются часто. Скажите по правде, бывает ли что-нибудь подобное? [...] – обращается Толстой вопросом к читателю в одном месте романа *Детство*. – Я никогда не видал губ кораллового цвета, но видал кирпичного; глаз – бирюзового, но видал цвета распущенной синьки и писчей бумаги» (1955: 8). Убогое использование цветовых оттенков поражает еще и потому, что их количество оценивается в несколько тысяч, среди которых несколько сотен названо и в русском языке. Ни один из наших органов чувств не имеет такого широкого кодирования в языке как различение цветов. (Большая часть наших символических переживаний выражается с помощью визуальных понятий.) То, что Толстой и Набоков говорят о стереотипности в использовании цветов и оттенков, еще большее значение имеет относительно восприятия другими органами чувств. Потребовалось длительное время для того, чтобы литература привлекла в сферу эстетики чувствительность, выходящую за грани визуально-аудитивной сферы. *Обоняние*, *вкусовые ощущения* и *осязание* вытеснялись так долго из области искусства потому, что вызываемые ими телесные ощущения наслаждения или отвращения считались физическими ощущениями здоровья или недомогания, которые ассоциируются с вегетативной (животной) формой бытия. Тот взгляд, по которому эстетическое восприятие действительности возможно путем исключительно органов *зрения* и *слуха*, а роль остальных органов сводится к ощущению приятного или неприятного, а не эстетического, берет начало еще от Платона.

Большинство европейских романистов XIX века по возможности избегало всяческого выражения телесности. Скудность непосредственных переживаний они стремились восполнить самоанализом (саморефлексией). Обнажение своих чувств считалось таким же неприличным, как и обнажение тела. Поэтому в романах большей частью отсутствовали непосредственность, спонтанность чувственного мира[2]. Например, герои романов Джейн Остин владеют своими чувствами, постоянно контролируют самих себя, их действия и поступки рассчитаны. Они не прикасаются друг к другу, даже влюбленные. В лучшем случае допускается рукопожатие. Более интимные и решительные телодвижения им не приходят в голову. Генри Джеймс даже утверждает, что английский писатель конца XIX века не посмел бы взяться за описание запахов, потому что запах в романе '*shocking*' (шокирует). Английских читателей поражало, что русские оказались более готовыми и способными к естественным человеческим контактам, нежели гораздо замкнутые представители западной цивилизации. Герои русских романов никогда не остаются без чувствительных волнений, всегда полностью отдаются сиюминутным чувствам (или какой-нибудь идее), которые пронизывают все их существо. Для них ощущать – означает предаваться своим чувствам и страстям. Они живут полной жизнью, и, руководимые своими чувствами, порою позволяют увлечь себя кажущимися 'непристойными' действиями, как, например *liaison* Наташи с Анатолем Курагиным. А героиня Пушкина за полвека до этого провоцировала тогдашних читателей тем, что, охваченная страстью, изменила конвенциональной 'женской роли' и первой пишет любовное письмо Онегину. Будучи сильной характером, она не боится скомпрометировать себя в самоотверженности по отношению к другому человеку или потерять голову. Анна Каренина Толстого во многих отношениях продолжает пушкинские традиции: интимная сфера семьи у нее расширяется до общественной проблемы. Его героиня тоже ослеплена любовной страстью, но одновременно обретает и чрезвычайную зоркость в осуждении своего брака. Толстой мастерски изображает, как после громоподобной встречи со Вронским в Анне вспыхнула всепоглощающим огнем запоздалая любовь. Когда дома она приходит в себя, то не может уснуть, прислушиваясь к свистящему дыханию своего мужа. «Поздно, поздно, уж поздно, – прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела» (8: 165). Начиная с этого момента, ее органы чувств, притупленные за восемь лет брачной жизни, функционируют с повышенной интенсивностью, не сталкиваясь ни с какими препятствиями. Чувства Анны моти-

[2] Исключением является французская литература, в которой передача ощущений и чувств имеет давнюю традицию, начиная от эссе о запахах Монтеня (*Des senteurs*), до импульсивных героев Мопассана и Золя, у которых практически безупречно функционируют инстинкты, и романа *Á rebours* [Наизнанку] (1885) Йориса-Карла Юисманса, в котором автор (под влиянием Бодлера) пытается построить новое искусство на основе запахов. Литургию ароматов и грамматику цвета разработали французские символисты, считавшиеся декадентами. Они достигли нового эстетического воздействия причудливой аналогией между вкусами, звуками и запахами.

вируют и активизируют ее поведение, кажущееся (для окружающих) непредсказуемым, как впрочем, и поведение Вронского, 'телесность' и 'чувственность' которого Толстой всячески подчеркивает: 'крепкие сплошные зубы', 'красная здоровая шея', 'дрожащая челюсть', 'запах брильянтина от его усов' и т. д. Венгерский писатель метко отмечает: «'Русскость' в этом романе таинственно осязаема: инстинктивная, почти звериная способность, с какой герои романа в ходе банальных поступков или непринужденного щебетанья принюхиваются друг к другу, ощущают друг в друге невысказываемое, настоящую тайну, скрывающуюся за Сказкой и Действием – то, что думает один или другой, что чувствует, а тем временем на страницах романа 'что-то происходит'. Западный человек уже не способен к такому нюху охотничьей собаки, к чувствительности летучей мыши, превышающей любой радар, как то демонстрируют герои русского романа, обнюхивая и ощупывая друг друга» (MÁRAI 1992: 251–252).

Богатство выражения чувств героев русских романов, их интенсивность и органичная встроенность в характеры отчасти происходит от того, что в динамически изменяющемся, переходном обществе, когда упрочившиеся в ходе столетий жизненные формы дают трещину, раздражимость выше, чем в статических и сбалансированных обществах, в которых иссякло половодье чувств. Другая причина чрезмерного накала чувств героев романа заключается в том, что русский человек не привык отделять культуру от жизни, а воспринимать ее как часть жизни, как существующее вместе. Общинная форма жизни в России оказалось более сплоченным единством, нежели городская. Русское мышление сосредоточено на жизни, не отдалено еще от ее источников. Русские еще обладают полнотою бытия, тогда как у европейских народов в этом уже проявляется недостаток. Они ближе, чем европейские народы, соприкасались с природой, с 'живой жизнью'. Они еще хранили жизненные соки, владели тайнами животного и растительного миров, *сидерическими* тайнами. Запад же, напротив, сосредоточивается на культуре. Жизнь там достигает последней стадии 'потери бытия'. Круг тем искусства сузился до изображения жизни больших городов, до ощущения жизни городским человеком, до круга современного мира. Эмоции стали лишними как слепая кишка. Конечно и здесь у людей были и есть чувства, только сущность их остается скрытой или выражается по-иному. Невозможно представить общество (за исключением утопического), в котором отсутствовало бы выражение чувств, а тем самым и чувства вообще. К нашей универсальности относится то, чтобы все пять органов чувств функционировали безукоризненно, чтобы наши ощущения были богатыми и дифференцированными, а также чтобы они находились в гармонии с нашим мышлением и разумом. Идейное содержание романа Джейн Остин *Разум и чувствительность* (*Sens and Sensibility* 1811) то же самое, что и у рассказа Карамзина *Чувствительный и холодный. Два характера* (1803), в котором противопоставление холодной интеллектуальности и горячего чувства представлено характерами двух мужчин в отличие от английского романа, в котором мышление воплощается мужчиной, а чувство

женщиной. Окончательный вывод тот же самый: не добьется счастья ни тот, кто послушен сердцу, ни тот, кто следует трезвому разуму. Противопоставление мышления и чувства ошибочно не только с точки зрения философии, но и с точки зрения поэтики. Человек не только размышляющее, но и чувствующее существо. Чувственные страсти не являются языческими ощущениями (разве что религия считает их таковыми), но и разум не всегда освящен.

Эмоции являются архаическим, первобытным языком, связывающим нас с прошлым. Эмоциональная насыщенность (*Gefühlswert*) является вовсе не периферическим явлением языка (см. PÉTER 1991: 52). Искусство есть выражение чувств, а *переживание* является одной из важнейших форм познания жизни. В переживаниях проявляется содержание *аутентичной* жизни человека непосредственно в данной действительности. Никакая *когнитивная* способность не может восполнить человеку любовь, если он ее никогда не испытывал, пыл борьбы, если он не был на войне, радость творчества, если он не посадил дерева, не построил дом, не вырастил ребенка. Рациональное знание по своей природе косвенно, наши же чувства неопровержимы, потому что исходят непосредственно изнутри нас. У нас нет ошибочных ощущений (за исключением бреда и галлюцинаций больного человека), а вот наши идеи и мысли можно поставить под сомнение или опровергнуть. Исходя из этого русские писатели стремятся ввести читателей не только вовнутрь душевных переживаний (*Bildungserlebnis*) – что из себя представляет религиозное просветление, ощущуние влюбленности, титаническое потрясение переживания смерти, – но и в такие первобытные переживания (*Urerlebnis*), которые мы чувствуем, ощущая запах, вкус или осязая что-либо. Жизненно важная модель русского мировоззрения – видимый, слышимый и осязаемый мир. Возьмем к примеру Левина, который дышит вместе с природой, читает мысли своей собаки Ласки и – наоборот. Когда Кити отказывает ему, Левин возвращается в деревню, в свое имение. И первой, с кем он встретился там (подобно Одиссею), была его верная собака. «Старая Ласка, еще не совсем переварившая радость его приезда и бегавшая, чтобы полаять на дворе, вернулась, махая хвостом и внося с собой запах воздуха, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтоб он поласкал. – Только не говорит, – сказала Агафья Михайловна. – А пес... Ведь понимает же, что хозяин приехал и ему скучно» (8/110). Немного позднее, когда он охотится со своим шурином – Облонским – на бекасов: «'Каково! Слышно и видно, как трава растет!' – сказал себе Левин, заметив двинувшийся грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иглы молодой травы. Он стоял, слушал и глядел вниз, то на мокрую мшистую землю, то на прислушивающуюся Ласку...» (8/181182). Это *гилозоистическое* мировоззрение русской культуры восходит к неоплатоническим корням. *Hyle* в переводе с греческого – материя; *zoe* – жизнь. Платон, у которого русские переняли более всего среди античных мудрецов, знал лучше кого-либо, что философия – жизненная мудрость, и что начало философии – начало удивления миром (*taumadzein*). Вместо слова *философия* русские более охотно употребляют слова *мировоззрение*, *миросо-*

зерцание, *мировосприятие*, *мироощущение*, *мирочувствие*, более того, *умозрение*. Каждое из них этимологически связано с приобретенным опытом посредством восприятия окружающего мира органами чувств. Человек погружен в мир, но и мир погружен в человека. Пять органов чувств – зрение, слух, осязание, обоняние и ощущение вкуса – представляют собой 'ворота', через которые мир проникает в человека. Чувственный опыт приобретается человеком с помощью глаз, ушей, осязания, обоняния и вкуса. (Слово эстетика (*aisthetikos*) означает по-гречески 'чувствующий', 'чувственный'.) Нечувственный опыт – опыт души. Накапливается он посредством наблюдения над самим собой и другими. Внутренний опыт приводит в соприкосновение духовно-божественный мир с материально-земным бытием. Однако для полноценных эстетических ценностей недостаточно совершенного функционирования 'внешних' органов чувств, необходимы еще 'внутренние' слух и видение. В этом скрывается объяснение того, что и слепой может быть скульптором, а оглохший композитор может сочинять музыку. Внутренний опыт приводит в соприкосновение божественно-духовный мир с материально-земным бытием, и таким образом осуществляется *корреспонденция* чувствительного и духовного миров. *Когнитивное* мышление преобразует ощущения в *logos*, а затем, согласно правилам синтаксиса, в речь, насыщенную чувств. «Язык является одним из великих резонаторов, частью усиливающих, частью же сдавливающих основные тоны души» (БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ 1963: 245).

Наряду со зрением и слухом главным средством приобретения информации об окружающем является *обоняние*, *осязание* и *вкусовые ощущения*. Первые три служат для получения информации о вещах, удаленных от нас, последние – осязание и вкус – только при непосредственном прикосновении к телу. Русские писатели стремятся ввести в сферу эстетики ощущения, выходящие за визуально-аудитивные рамки (обоняние, вкусовые ощущения и осязание). Примером последнего можно привести портрет Элен Курагиной из *Войны и мира*, имя которой является прототипом женской неверности и ассоциируется с Еленой Прекрасной. Восхищаясь «античной красотой тела» (4: 19), писатель пробуждает в памяти читателя чувственную пластичность греческих скульптур: «как сама графиня, в белом атласном халате, шитым серебром, и в простых волосах (два огромные косы *en diadème* огибали два раза ее прелестную голову) вошла в комнату спокойно и величественно; только на мраморном, несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева» (5: 35). Но на скульптурной фигуре Элен «был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу» (5: 212). Пластичная красота форм – ее характернейшая черта. Однако, динамизм изображения вступает в конфликт с мраморной красотой фигуры, которая *статична*, будучи наружной. Из области пластических искусств Толстой перенимает осязание постоянными эпитетами (*epiteton ornans*) как будто в область эстетики господствующий метод ощущения в скульптуре, хотя скульптурные изваяния воспринимаются не активным их ощупыванием, а оптическим путем, и только потом, опосредованно, наступает ощущение пассивного осязания (*tactilis*). Подобный ху-

дожественный прием по-гречески называется *экфразой* (*ekpharsis*). *Экфраза* стремится показать, что мертвая скульптурная фигура, сработанная художником, выглядит как живая. Приводим другой пример из *Анны Карениной* на взаимоотношения различных видов искусства, когда текст имеет структурные связи с визуальным источником. «Кити улыбнулась и здесь на бале, взглянув на нее в зеркало [на черную бархатку медальона]. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила» (8/89). Здесь мы видим Кити, которая недавно отказала Левину, потому что она поставила перед собой иную цель жизни, нежели ее провинциальный ухажер. Она плещется в радостях большого света, наслаждается *скульптурной* красотой своего тела, что вызывает у читателя иллюзию подобия живого образа и мрамора. Совершенно другой источник имеет радость первого бала Наташи, не имеющей «на себе общего светского отпечатка» (2: 213). «Что-то в ней есть свежее, особенное, не петербургское, отличающее ее» (2: 214). В описании портрета Наташи акцент Толстым ставится, в отличие от искусственности других женщин, на ее естественность. Искренность и правдивость без придуманных эффектов покоряют ее окружение и читателей. Наташа, самая чувствительная среди женщин семьи Ростовых, при первой встрече со ставшим масоном Пьером чувствует в нем что-то необъяснимо дисгармоничное. Свое смущение в чувствах она выражает, согласно ее настроению, в наглядных геометрических фигурах и цвете, *экфрасис*ом: «Безухов – тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный...» (2: 201). Противоречивый характер мужчины выражается *дискрепанцией* цветов: *темно-синий* цвет символизирует его спиритуальность, и рядом с ним и напротив него, *красный* – витальную живучесть. А 'квадратность' Пьера противопоставлена 'округлости' Платона Каратаева. *Экфрасис* – это вербальная передача эмоции при помощи визуально жанра (см. Геллер 2002). Однако с помощью цвета и формы можно выразить не только подспудные догадки и впечатления, но и зловещие предсказывания. В малоизвестном рассказе Толстого *Записки сумасшедшего* (1884–1886) ужас смерти (арзамасская ночь) воплощается в абстрактной форме: 'ужас красный, белый, квадратный' (12: 48). Все это стремится скорее к символизму, где хаос и уничтожение проявляется в образах «красного карлика» и «черного человека». Мережковский неслучайно считал Толстого предтечей символизма. Черный цвет является символом плохого, подлого, уничтожения и самоуничтожения (ср.: *Моцарт и Сальери* Пушкина, *Черного человека* Есенина, *Мастера и Маргариту* Булгакова).

Зрение и осязание – элементы пластического, *аполлонского* искусства; слух, обоняние и ощущение вкуса – *дионисийского*. Однако между разнообразными сферами не проведена демаркационная линия, дополняют и исправляют друг друга. Ощущения, полученные в одной области, могут быть распространены и на другие. Имеет смысл обратить внимание и на *акустику* толстовского текста, ведь у него встречаются такие необычные сочетания, как «прозрачный голос», «улыбка в голосе» и т. п. В звуках может быть такая

же большая разница, как и в красках. Стиль и язык обычно соблюдает свои рамки: избегаются излишние украшения. Но когда описываются ощущения приближения смерти, то мы встречаемся с массой слов, связанных с языком детей и подражающим звукам примитивного человека; и ощущения разных органов чувств перемешиваются. *Звучность* слов приобретает тут особое значение. Умирая, князь Андрей в горячечном сне «услыхал какой-то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: 'И пити-пити-пити' и потом 'и ти-ти' и опять 'и пити-пити-пити' и опять 'и ти-ти'. Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательно держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все-таки завалилось» (6: 398). Повторяющиеся гласные верхнего подъема '*и*' вызывают у читателя чувство боли. Как будто *ощупаем* физическое присутствие приближающейся смерти. Пронзительный крик Ивана Ильича Толстой изображает с такой же выразительной силой, как это делает норвежский художник-экспрессионист Эдвард Мунк на картине *Крик*. Кричит все: широко раскрытый рот, испуганные глаза, подтянутые в ужасе руки. Точно такой же вопиющий крик Ивана Ильича о даром прожитой жизни. «С той минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остался сомнением. – У! У! У! – кричал он на разные интонации. Он начал кричать 'Не хочу!' – и так продолжал кричать на букву 'у'» (12: 106). Описание индивидуальной смерти всегда интенсивнее смерти человека-вообще (ср. *Everyman and the Death*).

Вернемся к анализу интерференции запахов и вкусовых ощущений. Процитируем ту сцену, когда Николай Ростов, вернувшись с фронта, оказался в самом разгаре рождественского торжества. Мы становимся свидетелями маскарадной игры: он переодевается в женскую одежду, а Соня – гусаром. Девушка нарисовала себе усы жженной пробкой. Когда они коснулись друг друга губами, то Николай «поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженной пробкой» (5: 298). Он еще долго «вспоминал этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя» (5: 298). У переодевания и смены масок имеется символическая, *разоблачающая* функция. Ее можно считать *инадекватной* коммуникацией, предсказывающей будущее. Николай не женится на Соне, потому что подсознательно он чувствует *маскулинные феромоны*, исходящие от нее. Мы встречаемся здесь с особым явлением, возникает эмпирия, к тому же – на уровне *порога сознания*, которая в конце концов решает их судьбы, оставаясь неосознанным. В выборе противоположного пола запахи и ароматы имеют решающую роль не только в мире растений и животных (DARWIN 1872), но и в гуманной культуре. Толстой не случайно

называет Соню «цветком без запаха», придавая ее характеристике чувственно окрашенный (*аффективный*) атрибут.

Закодированный 'язык цветка' играет важную роль и в той сцене, когда Левин во второй раз просит руки у Кити. Влюбленные признаются во взаимном влечении начальными буквами, написанными мелком на зеленом сукне карточного стола, доказывая тем самым, что коммуникация не ограничивается только речью. В процессе игры в *secrétaire* они осуществляют диалог без слов – кожей, волосами, глазами. И что самое поразительное, они передают друг другу достаточно длинные предложения. «–Вот – сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: 'когда вы мне ответили: *этого не может быть*, значило ли это, что никогда, или тогда?' Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова» (8: 436). Язык жестов здесь является существенным элементом внутреннего переживания, а не имитацией коммуникации или ее простым средством. Однако *невербальный* язык чувств могут декодировать только находящиеся на одной фреквенции (волне) чувств.

Толстой обладал особым талантом изображения *психофизических* явлений, но у него физические моменты всегда сигнализируют психологические. Для доказательства ассоциативной силы переживания позитивных запахов и вкусовых ощущений из прошлого приведем пример из одного позднего произведения Толстого. Когда Иван Ильич был при смерти, то ностальгически вспоминал запахи и звуки из своего детства, а также те ощущения, которые были связаны с ними. Он чувствует в носу «тот запах кожаного с полосками мячика» и слышит «шуршание шелка складок платья матери» (12: 86, 87). Из прошлого остались только запахи и обрывки звуков, связанные с каким-то вкусовым ощущением или шумом платья, как символ жизни, превратившийся в память. «Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном чернослив, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском чернослив в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки» (12: 102). Из прошлого всплывает событие, кажущееся незначительным в зрелом возрасте, но оно гораздо совершеннее и действительнее, нежели пережитое некогда Иваном Ильичем в детские годы. Однако воспроизведение представления памяти вскрывает новую истину, исходя из того факта, что событие становится для него происходящим в настоящее время. Было бы ошибочным суживать опыт Толстого до какого-то ухода в воспоминания. У Толстого воспоминание представляет собой бесконечную цепь причинно-следственных связей, которые *regressus in infinitum* ведут назад, в прошлое, в прапамять. По закону *итерации* оно постепенно приближается к определенной конечной цели, потому что каждое воспоминание имеет свое пред-воспоминание, и в то же время все связано с настоя-

щим. Воспоминание (возвращение) прошлого у Ивана Ильича исходит из ужаса перед настоящим. Это воспоминание умирающего человека, не потерявщего совесть. Задача художника – не что иное как высвобождение вечной действительности из закопанного мира подсознательной памяти, которую от нас скрывает привычка. Это уже не психология и не 'диалектика души', в своего героя Толстой здесь проникает глубже – в самую сущность его биологической природы. «Никто из художников так не вылущивает, не обнажает внутреннего животно-стихийного, 'душевного' человеческого ядра из внешней культурно-исторической скорлупы, как он. Все надстроенное человеком над природою, все культурное – для него только условное, только искусственное и, следовательно, лживое, нелюбопытное, незначительное» (МЕРЕЖКОВСКИЙ 1909: 1: 172). Впечатления от разнообразных ощущений, описание процесса воспоминания, начатого запахами и вкусовыми ощущениями наверняка имело влияние на сцену из романа Марселя Пруста *В поисках утраченного времени*, когда главный герой вспоминает одно из переживаний своего детства: вкус раковиновидного пирожного *madeleine*, замоченного в чае, которое тот получил от тетушки, и этот вкус вызывает в нем – подобно цепной реакции – все остальные воспоминания. Разница между двумя писателями заключается в том, что воспоминание (письмо) для Пруста – это борьба за возвращение утраченного прошлого, а для Толстого за усвоение и понимание настоящего.

Обоняние – одно из самых характерных для мира животных ощущений, которое у человека наименее развито, но у других видов является средством сохранения своего рода. Ни один из писателей, помимо Гоголя, не подчеркивал *физиономическую* важность носа, включая ароматический мир *Искусства любви* (*Ars amatoris*) Публия Овидия Назона и *Сирано де Бержерака* Ростана. *Назальные* мотивы (обоняние, храпение, нюхание и т. п.) пронизывают весь *Нос* Гоголя. В его произведениях мы встречаемся с обильным количеством русских пословиц и крылатых слов, связанных с носом. Если он описывает квартиру, чувствуется чем пахнет в воздухе. Запахи и ароматы играли важную роль уже в греческом эпосе: например, *приятный запах* богов предвещал их присутствие. В меньшего рода эпопее Гоголя – в *Мертвых душах* – слуга Чичикова, Петрушка, может восприниматься в определенной степени пародией эпоса, когда о нем говорится, что он «имел еще два обыкновения, составляющие две другие его характеристические черты: спать, не раздеваясь, так, как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем» (5: 28–29). Этот запах говорит многое не только о нем, но и об его господине. Запах – вторичная специфика тела. Это – знак, имеющий значение в данной культуре. В *Даме с собачкой* Чехова речь тоже идет не только о *кулинарных* фактах, когда собеседник Гурова говорит в ресторане: «А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!» (10: 137). С одной стороны – поэтическая любовь, с другой – низменная проза. Чехов большой мастер стирания границ между *синекдохой* и *синезтезией*: определенные раздражители приво-

дятся в действие не соответствующими органами чувств, но и другими. Например, когда вкусовые или звуковые раздражители вызывают цветовые явления и – наоборот. Рядом ставятся два разного настроения образа, характера, и это противопоставление становится результатом исключительно художественного воздействия. Находка Чехова: представить человеческую жизнь суммированно – в одном мгновении. Купающаяся в разных цветовых оттенках Ялта, особым образом освещенное море: «как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса» (10: 130). А рядом – пыльный город с серыми заборами, пол гостиницы «обтянут серым солдатским сукном», на столе – «чернильница, серая от пыли». В театре над люстрой колышется туман. Глаза и платье Анны – серые. Между восприятием цвета, запаха и вкуса имеется некая более глубокая взаимосвязь, то, что французские символисты называют *correspondance.*

Изображение телесности, радостей этого мира, связанных с обменом веществ (пищеварением) распространяется от тонкого юмора до грубого бурлеска и философской сатиры. Уже в русских сказках появляется неутолимого аппетита Объедало, гигантская фигура Опивало, которые трансформируются в романах в большеглотых, бочкообразно пузатых пиршествующих гурманов. Гоголь свидетельствует не только об изумительной *дистинктивной* способности запахов, но и вкусовых ощущений. Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович из *Старосветских помещиков* ничего не делали в своей жизни, кроме как проводили время за обеденным столом. Буквально все блюда русской кухни называются автором: начиная с соленых рыжиков, вплоть до коржиков с салом и пирожков с маком. «Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь; и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желем, пастилою, деланными на меду, в сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на золототысячник, на вишневые косточки» (Гоголь 1951–52, 2: 16–17). То же и у помещиков *Мертвых душ*. Процитируем тот эпизод, когда гурман Петух заказывает себе у повара одно специальное русское блюдо – кулебяку. Будучи истинным гастрономом, он углубляется в самые тонкости способа приготовления кулебяки, при этом облизывает губы и прищелкивает языком. Читатель буквально чувствует вкус хрустящего лакомства, его аромат. Петух говорит своему повару о фортелях и уловках приготовления калача, как человеку посвященному – только необходимыми намеками, поэтому в тексте столько пропусков *(лакун)*, которые невозможно в совершенстве передать в переводе. «– Да, кулебяку сделай на четыре угла,– говорил он с присасыванием и забирая к себе дух. – В один угол положи ты мне щеки осетра да визиги, в другой гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого, какого-нибудь там того. Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а с другого пусти ее

полегче. Да исподку-то, пропеки ее так, чтобы всю ее прососало, проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, этак растого – не то, чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту как снег какой, так чтобы и не услышал. – Говоря это, Петух присмактывал и подшлепывал губами» (5: 428–429)[3]. Петух как будто химически анализирует своим языком вкус кулебяки. Ему нравится только такое блюдо, которое готовят издавна привычным способом. Истинный русский всегда негативно реагирует на чуждые ему вкусы, запахи и звуки. Как, например, Обломов, для которого выбор пары равен выбору образа жизни. Почему он выбрал вместо поэтически возвышенной Ольги Ильинской приземленную Пшеницину. Свой выбор он объяснил Штольцу следующим образом: «Она споет *Casta diva*, а водки сделать не умеет так! И пирога такого с цыплятами и грибами не сделает! Так пекли только, бывало, в Обломовке да вот здесь!» (4: 442). Обломов вроде и оправдывает западнические идеи, однако, что касается образа жизни, стоит на стороне старомодного славянофильства русского дворянства. Обломовка имеет притязание на прошедший быт. Для Обломова она означает золотой век, состояние совершенного достатка, в котором его окружает атмосфера любви и где он чувствует себя в полной безопасности. Люди здесь уравновешены и счастливы, не знают принуждения к действию, не лезут из кожи вон. Здесь нет действия, поэтому так беден 'сон' глаголами движения, вызывающими *кинематическое* представление. Покинув органическую атмосферу домашнего очага, и оказавшись в чуждой и анорганической сфере города, *бытие* для Обломова опустошается и нисходит до уровня обыденной жизни, *быта*. Вместо явлений 'тихой жизни' чередой врываются симптомы 'деятельной жизни': спокойная уравновешенность сменяется тревожным чувством долга и служебных обязанностей. Обломов бежит в сон, уносящий его из свихнувшегося мира настоящего в священную благодать золотого века. Во сне он возвращается в провинциальную культурную среду старосветских помещиков, визуально-эмпирически окунаясь в ее видения, звуки, запахи и вкусы, и удаляется от чуждой ему культуры петербургских слов и идей. Обломовка представляет собой символ сытости и удовлетворенности, где послеобеденный сон продолжается не менее трех часов. Русскую привычку послеобеденного сна считает важным подчеркнуть и Тургенев в рассказе *Часы*: «Как только после обеда водворилась та сонная, душная тишина, которая до сих пор, как жаркий пуховик, ложится на русский дом и русский люд в середине дня после вкушенных яств...» (ТУРГЕНЕВ 1978–1986, 9: 86). Приверженность традициям в рамках данной культуры чрезвычайно важна, что далеко не всегда признаются представителями другой культуры. Лже-Дмитрия I народ, среди прочего, упрекал в том, что тот никогда не ложился спать после обеда.

[3] Не существует тут ни одного предложения, которое невозможно было бы после тщательного обдумывания 'исправить', любой грамотный человек может заметить 'ошибки', но текст имеет огромное воздействие на нас, и почему это происходит – мы не знаем.

В проанализированных произведениях речь идет о гораздо большем, чем просто о конкретном сне, освежающем усталые тела героев, или о еде-питье, утоляющих их голод и жажду. Под верхним – дословным – значением скрывается символическое. Тонкая ирония Толстого проявляется в ресторанной сцене *Анны Карениной*, когда Облонский и Левин в одной престижной петербургской ресторации спорят во время изысканного обеда. Восхищающие Облонского устрицы комом в горле застряли Левину: «мне лучше всего щи и каша» (8: 43). Именно здесь вспыхивает впервые между ними спор о любви, возникший под предлогом *Пира* (*Symposion*) Платона, тема которого постепенно перемещается в центр романа и получает разрешение в его конце. Облонский и Левин оказались на противоположных полюсах – лоб в лоб: один признает только телесную любовь, другой – только платоническую в качестве главенствующего принципа жизни. Ориентированный на телесные наслаждения Облонский аргументирует по-своему: «Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной...». Левин отвечает ему в соответствии с местом, где они находятся, гастрономическим примером: «– Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы... все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач. Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного. – Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься» (8: 50). В этой аргументации жена выступает как метафора *насущного хлеба*, а любовница – как метафора *ситного калача* (ср. TÉREN 2004: 65–69). Как гласит русская пословица, Левина ‘калачом не заманишь’, а *гедонист* Облонский думает как раз наоборот. Левин чувствует себя неуютно в ресторане под названием *Англия*, где подают чуждые ему блюда, где его окружают чуждые запахи и ароматы: к тому же официант-татарин повторяет все заказанное ими по-французски, читая из меню: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи...» (8: 44). Привычки, связанные с *едой, питьем, сном, брачной жизнью* являются центральными символами русской культуры, которые означают основу как национальной, исторической, так и личной жизни. Не случайно в тексте романа постоянно встречаются слова и выражения, связанные с русской кухней, семейной жизнью и устройством дома: все это свидетельствует о постоянстве, верности, непереходности. В переносном смысле это – символы идентичности национальной культуры, которые противопоставлены в романе иным (чужим) привычкам и поведению. Набоков обращает внимание на то, что в начале романа *Анна Каренина* в шести предложениях восемь раз повторяется слово *дом* и что это повторение – осознанное и преднамеренное. Этим подчеркивается то, что сохранение привычек и традиций относится к осознанию национальной принадлежности, а отступление от них означает порыв с корнями. Толстой противопоставляет принятым от чужестранцев искусственным запахам и вкусам крестьянский патриархальный образ жизни с *естественными* запахами и ароматами. Приведем пример знаменитой сцены сенокоса, где мы вместе с Левиным ощущаем свежий запах сена, дыхание полей, запах земли и вместе с ним «переживаем счастливые,

радостные минуты». Он держится корней. Для него источником счастья является *совместная жизнь с другими людьми*, с косарями-мужиками. Он не только работает вместе с Титом целый день, но и пьет с ним тюрку с замоченным в ней хлебом: «И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая вода с плавающею зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом. [...] Тюрка была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать. Он пообедал со стариком и разговорился с ним о его домашних делах...» (8: 279, 281). Дворянское и мужицкое мироощущения здесь противопоставлены как негативное и позитивное качества, которые являются репрезентацией своеобразного ощущения данной эпохи. Проблематичный помещик-дворянин ностальгически обращен здесь к лишенной всяческих «возвышенных» проблем крестьянской жизни. Аристократ Пьер Безухов, попавший в плен французов, тоже открывает для себя в Платоне Каратаеве «что-то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйства, в запахе даже этого человека.» (7: 50). Он признает в нем своего, его 'племенной запах' (*Sippengeruch*)[4], и это его успокаивает, чуть ли не по звериному инстинкту. Русский крестьянин Платон Каратаев – апология национального языка и культуры – оппонирует чужому, враждебному французскому влиянию. Не случайно его речь изобилует русскими пословицами и поговорками. Толстой оттого так высоко ценил стоящих вне общества, исторгнутых им людей (цыган, казаков, черкесов, отшельников, юродивых, нищих, мужиков и детей), что они живут в гармонии с природой, что их не испортила лживая цивилизация. Только они обладают способностью к безгрешности, естественности и непорочности, поскольку в них полностью отсутствует что-либо относящееся к 'обществу'.

В Толстом воплотился гений деревенской России, национального быта, Москвы. В Достоевском был воплощен гений европеизированной столицы, Петербурга. В Толстом зазвучал дух земли, в человеке он уловил естественного человека. Толстой вернулся к исконной русской визуально-эмпирической культуре: описанию зрелищ, звуков, запахов. Его герои удивляются миру, как в первый день сотворения. Этот полноценный взгляд, подобно детскому, не спрашивает, а только схватывает. Необычная точка зрения дает новое освещение привычному, выводит читателя из иннервированного автоматизма. Свежий взгляд видит то же, что и остальные, но замечает нечто, ранее никем не увиденное. Герои Толстого смотрят наружу подобно естественному человеку, герои Достоевского углубляются вовнутрь, в себя, сосредоточиваются на внутренней душевной сути. Толстой обладал богатым визу-

[4] Австрийский этолог Конрад Лоренц пишет о том, что, если хищные животные не признают у другого племенного запаха (*Sippengeruch*), то нападают на него; а, признав, дружелюбно устраиваются вместе в своих убежищах. Это уже относится к области гуманоэтологии, когда Коробочка, показывая свою гостеприимность, спрашивает у случайно оказавшегося в ее доме Чичикова перед сном: „Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки. Покойный мой без этого никак не засыпал» (1951–52, 5: 66). Этот мелкий штрих освещает биологические корни человеческой природы.

альным воображением, а Достоевский утонченным аудитивным воображением. Толстой показывает таких наполненных жизнью и брызжущих энергией героев, которые живут полноценной жизнью. Вокруг них и в них самих жизнь развивается в ее сладострастии таким образом, что в конце концов их одолевает вопрос: какую ценность вообще имеет жизнь? Для них важно не столько постижение мира, сколько его переживание. Толстой заново хотел открыть запертую жизнь для сил бытия. Эта черта русских романов прослеживается от Гоголя и Бунина вплоть до *Доктора Живаго* Пастернака. Русские писатели находились в поисках ощущения первобытного бытия, в них вновь и вновь воскресало желание *истинного* бытия. Боязнь Толстого онтологична (это боязнь смерти), у Достоевского она метафизична (боязнь Бога). Герои Достоевского вообще не удовлетворяются только сознанием существования, а размышляют о конечных вопросах, без решения которых жизнь для них невозможна. У Толстого провинциальный образ жизни формирует жизненно сильные и здоровые типы, в корне отличающиеся от шизофренических горожан Достоевского, которых питает не первобытная народная почва, а атмосфера урбанистической интеллектуальности Петербурга. Лишенный мистицизма материализм Толстого, жизненная реальность его героев и грандиозная метафизика героев Достоевского с высокой степени интеллектуально-духовным складом ума в конце концов говорят об одном и том же: человек должен ценою страдания испытать непереходность черты, отделяющей земную жизнь от божественного бытия. И это является не столько психологическим, сколько метафизическим познанием. Основное переживание героев их романов в одинаковой степени переживание бытия с той лишь разницей, что толстовские герои в основном испытывают бытие, а у Достоевского – вопрошают его.

Подавляющее большинство русских мыслителей, начиная от Толстого и Федорова вплоть до Есенина, противопоставляли губительную для жизни урбанистическую культуру патриархальной провинциальности, не оторванной от жизни, а составляющей вместе с нею единство. В этой оппозиции они противопоставляют 'сельское знание' 'городскому знанию' и городской жизни, являющимися местом промышленной цивилизации, небратства, замыкания каждого в самом себе и бестиальной сексуальности. В промышленной цивилизации гражданственность заменила братственность, государственность вытеснила отечественность. По мнению великого русского мыслителя конца XIX века Николая Федорова земледелие существенно отличается от промышленности, которая умерщвляет и препарирует живые организмы, первые плоды природы и сельского хозяйства, чтобы произвести из них мертвый материал. Помимо всего прочего это – все наши искусственные покровы и покрывала (от одежды до жилища), которые покрывают фундаментальные основы человеческой жизни. Фальшивую цивилизацию своего времени ФЕДОРОВ считал продуктом такой эпохи, в которой был потерян сакральный характер труда, замененный массой вещей, произведенных кощунственной деятельностью и называемых культурой. Неосвященная деятельность от-

казывается от бессмертной жизни и не считает несчастьем ни гибель личности, ни вымирание рода. По его мнению, промышленную цивилизацию создала толпа сыновей-расточителей, отрекшихся от умерших отцов (1982: 200).

На самом деле речь здесь идет о вечном противопоставлении *теоретического* и *эмпирического* знания. Бердяев в *Русской религиозной идее* отмечает, что «духовная культура Западной Европы – можно сказать, что сегодняшняя культура в целом – представляет собой однородную культуру *о чем-то*, а не *чего-то*; она признает только отражение бытия, но не само бытие. Методическая, научная культура нашей эпохи является культурой не Чего-то, а о Чем-то; иначе говоря, эта культура может говорить о религии, мистике, мифе, онтологии и не может быть Чем-то – религией, мистикой, мифом, онтологией» (1926: 421). Перефразируя афоризм Бердяева, можно сказать, что русская культура того периода была ощущением бытия в отличие от вопрошающей бытие европейской культуры. Поэтому русский язык еще является бытием, тогда как европейская культура только говорит о бытии и имеет дело только с отражением жизни. Из всего этого можно сделать поучительный вывод: культура вступит в период упадничества и деградации, если *единство чувства и мышления* теряет влияние на жизнь. Ощущение бытия и пытливость по отношению к нему не отрицают, но дополняют друг друга онтологически. Эмпиризм, невольный обожествитель жизни, и разум, великий ее вопрошатель – песня на два голоса – *коррелятивны*. Первичны чувства, которые рождают желание истолкования и объяснения сущего, которое те же чувства и оценивают. Экзистенция и эссенция не могут быть антиподами, потому что мудрость находится только там, где встречаются *жизнь* и *бытие*.

Суть бытия Декарт наметил в мышлении. В аксиоме *cogito ergo sum* русские поставили ударение на *sum*, на *sunt*. Пока европейцы думали и сомневались по подсказке Декарта, русские существовали и жили. В Европе рациональность поднялась над натурой и ослабила внутреннюю животворную энергию, *élan vital*. Гете сожалеет о том, что он немец и что ему недостает способностей только жить. Вечная дилемма: можно ли привить древо знания к древу жизни, можно ли разрешить противоречие между природой и духом? Можно, если умеющий писать одновременно умеет и разобраться в жизни. Не только создает философию, но и живет в ней, поскольку мышление не может довольствоваться автономией по отношению к жизни, поскольку мышление и существование суть одно и то же. Существование не имеет преимущества перед сущностью, и наоборот. Творчество должно служить жизни. Настоящая философия – как то является и задачей искусства – должна проливать свет на 'золотое древо жизни' и остерегать человека от забвения бытия, поскольку если прервется традиция жизни, ее место займет теория бытия. Конфликт чувства и разума разрешим только тогда, когда мудрость тела и души находятся в согласии друг с другом. Предназначение поэта, с одной стороны, одухотворять ощущаемое и чувствуемое и делать ощущаемым духовное, с другой превратить ориентированность на жизнь в сторону ориентированности на бытие.

Литература

BERDJAJEW 1926: Berdjajew, N. Die russische religiöse Idee. Darmstadt.

БОДУЕН ДЕ КУРТЕНЭ 1963: Бодуен де Куртенэ И. А. К теории «слова как такого» и «буквы как таковой» // Избранные труды по общему языкознанию 2. Москва.

DARWIN 1872: Darwin Charles. The Expression of Emotion in Man and Animals. New York.

ГЕЛЛЕР 2002: Геллер Л. (ред.) Экфрасис в русской литературе. Труды Лозанского симпозиума. Москва.

ГОГОЛЬ 1951–1952: Гоголь Н. В. Собрание художественных произведений в 5 томах. Москва.

ГОНЧАРОВ 1977–1980: Гончаров И. А. Собр. соч. в 8 томах. Москва.

ГРИГОРЬЕВ 1967: Григорьев А. Литературная критика. Москва.

LORENZ 1963: Lorenz, K. Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression.

MÁRAI 1992: Márai S. Napló 1958–1967. Budapest..

МЕРЕЖКОВСКИЙ 1909: Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество 1–2. Санкт-Петербург, 4. изд..

NABOKOV 1973: Nabokov, V. Nikolay Gogol. Weidenfeld and Nicolson. London.

PÉTER 1991: Péter M. A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. (Средства и способы языкового выражения эмоций). Bp.

TÉREN 2004: Téren Gy. Az éves motívuma Lev Tolsztoj Anna Karenina c. regényében // A szó élete. Budapest.

ТОЛСТОЙ 1955: Толстой Л. Н. О литературе. Москва.

ТОЛСТОЙ 1928–1959: Толстой Л. Н. Полное собр. соч. в 90 томах. Москва–Ленинград.

ТУРГЕНЕВ 1978–1986: Тургенев И. С. Полное собр. соч. в 30 томах. Москва.

ФЕДОРОВ 1982: Федоров Н. Ф. Философия общего дела // Федоров Н. Ф. Сочинения. Москва.

ЧЕХОВ 1974–1983: Чехов А. П. Полное собр. соч. в 30 томах. Москва.

Abstract

Narrative Expressions of Perception
Vision, sound, smell, taste and *touch* as symbols of intensive sensitivity for *being* in Russian literature

Art is the expression of emotions, *experience* is the most important form of gaining a knowledge of life. Perceptions mean the *primary* mother tongue for every one of us, they are links connecting us with our past. Apart from vision and hearing our main means of gaining information about our environment are smelling, touching and tasting. Russian writers have striven to involve in the aesthetic sphere the emotions and perceptions outside the visual-auditory realms, such as smelling, tasting and touching. They returned to the ancient Russian visual-empirical culture: to the description of sights, sounds, smells and

tastes. They wanted to reopen an enclosed life for the forces of being. This trend in Russian novel writing expands from Gogol and Bunin to Pasternak's *Doctor Zhivago.*

Vision and touch are the elements of plastic *Apollonian* art, while hearing, smelling and tasting are those of the *Dionysian.* However, there is no rigid line of demarcation between the different spheres. The perceptions belonging to one realm can be expanded to other fields. Russian writers have a special talent for representing *psychophysical* phenomena, in which the physical moments always refer to psychological phenomena. The representation of corporeality, the pleasures of the world and the phenomena related to metabolism involves diverse modes from sophisticated humour through bawdy farce to philosophical satire. The present study by Zoltán Hajnády represents the narrative modes of expressing perceptions through literary examples from works by Gogol, Tolstoy and Chekhov.

Our universality involves not only the perfect functioning of all the five senses of perception and our having rich and differentiated emotions, but also their harmony with our thinking and reason. The conflict of sense and sensibility can be resolved only if the wisdom of the body and spirit is in harmony. The duty of the poet is to spiritualise the sensual and to make the spiritual perceptible, to turn an orientation towards life into an orientation towards being. On the basis of the analysis of the above mentioned narrative texts the author arrives at the conclusion that the antithesis of reason and emotion is mistaken not only philosophically, but also poetically.

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

ПРИРОДА И ПЕЙЗАЖ ПАМЯТИ У ПУШКИНА И ВОРДСВОРТА[1]

Джеральд ПИРОГ

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это низкая природа;
Изящного не много тут.
ПУШКИН, «Евгений Онегин», 5, III, 1–4.

Что наш язык земной пред дивною природой?
ЖУКОВСКИЙ, «Невыразимое», 1819

В одной из работ о «Евгении Онегине» Лотман так сформулировал основной принцип пушкинской поэтики: «Создавая «Евгения Онегина», Пушкин поставил перед собой задачу, в принципе, совершенно новую для литературы: создание произведения литературы, которое, преодолев литературность, воспринималось бы как сама внелитературная реальность, не переставая при этом быть литературой» (ЛОТМАН 1995: 444).

В критической литературе этот принцип обычно называют пушкинским «реализмом».[2] Лотман видит в нем сознательное нарушение Пушкиным жанровых условностей, касающихся романной формы повествования и структурных элементов романа.

В этой статье я хочу уделить внимание пушкинской «поэтике действительности» путем сравнения «языковых концепций» ВОРДСВОРТА (1770–1850) и Пушкина. Творчество обоих поэтов занимает центральное место в истории русской и английской поэзии и знаменует поворотные моменты в развитии поэтического языка. Положение Вордсворта в английской литературе по нескольким важным причинам располагает к глубокому сопоставлению его поэзии с пушкинской. Творчество обоих поэтов тесно связано с наследием XVIII века, оба занимают центральное место в литературе своей эпохи, и, наконец, оба стремились создать поэтический язык, так или иначе отражающий нормы «обыденной» речи.

Проблема поэтического языка и его отношение к так называемой действительности занимает центральное место в творчестве этих поэтов. Важнейшим в их творчестве можно считать попытку преодолеть то, что им пред-

[1] Первоначальный вариант этой статьи появился в «Festschrift for Vadim Liapunov». Bloomington, 2001. Выражаю искреннюю благодарность Майклу Эскину за внимательное чтение и ценные замечания об английском и русском вариантах этой работы. Благодарю также Бориса Рогинского за первый вариант перевода и Аллу Акишину и Нину Перлину за помощь, замечания и поддержку.

[2] Этой проблеме посвящена статья МАРКОВИЧА (1977: 116–135).

ставлялось искусственным в поэтическом языке, не разрушая при этом традиционной поэтической формы речи. И в то же время, читая многочисленные сочинения Вордсворта о языке и о поэзии, в особенности его «Предисловия» к «Лирическим балладам», нельзя не заметить, насколько различны у него и Пушкина манеры мыслить и выражаться. Вордсворт пишет длинное эссе, а Пушкин решает те же проблемы непосредственно в художественном тексте, в особенности в «Евгении Онегине».[3] Постоянное внимание к жанру и к тому, как язык стремится менять, расширять или разрушать границы, накладываемые жанровой системой на литературу, позволяют Пушкину избегнуть внутренних натяжек и противоречий, которые Кольридж замечал в эссе Вордсворта.[4] Подходы к поэтическому языку у Пушкина и у Вордсворта в корне различны. В статье «О поэзии классической и романтической» (1825), к примеру, Пушкина больше занимают вопросы жанровые, чем содержательные и метафизические, что свойственно романтическим теориям языка. В этом смысле Пушкин – представитель классицизма. Дерек Аттридж убедительно показал, что Вордсворт стремился «определить язык, имеющий статус природы – но не той случайной и несовершенной природы, которая сама нуждается в том, чтобы ее излечило и обессмертило искусство, а природы совершенной, понимаемой как сущность, как идеал, как некое представление, которое стоит лишь перенести на бумагу, и она сама превратится в поэзию вечную» (ATTRIDGE 1988: 56). Пушкин же, наоборот, не выходил за пределы теории классицизма, согласно которой искусство всегда дополняет природу, улучшая, но ни в коем случае не изменяя и не заменяя ее.[5] Этот подход усложняет нашу оценку позиций, приписанных обоим поэтам в том движении, которое мы привыкли называть «романтизмом».

Яркая точка пересечения Пушкина и Вордсворта – это пушкинский сонет «Суровый Дант не презирал сонета» (1830), свободное переложение сонета Вордсворта “Scorn not the Sonnet; Critic, you have frowned” (1827). Кроме эпиграфа, чья пунктуация отличается от оригинала,[6] важное различие между русским и английским текстами – это особое внимание, уделяемое Пушкиным настоящему. В отличие от Вордсворта, говорящего только об умерших поэтах, Пушкин, свободный от некого «страха влияния» (BETHEA 1998: 67–88), посвящает десять из четырнадцати строк сонета своим современникам, включая самого Вордсворта, который скончался в 1850. И если сонет Вордсворта заканчивается на печальной ноте, то у Пушкина в конце – шутливая

[3] Надо также учитывать разницу в аудитории у обоих поэтов, аристократическое поведение Пушкина и французскую поэтическую традицию, сквозь которую следует прочитывать Пушкина.

[4] См. (COLERIDGE 1997: Chapters 4, 14, 17, 19, 20, 22).

[5] См., например: «Из Пиндемонти» Пушкина (1836), где поэт разделяет природу и творчество: «По прихоти своей скитаться здесь и там, / Дивясь божественным природы красотам, / И пред созданьями искусств и вдохновенья / Трепеща радостно в восторгах умиленья. / Вот счастье! Вот права…»

[6] См. (ЛЕССКИС–АТАРОВА 1999: 96–197).

ирония. Эта укорененность в настоящем (LIAPUNOV 1976: 37) представляется весьма важной для пушкинского творчества, она дает ключ к пониманию того, что принято называть пушкинским «реализмом». Укорененность в настоящем определяет пушкинскую позицию по отношению к миру, и, соответственно, определяет его отношение к языку. Язык позволяет поэту писать, *как если бы* он мог изобразить окружающую действительность такой, какая она предположительно и есть на самом деле. Это совпадает с тем, как поэт воспринимает и провидит ее. Дэвид Бетея пишет в связи с этим: «Пушкин никогда, вероятно с самых первых опытов, не сомневался в своей способности творить посредством языка, сделать русский язык абсолютно адекватным средством выражения всего, что ни потребовалось бы выразить» (BETHEA 1998: 74)[7].

Другая сторона той же проблемы открывается при сравнительном анализе, как Пушкин и Жуковский понимали поэтический язык и задачи поэзии. С этой точки зрения такой текст, как «Невыразимое», немыслимо представить в поэзии Пушкина. Пушкин любил мир таким, каков он есть; он не стремился прочь от материального к чисто мысленному или небесному. У Пушкина нет ни тоски по недостижимому или потерянному миру трансцендентного (см. HARTMAN 1972: 262),[8] ни чувства утраты языком телесной субстанциальности. Поэтический язык для него никогда не был средством выражения вечного и всеобщего через временное и особенное (см. МАРКОВИЧ 1997: 75–79).[9] Элементы пейзажа у Пушкина – не синекдохи, указывающие на нечто Целое, чего они лишь части.[10] Вообще, Пушкин очень трудно поддается деконструкции, и в этом, весьма важном отношении, он не романтический поэт, по крайней мере в том смысле, в каком мы говорим о европейских романтиках.[11] Пушкину никогда не надо было подчинять чувственный опыт воображению, потому что между ними не было никакого зазора. Воображение у Пушкина –способность, отвечающая за адекватность языка. Он ведь и определяет поэтическое вдохновение как повышенную восприимчивость поэта к окружающему миру: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает вдохновение с восторгом» (ПУШКИН

[7] Подробный анализ проблемы языка и подражания в философии языка XVIII в. в (AARSLEFF 1982: 72–381).

[8] Отсутствие тоски по «Золотому веку» у Пушкина можно, вероятно, объяснить тем, что поэт, как и Россия вообще, не так остро переживал отдаление от природы, как это было в Англии во время и после индустриальной революции. См. (HARTMAN 1971: 262). См. также (WILLIAMS 1973).

[9] См. также (БРОЙТМАН 1999: 84).

[10] См. (СЕНДЕРОВИЧ 1990: 9–28).

[11] См. (de MAN 1984: 1–17). См. также (de MAN 1983: 188–192).

1977: 29).[12] В строках о Вордсворте «Когда вдали от суетного света / Природы он рисует идеал», наиболее существенное слово – «идеал», так как погружение английского поэта в настоящее, в бытие природы, как правило, было ценно для Вордсворта не само по себе, а как воспоминание об утраченном.[13]

Знаменитое определение Вордсвортом поэзии как «чувство, вспомянутое в спокойствии» ("emotion *recollected* in tranquility") (WORDSWORTH 1936: 740) явно отличается от пушкинской характеристики английского поэта. У Пушкина Вордсворт *присутствует* внутри природы, творя свою поэзию. Момент творчества Вордсворта здесь совпадает с моментом вдохновения.[14] На самом же деле, Вордсворт не «рисует» природу в тот миг, когда он видит ее «телесным оком»: «Я часто не мог помыслить предметы внешнего мира как нечто, наделенное самостоятельным бытием, и все виденное мной я воспринимал не вовне, а в пределах моей собственной нематериальной природы».[15] Как пишет Джеффри Хартман, «[Вордсворт] редко считает прожилки на лепестке тюльпана, зато постоянно детализирует состояние своей души» (HARTMAN 1971: 5). Это вовсе не значит, что Вордсворт невнимателен к внешнему миру. Кольридж так характеризует поэтический проект Вордсворта: «[Он стремился] придать очарование новизны обыденным предметам и пробудить чувство, подобное сверхъестественному, пробуждая сознание из летаргического сна обычая, направляя его к красоте и чудесности мира» (COLERIDGE 1997: 179–180). Как Вордсворт добивается этого, объяснено в его «Предисловии»: «Главная задача этих Стихотворений состояла в том, чтобы отобрать случаи и ситуации из повседневной жизни и пересказать их или описать их, постоянно пользуясь, насколько это возможно, обыденным языком, и в то же время расцветить их красками воображения, благодаря чему обычные вещи предстали бы в непривычном виде» (WORDSWORTH 1936: 734).[16]

Эти слова, на первый взгляд, напоминают пушкинское определение вдохновения и во многом сходятся с рассуждениями о поэтическом языке в «Евгении Онегине» и пушкинской лирике после 1825 года. Однако, если рассмотреть их в контексте того, как оба поэта понимали язык, картина предстанет несколько иной.

---

[12] См.: (BETHEA 1998: 17–18, 151–152, 180–188). Это различие между восторгом и вдохновением особенно интересно в виду собственного вордсвортовского определения тона «Тинтернского аббатства» как «одического» (WORDSWORTH 1936: 702).

[13] Пушкинское употребление слова «идеал» и значение его в полемике о романтизме в России рассмотрено Лотманом (ЛОТМАН 1995: 678).

[14] См., однако: «Евгений Онегин», 1, LVII–LIX, где Пушкин говорит о своей неспособности писать стихи, сам будучи влюбленным.

[15] ВОРДСВОРТ У. цит. по: ABRAMS (1970: 224).

[16] Я не хочу касаться «двухголосной» природы этой цитаты. Кольридж и Вордсворт работали вместе над этим «Предисловием» и совершенно очевидно, что последние три строки «окрашены» собственным воображением Кольриджа. Подробный анализ этой проблемы см. (ATTRIDGE 1988: 46–89).

Пушкина и Вордсворта можно также рассмотреть и как занимающих разные места с точки зрения одной «эпистемологической парадигмы» (см. FOUCAULT 1973: xxii–xxiii, 58–124, 217–249).[17] Пушкин в ней парадоксальным образом занимает позицию *предшественника*. Эпистемологическая парадигма включает в себя классицизм , в котором, согласно Фуко, отношение знака к миру понимается как отношение знака к *знанию*. Это значит, что язык как модальность и проявление разума не вступает в фундаментальное соответствие с природой посредством божественного акта, а, наоборот, связывается с идеями, управляемыми разумом и служащими ему (AARSLEFF 1982: 27–29).[18] В центре этой парадигмы – теория сознания, для которой «лингвистические и эпистемологические состояния природы сливаются воедино» (AARSLEFF 1982: 28). У Пушкина природа предстоит и соразмерна разуму и языку несмотря на то, что всегда остается в пределах субъектно-объектного противопоставления, которое опосредствуется способностью разума создавать *ассоциативные аналогии*: отношение между разумом и природой формально, ассоциативно и внешне (de MAN 1983: 194–105). У Пушкина это выражается в трезвом осознании своей ограниченности временем и смертью.

Вордсворт и Кольридж утверждают в «Предисловии ко второму изданию «Лирических баллад»»: поэт «считает, что человек и природа в главном согласны между собой, а человеческий ум – естественное зеркало самых прекрасных и интересных свойств природы» (WORDSWORTH 1936: 738).[19] Однако, признавая в природе предшествующее человеку начало и необходимую основу человеческого самопознания, Вордсворт в то же время ставит внутренний, субъективный мир выше внешнего, материального: «Воображение, в том смысле, какой вложен в название одного из разделов предлагаемых стихотворений, никак не связано с образами, подлинно копирующими в сознании предметы внешнего мира; здесь оно употреблено в более высоком значении, речь идет о том, как мышление относится к этим предметам, и о процессах создания и сочинения, подчиненных определенным законам» (WORDSWORTH 1936: 753).

Как замечает Поль де Ман, в результате возникает парадоксальная ситуация, при которой, чем больше внимание к детали, тем глубже погружение во внутренний мир; опыт восприятия внешнего мира ведет к «опытам мечтаний и воспоминаний, исходящих из субъективности» (de MAN 1983: 194). И действительно, визионерская сила поэзии Вордсворта во многом основывается на действии памяти («чувство, вспомянутое в спокойствии»). Причем видимый объект и воспринимающее сознание соединяются в некое новое вообра-

[17] Тесно связывая Вордсворта с мыслителями 18 века, я следую за Арслефом (AARSLEFF 1982: 17, 18, 372–381). См., однако (ATTRIDGE 1988: 65). См. также (de MAN 1983: 193–208). Интересный предмет исследования—место Локка в философской традиции, оказавшей влияние на Пушкина. См. (ЛОТМАН 1997: 145, 148).

[18] См. также (ЛОТМАН 1997: 121–124).

[19] де Ман ставит под сомнение устойчивость этого «переплетенного мира». См. (de MAN 1993: 77–94).

жаемое целое, которое впоследствии останется в памяти как результат совместного действия природы и собственного Я поэта. Для Вордсворта природа— средство, позволяющее человеку понять, как именно мышление может иметь историю. Поэтому природа у него всегда отодвигается в прошлое (FURGUSON 1985: 141). Однако же, именно в этом взаимоналожении истории собственного Я и истории отношения собственного Я с пейзажем Вордсворт находит защиту от «неизбежной временнóйусловности» (de MAN 1983: 208) собственного Я. Осознавая собственную смертность, поэт может опереться на фундаментальные онтологические категории, укорененные в природе, которые не подлежат категориям места и времени. Пушкин же, напротив, постоянно возвращается к интересам собственного Я, как оно существует в эмпирическом мире. Лицо его смертности не прячется, как у Вордсворта, под маской очевидной постоянности природы. Оно вписано в круговорот умирания и восстановления. На самом деле, как мы увидим, перед природой и миром Пушкин выдвигает на первый план свою метонимическую позицию.

Природа, память и творческое преображение пейзажа нераздельно соединяются в двух стихотворениях, к которым я хочу сейчас обратиться. Это пушкинское «...Вновь я посетил» (1835) и вордсвортовское "Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey..." (1798). Я не стану здесь касаться вопроса о «влиянии», хотя общие черты пушкинского стихотворения и того, что М Х. Эбрамс назвал «крупной романтической лирикой» ("the greater Romantic lyric") (ABRAMS 1970: 201) располагают к сравнительному исследованию творчества Пушкина и этого жанра в английской поэзии. Сопоставляя эти два стихотворения, я надеюсь сделать предварительный шаг к пониманию определенных аспектов использования Пушкиным образов природы, в первую очередь, в их отношении к жанру элегии. Анализируя сходства и различия у Пушкина и Вордсворта, я постараюсь наметить еще один путь к решению пресловутого вопроса о пушкинском «романтизме».

С формальной точки зрения, эти стихотворения объединяет несколько общих черт, важнейшая из которых – размер: оба написаны нерифмованным пятистопным ямбом, это форма интимного лирического обращения к безмолвному слушателю. Также и в тематике стихотворений есть много общих точек соприкосновения.

Как и Вордсворт, Пушкин *возвращается*[20] после долгих лет к месту, которое имеет для него глубокое значение. Оба поэта довольно точно обозначают и место, и количество прошедших лет. Лирические герои обоих стихотворений созерцают пейзаж, отмеченный трудами деревенской жизни, и размышляют о том, что видят, и о том, что видели в прошлом. Важно, что у обоих поэтов пейзаж населен бедными и смиренными людьми. Зрелая мудрость Вордсворта, не тоскующая по потерянной юности:

[20] Ср. отрывок Вордсворта 'Yet Once Again', который считается ранним вариантом «Тинтернского аббатства» (WORTSWORTH 1981, I: 940).

… [I] learned
To look on nature, not as in the hour
Of thoughtless youth; but hearing oftentimes
The still, sad music of humanity,
Nor harsh nor grating, though of ample power
To chasten and subdue…

(Вордсворт 2001: 219)[21]

близка и Пушкину, тоже сильно изменившемуся за многие годы, печально вспоминающему любимую няню:

…и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам покорный общему закону,
Переменился я – […]
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет—уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.

У Вордсворта, однако, постановка непосредственности зрения сменяется непосредственностью производимой воспоминанием. Переход от зрения к слуху ведет к размышлению о состоянии некого обобщенного человечества и одновременно о возвышенном, которое представляет поэтическую силу воображения равной действительности: "of all the mighty world / Of eye, and ear,– both what they half create, / And what perceive"[22]. У Пушкина, напротив, переход от зрения к слуху не разрешается в обобщающей абстракции: тишина здесь одновременно и буквальная, и конкретная, вызванная смертью старой няни.[23] Пушкинское восприятие мира обусловлено не требованиями романтического воображения, а чувственным переживанием, тесно связанным с языком через воображение. Тишина, порожденная смертью его няни контрастирует затем с шумом деревьев, который связывается с его собственной смертью.

Образ отшельника в стихотворении Вордсворта:

…and wreaths of smoke
Sent up in silence, from among the trees!
Of vagrant dwellers in the houseless woods,

[21] «…Я теперь / Не так природу вижу, как порой / Бездумной юности, но часто слышу / Чуть слышную мелодию людскую / Печальную, без грубости, но в силах / Смирять и подчинять». Все переводы этого стихотворения из книги (Вордсворт 2001).

[22] «…весь могучий мир / Ушей и глаз – все, что они приметят / И полусоздадут».

[23] Важно отметить, что и у Вордсворта есть «няня» – природа, строка 109.

Or of some hermit's cave, where by his fire
The Hermit sits alone.[24]

можно сопоставить с образом одиноко стоящей сосны у Пушкина:

…А вдали
Стоит один угрюмый товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.

Представление Вордсворта медленно поднимающегося из-за деревьев дыма, в высшей степени характерно для поэта, который «часто не мог помыслить предметы внешнего мира как нечто, наделенное самостоятельным бытием». У Пушкина, напротив, дерево представлено как конкретная часть пейзажа с совершенно определенным положением в пространстве, его пространственное соотношение с другими деревьями аллегорично: это одинокий знак бесплодности, опустошенности и старости.[25]

Оба стихотворения кончаются предчувствием смерти поэта, и затем употребляется прием обращения, чтобы выразить надежду, что взгляд на тот же самый пейзаж в будущем пробудет в другом человеке память поэту:

If I should be where I no more can hear
Thy voice, nor catch from thy wild eyes these gleams
Of past existence – wilt thou then forget
That on the banks of this delightful stream
We stood together…[26]

…Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи,
И обо мне вспомянет.

Оба поэта вписываются в пейзаж. Однако, этот след поэтов в пейзаже навсегда остается, воскрешаемый в памяти потомков – у Пушкина это внук, у Вордсворта – его сестра Дороти. Важно отметить, что Пушкин говорит о преемственности поколений, включенной в метонимическое поле: «На границе / Владений дедовских…», «…Но пусть мой внук». Место Пушкина в этом континууме аналогично месту его внука. Залог будущего для него – «фамильное

[24] «…и дым витой, / Что тишина вдымает меж деревьев! / И смутно брежат мысли о бродягах,/ В лесу живущих, или о пещере / Где у огня сидит отшельник.» (Вордсворт 2001: 213–215).

[25] О существовании этих трех сосен на территории Михайловского пишет Козмин В. Ю. в неопубликованной статье «Три сосны», любезно предоставленной мне автором.

[26] «…Быть может, / Я буду там, где голос мой не слышен, / Где я увижу взор безумный твой, / Зажженный прошлой жизнью—помня все же, / Как мы на берегу прекрасных вод / Стояли вместе….» (Вордсворт 2001: 221–223).

древо», что связано и с его глубоким интересом к предкам, и со стремлением обрести статус *pater familias*, уже осуществленным в 1832. Его обращение «Здравствуй, племя/ Младое, незнакомое» – одновременно относится к смене поколений, и к друзям, знакомым и родне. По контрасту с Вордсвортом, для которого биологическая последовательность, по-видимому, не важна,[27] Пушкин предпочитает здесь метонимию любому другому более всеобъемлющему тропу, и притом признает конечность своего личного существования. И вместе с тем, он утверждает свое место во временной последовательности – открытой и направленной в будущее. Вордсворт «ищет в природе предвестие своей судьбы» и, сплетая свое воспоминание о пейзаже с воспоминанием своей сестры, стремится преодолеть «страх абсолютной смерти» (HARTMAN 1971: 28).

Это различие становится более понятным при анализе пушкинского «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829), в котором смерть более четко воображаема им, и в котором тема смены поколений не менее важна.[28] В этом стихотворении биологическое безразличие истлевающего тела соответствует холодной, безразличной природе:

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

В этом очень трезвом стихотворении природа совершенно безразлична к круговороту человеческих рождений и смертей:

Гляжу ль на дуб уединенный,[29]
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

При всей его способности *познать* природу, пушкинское Я никогда не смеет совпасть с природным «Не-я» или заслонить его (см. БРОЙТМАН 1999: 90–92). У Вордсворта, напротив, представить себе природу равнодушной

[27] Хотя первый его ребенок, Каролина, родилась во Франции в 1792 г.

[28] См. также: «Евгений Онегин», 2, XXXVIII [1823], где за «парафразом» «надгробного мадригала» Ленского в последних 6 строках строфы следует собственная пушкинская эпитафия, гораздо менее «декоративная».

[29] Было бы здесь полезно подчеркнуть контраст между пушкинскими деревьями этих двух стихотворений и одиноким дубом у Лермонтова в его стихотворении «Выхожу один я на дорогу», чтобы обратить внимание на разницу между пушкинским «классицизмом» и романтизмом Лермонтова. См. также: пушкинское «Когда за городом, задумчив, я брожу» (1836).

невозможно, ибо поэт неразрывно связан с ней единым сознанием. Говоря словами де Мана, Пушкину мир представляется «конфигурацией частей, обозначающих множество различных и отделенных друг от друга значений», а ни в коем случае не «конфигурацией символов, в итоги ведущих к тотальному, единому и универсальному значению» (de Man 1983: 188). В отличие от романтиков, у Пушкина всегда было «абсолютно чистое поэтическое сознание» (de Man 1983: 208): то есть отсутствие всяких потусторонних стремлений.[30] Пушкин не боится коснуться вопроса о существенной супплементарности литературы, и не вынужден бороться с некой идеологической позицией, которая не была бы соизмеримо с его поэтической практикой. У Пушкина нет повода для ностальгии, потому что нет чувства потерянного совпадения языка с настоящим. Пушкин не отворачивается от своей смертности, прибегая к вневременным онтологическим категориям, укорененным в природе. Это и есть его нравственная позиция (Liapunov 1976: 34–35), она основана на его понимании поэтического языка, в целом, чуждом всему символическому. Будучи верным своему пониманию временной условности человека, Пушкин лицом к лицу встречает свою участь, не подаваясь иллюзорному единству собственного Я с природой, ибо единство такое дало бы поэту лишь мираж возможности избежать ту смертность, которую он столь мужественно принимает.

ЛИТЕРАТУРА

Бройтман 1999: Бройтман, С. Н. Неявное в поэтике Пушкина // Russian Language Journal, 1999, № 53.

Вордсворт 2001: Вордсворт, У. Избранная лирика. Сост. Е. Зыкова. Под ред. Е. Мещеряковой и Н. Вергелса. Москва.

Лесскис–Атарова, ред. 1999: Лесскис Г. А., Атарова К. Н. (ред.). Пушкин А. С. Переводы и подражания. Москва.

Лотман 1995: Лотман Ю. М . Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин” // Пушкин. СПб.

Лотман 1997: Лотман Ю. М. Литература в контексте русской культуры XVIII века // О русской литературе; статьи и исследования (1958–1993). СПб.

Маркович 1997а: Маркович В. М. Пушкин и реализм. Некоторые итоги и перспективы изучения проблемы // Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. СПб.

Маркович 1997б: Маркович В. М. Чудесное в интимной в политической лирике Пушкина. К проблеме: Пушкин и русский утопизм // Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. СПб.

[30] См., однако (Маркович 1997а: 127, 129–130).

ПУШКИН 1977: Пушкин А. С. Возражение на статьи Кюхельбекера в 'Мнемозине' // Полное собрание сочинений. Ленинград. Том VII.

ЯКОВЛЕВ 1926: Яковлев Н. Из разысканий о литературных источниках в творчестве Пушкина // Пушкин и мировая литература: сборник статей. Ленинград.

AARSLEFF 1982: Aarsleff, H. Wordsworth, Language and Romanticism // From Locke to Saussure: Essays on the Study of Language and Intellectual History. Minneapolis: University of Minneapolis Press.

ABRAMS 1970: Abrams, M. H. Structure and Style in the Greater Romantic Image // Romanticism and Consciousness: Essays in Criticism. NY: Norton

ATTRIDGE 1988: Attridge, D. Peculiar Language: Literature as Difference From the Renaissance to James Joyce. Ithaca: Cornell UP.

BETHEA 1998: Bethea, D. Realizing Metaphors: Alexander Pushkin and the Life of the Poet. Madison: University of Wisconsin Press.

COLERIDGE 1997: Coleridge, S. T. Biographia Literaria. Ed. Nigel Leask. London: Everyman.

de MAN 1983: de Man, P. The Rhetoric of Temporality // Blindness and Insight. Minneapolis: University of Minnesota Press.

de MAN 1984: de Man, P. Intentional Structure of the Romantic Image // The Rhetoric of Romanticism. NY: Columbia UP. 1-17.

de MAN 1993: de Man, P. Time and History in Wordsworth // Romanticism and Contemporary Criticism. Baltimore: Johns Hopkins UP.

FOUCAULT 1973: Foucault, M. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. NY: Vintage.

FURGUSON 1985: Furguson, F. The 'Immortality Ode' // Modern Critical Views: William Wordsworth. NY: Chelsea Publishers.

HARTMAN 1971: Hartman, G. Wordsworth's Poetry, 1787-1814. New Haven: Yale UP.

LIAPUNOV 1976: Liapunov, V. Mnemosyne and Lethe: Pushkin's 'Vospominanie.' // Alexander Pushkin: A Symposium on the 175th Anniversary of his Birth. Ed. A. Kodjak and K. Taranovsky. NY: NYU Press.

NABOKOV 1975: Nabokov, V. Eugene Onegin. Princeton: Princeton UP.

WILLIAMS 1973: Williams, R. The Country and the City. NY: Oxford UP.

WORDSWORTH 1936: Wordsworth, W. Poetical Works. Oxford: Oxford UP.

WORDSWORTH 1981: Wordsworth, W. The Poems, ed. By John O. Hayden. New Haven: Yale UP.

Summary

Nature and the Landscape of Memory in Pushkin and Wordsworth

This article explores Pushkin's so called "poetics of reality" by comparing his conception of poetic language with William Wordsworth's. I discuss Pushkin's poems "Vnov' ja posetil" and "Brozhu li ja vdol' ulits shumnykh" and Wordsworth's "Tintern Abbey."

The issues of poetic language and its relation to the "real" are central to these two poets. An attempt to overcome what was perceived to be the artifice of poetic language, while still remaining within the forms of discourse of poetry, is fundamental to both their poetic achievements. However, unlike Wordsworth, Pushkin still works within the framework of a classical theory of art in which art always supplements nature, adding to it, never altering or replacing it. A solid grounding in the present tense defines Pushkin's ethical position with respect to the world, and, correspondingly to his understanding of poetic language. In contrast to Wordsworth, imagination for Pushkin is the capacity that guarantees the adequacy of language to encompass reality. Inspiration for Pushkin is the poet's heightened ability to comprehend the empirical world through the senses. With all its ability to apprehend nature, therefore, Pushkin's poetic "I" never pretends to coincide with the alterity of nature or supercede it. For Pushkin, nature is always present to and commensurate with his mind and language, although it remains forever within the opposition between subject and object. This opposition is mediated by the ability of the mind to create *associative analogies*: the relationship between mind and nature is formal, associative and external. Using Paul De Man's formulation, the world for Pushkin is a "configuration of entities that designate a plurality of distinct and isolated meanings," never "a configuration of symbols ultimately leading to a total, single, and universal meaning." True to a deeply secular understanding of the self's predicament in time, Pushkin squarely faces his temporal destiny by never succumbing to an illusory identification of the self with nature, an identity that would grant a wholly inauthentic defense against a mortality that he so courageously accepts.This article explores Pushkin's so called "poetics of reality" by comparing his conception of poetic language with William Wordsworth's. I discuss Pushkin's poems "Vnov' ja posetil" and "Brozhu li ja vdol' ulits shumnykh" and Wordsworth's "Tintern Abbey."

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ МОТИВНОЙ СТРУКТУРЫ СБОРНИКА СТИХОТВОРЕНИЙ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА «ШАТЕР»

EGERES Zsuzsanna

Поэтические и прозаические произведения Николая Гумилева, его поэзия и критическая проза в равной мере как и культура и искусство рубежа XIX-го и XX-го веков в настоящее время вызывает повышенный теоретический интерес. Выходит в свет ряд монографических и научных работ, посвященных его творчеству, а также готовится новое издание полного собрания сочинений поэта. В пределах этого повышенного интереса ученые уделяют особое внимание стихотворениям и прозе Гумилева, связанными с темой Востока, а также геокультурной сферой Африки. Однако можно отметить, что эти работы (ТИМЕНЧИК 1987; ЧУДИНОВА 1988; СЛОБОДНЮК 1994; БАСКЕР 2000) нельзя считать исчерпывающим анализом данной темы, в них рассматриваются лишь отдельные её аспекты.

В настоящей статье делается попытка на материале сборника стихотворений «Шатер» (1921) выделить основные мотивы, связанные с миром Востока, и этим самым внести некоторые дополнения к изучению темы «Гумилев и Африка».

Сборник «Шатер» является одним из последних сборников, вышедших в свет еще при жизни поэта. «Шатер» отличается единством тематики и ее поэтической интерпретации, а также единством геокультурного фона любимой Гумилевым Африки и связанного с ней мотивного круга. Однако, прежде чем приступить к изучению мотивной системы сборника, мне хочется обратить внимание на некоторые моменты из жизни поэта, мотивирующие особый интерес Гумилева к Африке, ставшей с одной стороны местом действительных, с другой стороны реализуемых лишь в творческом сознании поэта путешествий по этому континенту.

Прежде всего необходимо указать на тот факт, что Н. Гумилев с раннего детства увлекался зоологией и географией, охотно читал приключенческие книги Жюля Верна, Майна Рида, Фенимора Купера (ЛУКНИЦКАЯ 1990: 20), и уже с ранних лет мечтал о странствиях в далекие страны, в том числе и в Африку. Этот интерес находил поддержку и со стороны отца, который в свое время служил морским врачом, и таким образом ему нередко приходилось бывать в экзотических, далеких краях, и он охотно рассказывал в семейном кругу о своих приключениях. Интерес Гумилева к Востоку, и в частности к Африке, еще более возрос за время пребывания поэта в Париже (1906–1907), где он охотно посещал выставки и заповеднические музеи, Jardin des Plantes, Jardin d' Acclimations, часами наблюдал крокодилов, гиен, и разных зверей,

читал Брема и Реклю, и также часто посещал кафе Латинского квартала, где заводил знакомства с представителями тех стран, к которым его влекло, в том числе и африканского континента (ЛУКНИЦКАЯ 1990: 55–56). Под воздействием этих впечатлений вскоре после возвращения из Парижа ему и удалось осуществить свою мечту – в 1908 году он совершил путешествие в Египет.

На этом месте стоит поставить вопрос: что же именно так влекло Гумилева в Африку, вызывая у него жгучий интерес к ее географическим данным и культуре. Нам кажется, что на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Самой по себе географической экзотики, без других дополнительных моментов было бы недостаточно, чтобы так чарующе манить поэта именно на этот континент. При этом любопытно упомянуть, что повышенный интерес к Африке в русской литературе наблюдается с XVIII века благодаря сведениям, полученным из записей торговцев-путешественников. Наверное в конце XIX – начале XX века в пробуждении интереса к Востоку немаловажную роль сыграли также и книги о путешествиях по Востоку, и археологические раскопки и расцвет востоковедения. Однако со всем этим сочетался еще один, не менее важный историко-культурный момент. Культурное сознание серебряного века, ориентированное на начальном этапе на общеевропейские культурные ценности, в самом начале XX века было захвачено переживанием глобального кризиса культурных ценностей европейской цивилизации, и искало новые формы культурной ориентации. Культурное сознание эпохи, и в частности и творческое сознание многих художников и мыслителей, было направлено к новым культурным пластам и регионам. В пределах отечественной культуры заново были открыты и периферийные пласты в народной культуре и этим самым и восточные корни в русской культуре. Была открыта периферия и с точки зрения геокультурной ориентации – культурные регионы Ближнего и Дальнего Востока, а также Африканский континент.

К выше сказанному, однако, необходимо добавить некоторые факты. Определение какого-либо культурного региона как периферии в сопоставлении с геокультурными регионами, оцениваемыми как центральные, может рассматриваться в различных ракурсах. В глазах европейца особый интерес вызвала своей экзотичностью именно периферийность Ближнего и Дальнего Востока и Африки, как в географическом так и в культурном смысле. Однако и сама Россия осмысливалась в определенные эпохи как «Восток» по сравнению с центральным регионом Западной Европы. В стихотворении *Галла* из цикла «Шатер» воссоздается такая парадоксальная ситуация, где именно «дикая Россия» представляется в ином осмыслении:

Я склонился, он мне улыбнулся в ответ,
По плечу меня с лаской ударяя,
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

Всё расспрашивал он, много ль знают о нем
В отдаленной и дикой России...
Вплоть до моря он славен своим колдовством,
И дела его точно благие.

Несмотря на широкий территориальный размах колонизации африканского континента европейскими государствами начиная со второй половины XIX века, еще и вплоть до начала XX века многие регионы Африки оставались неоткрытыми для европейского человека. Поэтому можно предположить, что именно это страстное желание стать первопроходцем, и возможность открыть новую землю влекли Гумилева, поэта и путешественника в научные экспедиции. Об этом же романтически окрашенном чувстве, о желаемой миссии первопроходца, чье имя будет носить новая географическая единица или река, свидетельствуют следующие строки, открывающие сборник:

Дай за это дорогу мне торную,
Там где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем черную,
До сих пор неоткрытую реку.

Это же страстное желание сыграть роль первооткрывателя новых земель и торжественное гимническое возвеличение нового континента юной Африки, которой предстоит засыпать песками старую Евразию, звучат в конце стихотворении *Сахара*:

И, быть может, немного осталось веков,
Как на мир наш, зеленый и старый,
Дико ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары.

Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,
На верблюдах своих бедуины.

Все эти факты доказывают, что тяготение Гумилева к черному континенту было вызвано различными импульсами, в равной мере и лично-биографическими и общекультурными. Первая его поездка состоялась еще в 1908 году, но из-за недостатка материальных средств длилась она недолго, и поэт имел возможность вступить лишь на порог двери в континент, в Египет. Организованная Музеем антропологии и этнографии Российской Академии наук в 1913 году экспедиция явилась более плодотворной, на протяжении этой экспедиции поэт записывал африканские народные сказки и песни, знакомился с первобытными суеверными представлениями, а также собирал предметные свидетельства, связанные с народной обрядностью, и наряду с этим вел путевые записки. Впечатления, пережитые Гумилевым во время этой экспедиции, отражаются и в его путевых записках, однако они получили са-

мый четкий и яркий отпечаток именно в сборнике, под названием «Шатер».[1] Само название сборника содержит в себе несколько аспектов осмысления. В противопоставлении с оседлой жизнью цивилизации, оно символизирует кочевой образ жизни, но в то же время может указывать и на то, что следующий этому образу жизни европейский человек не представляет собой члена местного общества, он является именно путешественником, временным гостем на этой земле, который лишь временно приспосабливается к более простому образу жизни, и этим как бы доказывает, что он может жить и без роскоши европейской цивилизации. Именно эта простота и убогость условий кочевого образа жизни, и способность мужественно преодолевать физические и душевные испытания и оказались очень важными для человеческого и творческого менталитета Гумилева. В более широком поэтическом контексте этот образ также может символизировать и небосвод, защищающий человека.

Для Гумилева, как путешественника, пришедшего из мира европейской культуры, Восток, и в том числе и Африка, воплощает в себе не только юный континент, которому предстоит играть важную роль на следующих этапах всемирного культурного развития, но еще не открытый и не тронутый технической цивилизацией мир. В Африке в такой же мере воплощаются и дикие стихийные силы, первобытный хаос, предшествующий этапу цивилизационного развития. В первом стихотворении сборника (*Вступление*) перед нашими глазами вырисовывается стихийный мир Африки через дым и мглу:

Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.

И твое раскрывая Евангелье,
Повесть жизни ужасной и чудной,
О неопытном думают ангеле,
Что приставлен к тебе, безрассудной.

По свидетельству стихотворений сборника географической и культурной экзотикой потрясена не только творческая фантазия поэта – одновременно он испытывает и страх перед этим незнакомым и страшным миром. Африка и манит и страшит его и своими чудесами, непроходимыми лесами, где в высокой траве могут притаиться пантеры и львы, деревни с «кумирами древними», колдуном, совершающим «привычное чудо», небывалыми, «дивнопрекрасными» зверями и птицами.

Стихотворения сборника как бы начерчивают тропы, пройденные поэтом-лирическим героем. Эти пути странствия с одной стороны были пройдены в

[1] Сборник «Шатер» впервые был издан в 1921 году. Переработанное и дополненное второе издание было напечатано в 1922 году, на основе рукописи поэта. При анализе мы пользуемся текстом второго издания (ГУМИЛЕВ 1991).

действительности, с другой стороны, лишь в просторе авторской фантазии. Названия стихотворений, таким образом, изображают кусочки мозаики, из которой — несмотря на калейдоскопическую пестроту картины — строится единство поэтической тематики, единство геокультурного региона, его флоры и фауны. Однако, поэт в самом вступлении указывает на то, что юная Африка и старая Евразия все же имеют общий корень, они генетически и территориально неразрывно связаны друг с другом, и эта поэтическая мысль передается через образ дерева, имитирующего чертеж географической карты Евразии, на ветви которого огромным плодом висит грушеобразная Африка.

Про деянья свои и фантазии,
Про звериную душу послушай,
Ты, на дереве древнем Евразии
Исполинской висящая грушей.

А Суэцкий канал и Красное море как бы играют одновременно роль и моста и разрыва между этими двумя континентами, и при этом (в стихотворении *Красное море*) подчеркивается, что согласно ветхозаветному преданию, именно волны Красного моря повиновались магическому жезлу Моисея.

И ты помнишь, как, только одно из морей,
Ты исполнило некогда Божий закон,
Разорвало могучие сплавы зыбей,
Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон.

Эта изначальная и органическая связь между двумя континентами в поэтическом восприятии Гумилева осмысляется в нескольких ракурсах. Своеобразная поэтическая идея единства географического простора, простирающегося от Северной Африки, через Ближний Восток и через Среднюю Азию вплоть до монгольских степей, в творческом восприятии Гумилева выражается в широкой картине вырисовывающихся перед глазами поэта и вместе с тем и перед глазами читателя, неразрывной цепью переходящих друг в друга огромных пустынь. На уровне метафорической образности это единство обеспечивается бесконечными песчаными дюнами Сахары, уподобляемыми в образной системе стихотворений цикла (*Сахара*) огромным затихающим волнам океана:

Все пустыни друг другу от века родны,
Но Аравия, Сирия, Гоби, –
Это лишь затиханье Сахарской волны,
В сатанинской воспрянувшей злобе.

Для поэта образ пустыни, которая постоянно меняет свой облик в результате действия необузданных человеком стихийных сил природы, ветра и солнца, на протяжении сюжетного развития всего цикла ставится в параллель с морскими волнами и океанскими просторами.

Плещет Красное море, Персидский залив,
И глубоки снега на Памире,
Но ее океана песчаный разлив
До зеленой доходит Сибири.

Наряду с образным строем, воплощающим поэтическую идею единства всего «песчаного океана», явно выступает и другой аспект восприятия этого единства, образно выявляется и внутренняя амбивалентность этого единого геокультурного простора. Нельзя сказать, что в поэтическом восприятии Гумилева образ Африки является гомогенным пространством. В нем имеются кажущиеся безжизненными и безлюдными пустыни с «золотыми песчаными дюнами», которые лишь редко обрываются оазисами с пальмами. В пустыне властвуют твердые законы природы, царствуют стихийные силы: ветер и солнце, свет и тень, невыносимая жара от пылающего солнца днем, и леденящая прохлада после заката солнца.

Противоположную стихию составляют темные, непроходимые, «дремучие леса», с их таинственным миром, куда не проникают лучи солнца. Здесь (*Судан*) раскрывается лицо природы, которое напоминает то первобытное состояние мира, когда природа еще не была тронута творческой деятельностью человеческой руки, она еще пребывала в том райском состоянии, когда ее лицо было оформлено рукой единственного творца:

Садовод Всемогущего Бога
В серебрящейся мантии крыльев
Сотворил отражение рая:
Он раскинул тенистые рощи
Прихотливых мимоз и акаций,
Рассадил по холмам баобабы,
В галереях лесов, где прохладно
И светло, как в дорическом храме,
Он провел многоводные реки
И в могучем порыве восторга
Создал тихое озеро Чад.

Но это райское, первобытное состояние африканской природы за одно мгновение может быть нарушено бушующим хамсином[2], песчаной бурей, которая разрушает все, что встречается на пути. Песок (в стихотворении *Сахара*) – как и в рассказах А. Платонова[3] – символизирует вечный круговорот природы, постоянное рождение и исчезновение, он разрушает даже произведения культуры.

Потому что пустынные ветры горды
И не знают преград своеволью,

[2] Хамсин: арабское слово, синоним ветра.
[3] Имеются в виду рассказы А. Платонова, *Песчаная учительница, Джан.*

Рушат стены, сады засыпают, пруды
Отравляют белеющей солью.

А в следующей строфе стихотворения «Сахара» развертывается апокалиптическое видение поэта. Согласно его представлениям, гибель «старой» культуры свершится в итоге бунта стихийных сил «юного» континента:

И, быть может, немного осталось веков,
Как на мир наш, зеленый и старый,
Дико ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары.
Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,

Однако, согласно образной и мотивной структуре цикла, ветер выступает не только как разрушительная стихия, но и как творческая стихия, которая рисует волнообразные узоры на песчаной палитре пустыни, и приносит прохладу тварному миру после жаркого дня. Другая природная стихия, солнце с его пылающими лучами, подобно ветру, в равной мере является и творческой силой. Солнце оценивается как божественное начало в мифологических представлениях древних египтян, которому они поклоняются. С другой же стороны солнце, подобно ветру, выступает в образной структуре цикла как прообраз творца, как «небесный живописец»:

Живописец небесный вечерней порой
У подножия скал и растений
На песке, как на гладкой доске золотой,
Расстилает лиловые тени.

В стихотворениях книги «Шатер» часто передаются различные необычные формы зрительного и слухового восприятия, вызванные экзотическими природными условиями. Резкие смены восприятия, так же как и повышенная деятельность органов восприятия мотивируются необычайно сильным воздействием стихийных сил природы. Вдруг перед глазами вырастают картины, граничащие с миражами (*Сахара*).

Всюду башни, дворцы из порфировых скал,
Вдруг фонтаны и пальмы на страже,
Это солнце на глади воздушных зеркал
Пишет кистью лучистой миражи.

Пылающее солнце таит в себе опасность не только для европейского человека, но даже для местного жителя. Для европейца, неопытного пришельца из северных стран в «пылающей» пустыне порой неизбежна и смерть. Но кроме необычных физических и духовных испытаний европейскому человеку мир пустыни является заманчивым миром и тем, что особые экзотические природные и географические условия резко модифицируют деятельность его

органов восприятия, воспитанную на европейской культуре. В этих особых условиях временами он не может различить мир творческой фантазии от физически ощутимой действительности, мир сна от яви. Эти особые условия расширяют его горизонт восприятия, через призму увиденного вокруг он становится способным проникать в « бездну времен» (*Египет*):

Там, взглянув на пустынную реку,
Ты воскликнешь: «Ведь это же сон!
Не прикован я к нашему веку,
Если вижу сквозь бездну времен.

После возвращения с экзотического континента, в сознании поэта-путешественника эти сны повторяются, и поэтому поэт неоднократно совершает поездки на любимый континент, чтобы заново очутиться в тех ситуациях, которые он пережил когда-то во время путешествий несколько лет назад. В стихотворениях (как например, *Мадагаскар*) часто звучат ностальгические тона, тоска по покинутым краям.

Сердце билось, смертно тоскуя,
Целый день я бродил в тоске,
И мне снилось ночью: плыву я
По какой-то большой реке.

Роль сна в поэтическом мире Гумилева тесно связана с темой культурной и персональной памяти, играющей столь важную роль в поэтической культуре акмеистов. В поэзии Гумилева во сне могут появляться знакомые или любимые края, или же возрождаются первичные персональные впечатления, хранимые в глубине памяти поэта. Деятельность творческой памяти может активизироваться перцепцией разных предметных деталей, связанных с далекими странствиями по африканскому континенту, или же восприятием конкретного художественного произведения, запечатляющего этот мир (*Абиссиния*) (см. ЭГЕРЕШ 2004):

Есть музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.

Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалека привез,
Чуять запах их странный, родной и зловещий,
Запах ладана, шерсти звериной и роз.

И я вижу, как знойное солнце пылает,
Леопард, изогнувшись, ползет на врага,
И как в хижине дымной меня поджидает
Для веселой охоты мой старый слуга.

Поэта манит мир Африки как колыбель цивилизации, ведь Египет был одним из первых культурных центров древнего мира. Здесь вновь возникает вопрос о понимании центра и периферии мира культуры в европейском сознании. Могущество бывшего великого государства, Египта, для современного европейского человека уже потеряло свое значение, но вопреки этому, Европа не перестала стремиться к этому культурному региону – сфинкс и пирамиды для него вплоть до наших дней символизируют минувшую власть древних фараонов-богов, являясь важными хронотопами культурной памяти.

В настоящей статье не ставилась задача обширного анализа сборника «Шатер», в ней были лишь выдвинуты основные аспекты для осмотра мотивной структуры этого сборника. Эти аспекты на последующих этапах исследования должны быть рассмотрены в более широком контексте, на материале анализа ранних сборников стихотворений и в прозаических произведениях поэта.

Литература

Баскер 2000: Баскер М. Ранний Гумилев: Путь к акмеизму. Санкт-Петербург.

Восток–Запад 1989: Восток–Запад: Литературные взаимосвязи в зарубежных исследованиях. Москва.

Гумилев 1991: Гумилев Н. С. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. Москва,

Лукницкая 1990: Лукницкая В. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Ленинград.

Слободнюк 1994: Слободнюк С. Л. Элементы восточной духовности в поэзии Н. С. Гумилева // Николай Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. Санкт-Петербург, 164–186.

Тименчик 1987: Тименчик Р. Николай Гумилев и Восток // Памир. 1987. №3, 123–136.

Эгереш 2004: Эгереш Ж. Формы визуального воплощения культурной и персональной памяти в стихотворении Н. Гумилева *Египет* // Studia Russica XXI. 2004. Budapest. 94–100.

Чудинова 1988: Чудинова Е. П. К вопросу об ориентализме Н. Гумилева // Филологические науки. 1988. №3, 9–15.

Barta 2000: Barta I. P. Gumilyov's Africa in Context // Essays in Poetics. The Journal of the British Neo-Formalist Circle. Keele University. №25, 2000. 153-168.

Nyakas 1999: Nyakas T. Встреча Востока и Запада с Красотой в «Фарфоровом павильоне». (Стихотворение, написанное кистью) // Русская литература между Востоком и Западом. Budapest. 96–105.

Abstract

Remarks on the System of Motives in the Poem Cycle, *The Tent* by Nikolai Gumilyov

Nowadays there is a widespread interest – just as in the art of the turn of the 19th and 20th century – in the lyrical and prose works of Nikolai Gumilyov, above all in those related geo-culturally to the East and Africa.

Analyzing the poem cycle *The Tent* by Gumilyov the basic motives that are associated with the East and Africa in order to contribute to the so far little examined topic 'Gumilyov and Africa', which has not been thoroughly studied so far. The verses of *The Tent* are unified in terms of topics, poetic interpretation and motives.

The essay emphasizes that Gumilyov's work is stimulated not only by his fascination with geographical exoticism and biographical elements. However, Gumilyov's interest in the Black Continent is influenced by the crisis of cultural values in the early 20th century, as well as by his search for artistic utterance that meant exploring a new cultural medium and peripheral areas both in cultural and geography. What can be seen in his poems outlined is the artist's – the lyrical ego's – road, originating party in reality, party in his poetic imagination.

The unity in the motives of the poems can be traced back to different natural elements, such as the wind, the sun, and the sand which bears a twofold effect: they are constructive on the one hand, and destructive on the other. As far as the metaphors are concerned, this twofold effect is, among others, expressed by comparing the dunes of the desert to the waves of the sea, or to the various functions of the organs of sense, for example visions and dreams, where artistic imagination and physical reality overlap, and dream and wakefulness merge.

The role of dreams in Gumilyov's poetry is closely connected to cultural and personal elements, and plays as vital a role as in the artistic works of the Acmeists.

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

THE GOLDEN AGE AND NARCISSUS
THE EXPLICIT AND IMPLICIT MYTH IN "STAVROGIN'S CONFESSION"[1]

REICHMANN Angelika

Stavrogin's confession, which is probably the most debated section of Dostoevsky's *Devils*[2], plays a crucial role in defining the main character's enigmatic identity, since this is practically the only occasion when his silence is broken. The "confession" is Stavrogin's first person narrative of his own identity[3], which retrospectively reinterprets all other narratives about him. Apparently, all the mysteries surrounding him are solved, Stavrogin's "final" and "true" word stops the infinite shift of meanings and ends the signifying chain (LACAN 1972; LACAN 1981; GOULD 1981: 51–52). This "appearance", however, is revealed as the "real" key to understanding the confession: it is the myth of the Golden Age which explicitly appears in it as a text literally shedding light on the story of Stavrogin and Matryosha in the moment of epiphany and thereby fulfilling its sacred interpretative function (GOULD 1981: 6). And Stavrogin, the author of the confession, makes sure that the myth should definitely appear for the reader as the climax of the whole scene: he embeds it in multiple frames and separates it from the rest of the confession stylistically (GROSSMAN 1996: 611). What is covered up by this luminous appearance is the ultimate importance of appearance itself, the implicit myth of Narcissus: in the dialogic situation of the confession Stavrogin acts out the role of Narcissus looking at his own "appearance" – that is, reflection – in his text alienated from

[1] The present study is the much shortened English version of the first larger section of the chapter on Dostoevsky's *Devils* in my PhD dissertation written in Hungarian. In my analysis I argue that the explicit myth of the Golden Age and the implicit myth of Narcissus appearing together in Stavrogin's confession form such fundamentally contradictory, but still inseparable paradigms in the whole novel which facilitate a deconstructive reading of the entire text. Thus, the analysis of the short section of the text generally called "Stavrogin's Confession" actually serves as the starting point and model for a deconstructive mythopoetic reading of the entire novel. Since the dissertation includes a separate chapter on the theoretical background of my analysis, this paper contains only short references to critical writings, but does not enlarge on their relationship and interpretation. The article has been completed with the assistance of the Eötvös Scholarship supplemented by a grant from the Hungarian Ministry of Education (OM).

[2] The chapter entitled "At Tikhon's" is a philologically problematic section of the novel, and this fact is also reflected in the critical reception of the Devils. The present study is based on the 1996 critical edition of the novel (DOSTOEVSKY 1996), and adopts its editor's standpoint, according to whom in the reception history of the *Devils* the problematic chapter has become a unalienable part of the text in readers' consciousness and for this reason it should be published in its original place, as Chapter 9 of Part 2 (SARASKINA 1996). The English quotations are all based on (DOSTOEVSKY 1958) and for this reason only the page numbers are indicated in brackets after them.

[3] On aspects of narrative identity see (RÁKAI–KOVÁCS 2003).

himself, just like in the eyes of his experimental reader, Tikhon and his imaginary would-be readers. The phenomenon of mirroring, a central metaphor of the Narcissus myth, is also characteristic of the interrelationship of the confessional situation and the confession related in the form of a printed pamphlet, of the four narratives included in the confession and of the multiple frames embedding the mythical narrative. Consequently, if the "confession" retrospectively reinterprets the earlier narratives of Stavrogin's identity, it does so by oscillating between the paradigms and partly overlapping metaphors of the myth of the Golden Age and of Narcissus.

"The Golden Age"

By embedding it in the frame of a dream, the mythic vision that forms the climax of the confession represents the universal myth of the Golden Age as Stavrogin's personal myth and thereby makes it the key text of the narrative of his identity. Though Stavrogin's direct references to both the Greek and the Christian versions of the myth (471) make it most explicit in the text, the mythic quality of the vision would be clearly recognisable even without them: with its "gentle blue waves, islands and cliffs, a luxuriant shore [...] a beckoning, setting sun" and with its inhabitants, who are the "beautiful children" of the sun (471), it is obviously a world of total metaphor, the Golden Age (KIRK 1973: 232–237), the Isles of the Blessed (KIRK 1973: 227, 229) described through "apocalyptic imagery" (FRYE 1971: 141–146). Since the well-known myth, however, appears in the frame of a dream, its personal, psychological motivation is emphasised. On the one hand, the dream is externally and rationally motivated by Stavrogin's reference to seeing Claude Lorrain's painting, since the experiences of the previous days often leave their traces in the dream content (FREUD 1976: 69–81). On the other hand, the image in the painting becomes an internalised and irrational mythic experience, having its roots in the – rather collective than personal – unconscious (JUNG 1971: 59–69; FREUD 1976), when Stavrogin declares that "this picture [...] appeared to me [...] as if it were the real thing" (471). Thus, when Stavrogin strives to tell his dream, he makes an attempt at verbalising the unspeakable, an attempt at the historisation of a censored chapter of his unconscious, and thereby at defining his identity (LACAN 1981: 20–24).

The dream and Stavrogin's reaction to it realise a moment of epiphany in both Northrop Frye's and James Joyce's sense of the word. In Frye's terminology it is "the point at which the undisplaced apocalyptic world and the cyclical world of nature come into alignment" and one of "its most common settings" is the island (FRYE 1971: 203). Such a meeting of the mythic world of the paradisiac island in Stavrogin's dream and of the natural world of the present surrounding him is self-evident in the text. The connecting element between them is supplied by "the slanted rays of the setting sun" (472), which form a part of both Stavrogin's dream and "reality" and consequently become the very metaphor of the epiphanic moment. In the context of the Golden Age the "setting sun's bright, slanting rays, bathing [Stavrogin] in light" (472) evoke a vision of golden light, and gold is a

central element in the apocalyptic, that is, undisplaced mythical world (FRYE 1971: 146). This mythopoetic interpretation can obviously be related to the theological one, according to which light – especially golden light – symbolizes divine wisdom (FLORENSKY 2001: 584–597). The Joycean concept of epiphany follows the same train of thought: for him it is a sudden moment of insight resulting in the recognition of some hidden truth, an enlightenment, and consequently it often leads to a crucial turn in the character's fate (CUDDON 1992: 297–298). This sudden moment of insight is nothing but the understanding of Stavrogin and Matryosha's "forgotten" story, which is also brought back by the slanting rays of the setting sun: "I closed my eyes again quickly, as if yearning to recapture my passing dream, but suddenly, amidst the very bright sunlight, I noticed a very small spot. It acquired a shape, and all of a sudden I clearly saw a tiny red spider. At once I recalled the one on the geranium leaf, when the slanting rays of the setting sun were pouring down in the same way. Something seemed to pierce me, I raised myself and sat up in bed..." (472) At this point the "slanting rays of the setting sun" come to connect three temporal dimensions – the mythic past or eternal present of the vision, Stavrogin's present and his personal past – and correspondingly three psychological realms: the collective unconscious, the conscious and the personal unconscious. The latter is represented by the repressed events of Stavrogin and Matryosha's story, which is brought back from oblivion by the joint and contradictory images of the sunlight and the tiny red spider breaking it. The inseparable presence of these images reveals the fundamentally contradictory nature of the epiphanic moment of Stavrogin's dream and of his memory – his personal unconscious. His cathartic reaction to the dream – as he says, "when I woke up and opened my eyes, for the first time in my life literally awash with tears. A feeling of happiness yet unknown to me invaded my heart until it hurt" (472) – turns into a highly emotional reaction to his hitherto repressed personal past and culminates in his vision of the threatening Matryosha. The moment of epiphany is thus fully realized in both senses of the word: through the image of the golden rays of the setting sun not only the mythical and natural worlds are connected, but a sudden moment of insight into Stavrogin's own unconscious is also represented, an element of his life which was meant to be repressed without interpretation is (literally) seen in a new light and becomes an object for interpretation through the cathartic experience of his mythic vision.

Thus under the influence of the epiphanic moment Stavrogin is forced to interpret the action gratuite (FEHÉR 1972: 215–220) retrospectively: from the amoral standpoint of the intentional forgetting of the uninterpretable event through its interpretation as a (mythical) sin and the source of a possible sense of guilt he arrives at the masochism of intentional remembering. Stavrogin emphasises that Matryosha's death, similarly to his other sins, initially left no trace in his memory – and on his conscience: "I mention this precisely to show to what extent I could control my recollections and how indifferent I'd become towards them. I used to reject them all *en masse*, and they would obediently disappear each time *en masse*, as soon as I wanted. I always found it boring to recollect the past, and could never talk about it, as most other people do. As far as Matryosha is concerned, I even forgot her pic-

ture on the mantel" (471). Stavrogin claims to be no less than a man without a past, which leads to significant psychological, narrative and ethical consequences. Firstly, forgetting means the repression of the traumatic moment into the unconscious without working through and exactly because it cannot be worked through (FREUD 1958). Thus, by ironically forgetting Matryosha twice Stavrogin testifies to the exact opposite of what he consciously seems to aim at: to how strongly his unconscious strives to hinder the repressed element from returning and to how unable he actually is to cope with it. Secondly, Stavrogin's claim to be free from a need for the historisation of his past (LACAN 1981: 20–24) implies that he does not create narratives to define his identity and is also free from the desire to create a meaningful version of his life-story and find a listener (BROOKS 1984: 33). Thirdly, since in Christian thinking the issue of remembering and forgetting is inseparably tied to the ethical moment of forgiving (WEINRICH 2002: 232–249), Stavrogin's statement also implies that for him making a confession, showing repentance and gaining absolution are completely unnecessary for being able to forget his sins. All in all, he is not only a man without a past, but also a man without a history and identity[4] standing outside moral norms. However, as Bakhtin also points out (BAKHTIN 2002: 273), the confession, which aims at nothing but remembering and reminding (JANION 2004: 130), paradoxically undermines all these implications.

Stavrogin's move from forgetting to remembering and interpreting is effected by his mythic vision, whose interpretative function is fulfilled through the contraposition of the motifs of the dream and Matryosha's story. The "tiny red spider", which appears as a counterpoint to the slanting rays of the setting sun and evokes the girl's story, is the starting point of a whole metaphorical chain: "I stood on tiptoe and looked through the chink. At this very moment, standing on tiptoe, I recalled that as I was sitting by the window, staring at the red spider, and had dozed off, I had thought about how I'd stand on tiptoe and put my eye to the chink in the door. [...] I stared through the chink for some time; it was dark there, but not totally. At last I could discern what I needed to... I wanted to be completely sure. At last I decided I could leave and went down the stairs" (468–469). Firstly, the motif of the spider is related to Stavrogin's desire, to the forepleasure (FREUD 1953: 153) gained from imagining Matryosha's death while he is waiting for her suicide like a spider in its web. Then, pleasure and desire are connected to the motifs of voyeurism and the chink – the gap – both literally and figuratively: Stavrogin, the voyeur, cannot actually concretize either his presentiment about Matryosha or what he really discovers in the dark and therefore both his desire for seeing her dead and the fulfillment of his desire form a conspicuous gap in the text. The chain starting with the "tiny red spider" and ending in the unspeakable death of the child and Stavrogin's unnameable and transgressive desire is all compressed into the "very

[4] Cf. Léna Szilárd's interpretation, according to whom the *Devils* is "an encyclopaedia of an obsessive search for roles", which is the consequence of the absence of real selfhood in the novel (SZILÁRD 2001: 25). Stavrogin's action gratuite, on the other hand, is an attempt "to check his authenticity" (SZILÁRD 2001: 34), that is, to prove that he has an identity of his own.

small spot" (472) – another gap – which breaks the bright sunlight and shatters the dream of the Golden Age. Consequently this breaking-point is the metaphorical equivalent of the moment of the loss of the "earthly paradise" (471), since Matryosha's story is the re-enactment of the destruction of childlike innocence often associated with the Golden Age (HAJNÁDY 2002: 267). Thus in the retrospective interpretation supplied by the mythic vision of the Golden Age the narrative of Stavrogin's unnameable desire becomes the moment of his mythic fall, in which he himself plays the role of the snake or the mythic dragon representing chaos (ELIADE 1996: 42–43).

Stavrogin's epiphanic moment leads to an ethical turn in his behavior, which is most clearly embodied in his confession: to his forced remembrance. Though he rejects even the idea of repentance, and admits only a recollection of the events devoid of all its ethical content, his masochistic remembering of Matryosha's vision as if it was his self-inflicted penance clearly shows that not only the psychological and narrative, but also the ethical aspects of Stavrogin's identity are affected by this reinterpretation: "Perhaps it's not the recollection of the act that I find so loathsome even now. Perhaps even now that recollection contains something that appeals to my passions. No – what I find intolerable is solely this image, namely, her in the doorway, threatening me with her raised fist, just her appearance at that moment, that one minute, that shake of her head. That's what I can't stand because that's what I've been seeing ever since, almost every day. It doesn't come of its own accord; I summon it and can't help doing so, although I can't live with it. [...] I have other memories of the past that perhaps go one better than this one. [...] But why doesn't a single one of these memories make me feel anything similar? [...] I know I could dismiss that little girl from my mind even now, if I wanted to. I'm in complete control of my own will, as always. But the whole point is that I never have wanted to do that, I don't want to now, and I never will want to; I know that by now. So it'll go on right up to the point where I go mad" (472–473). The inevitable return of the repressed thus turns into intentional recollection resulting in his desire for the historisation of the unconscious and the creation of a narrative of his identity. This is the very desire that urges him to write his confession. And here the circle is closed: the mythic vision leads to a narrative which verbalises Stavrogin's identity explicitly in the language of total metaphor, as myth. However, his split consciousness is reflected in the emergence of a disunited, heterogeneous, self-contradictory narrative instead of a unified story which would resolve all the ambivalences of his identity: the traumatic nucleus of his unconscious is illuminated on the one hand in the vision of the Golden Age, on the other hand in Matryosha's story, which is put in the mythic context of the fall and paradise lost by this self-same vision. Ultimately, the myth is meant to interpret the unspeakable – the unconscious, desire, death and nothing – but because the narrative, due to its heterogeneity, retains its ambivalence and is inevitably metaphorical, the issue of Stavrogin's identity is still left open after the confession.

"Oh, Mirror, Mirror..." – The Myth of Narcissus

In "Stavrogin's confession" there is a special mixture of the literary traditions of the confessional genre, the confessional situation and the foreshadowing of the psychoanalytic situation. From the point of view of psychoanalytic literary criticism these components are related to the paradigm of the myth of Narcissus through such links as psychological Narcissism (HOLMES 2001), the mirror stage (LACAN 2002) and the coming into being of the subject through its entry into the Symbolic (LACAN 1981). Relying on Lacanian notions, in her retelling of the myth Julia Kristeva directly claims that it plays a special role in the history of Western European subjectivity: through facing his mirror image Narcissus realizes that he lives "in the universe of signs" and his efforts to decode these signs result in the emergence of consciousness (KRISTEVA 1995: 51–52). The mirror and its metaphors have become the emblematic key metaphors of the myth and its versions in the psychoanalytic discourse. And these are the metaphors which play a crucial structural role not only in "Stavrogin's confession" but also in the entire text of the *Devils*. In the confessional situation Stavrogin appears as Narcissus looking at his own image in the mirror of the text he himself has created, but, similarly to the beautiful youth, he must realise that the process of mirroring is infinite, the narrative of his identity can be terminated only by death. The madness of chiasmus and the death wish, which paradoxically appears as the only way to fixing his identity, are the only two (or rather one?) options left open by his confession, thus foreshadowing the possible outcomes of the whole novel.

1. Narcissus' *Confessions*

The special form of the "confession" in the strict sense of the word is related to three issues to be interpreted within the tradition of confessional literature: the implications of the confession as a printed "political pamphlet" (460); its stylistic features, including orthography; and the alternation of shame and exhibitionism.

The format of the pamphlet is incongruous with the communicative situation of either the religious or the literary confession, since, on the one hand, it places the confession in a political context, on the other hand, the very fact of printing undermines the spontaneity which is characteristic of oral confessions and whose illusion confessional literature strives to create with its special stylistic features. The narrator's introduction creates the impression that Stavrogin's text concerns the whole nation and is so revolutionary that it must be hidden from the police: "The print was indeed foreign – three small sheets of ordinary writing-paper, closely printed and stitched together. It must have been published secretly at some Russian printing press abroad, and at first glance the pages closely resembled a political pamphlet. The heading read: 'From Stavrogin'." (460)

The very heading implies partly that the writing is the embodiment of Stavrogin's identity, partly that his personality is known nationwide and therefore his name is a sufficient title. As a result, similarly to the only other pamphlet in the novel, "The Noble Character" (371–372), which is Peter Verkhovensky's self-

created enlargement of his insignificant personality (402), "Stavrogin's confession" must be treated with some irony. Another problem related to the issue of identity also emerges from the temporal distance between the moments of its writing, printing and reading: the Stavrogin giving the confession to Tikhon and promising its publication cannot be identical with the author of the text, just as the author cannot be the same as the subject reflected in the narrative (LACAN 1972: 312). Though the pamphlet is an attempt to define Stavrogin's identity in a narrative with political significance, its form achieves exactly the opposite result.

Since the subject emerges as a result of the entry into the Symbolic, through language, the linguistic features of the confession are of outstanding significance. The narrator's introduction highlights two related aspects, orthography and stylistics: "I shall insert this document verbatim in the chronicle. [...] I've allowed myself to correct only the rather numerous spelling errors, some indeed quite surprising, since the author was an educated man after all, and even well read (relatively speaking, of course). I've made no changes in the style, in spite of irregularities and even some obscurities. In any case it's perfectly clear that the author was above all not a man of letters" (460). Concerning the spelling errors, which are nothing but the "slips of the tongue" of the unconscious (FREUD 2001), their correction means that the narrator, though he promises to relate the confession "to the letter" ["буквально" (DOSTOEVSKY 1996: 266)], ultimately still rewrites Stavrogin's only "authentic" self-definition. Concerning the stylistic features, the narrator here testifies to surprising blindness himself, since they reveal that "the author *was* above all a man of letters". Both Leonid Grossman and Yeleazar Meletinsky analyse Stavrogin's confession as an excellent specimen of the tradition of confessional literature, clearly in the wake of Rousseau. While Grossman emphasises the stylistic similarities (GROSSMAN 1996: 609–613) and Meletinsky the psychological ones (MELETINSKY 2001: 61), including the reminiscence of some elements of the plot of the *Confessions*, neither of them relate these features to Stavrogin's identity. Stavrogin actually points out the literary model he follows by a direct reference and thereby emphasises that his text is a stylisation: "Having indulged until the age of sixteen with unusual immoderation in the vice to which Jean-Jacques Rousseau confessed, I ceased doing so at the age of seventeen, just as soon as I so decided" (462–463). The sentence reveals not only the similarity of a seemingly redundant detail of character, but also a more significant similarity of the narrative strategy of hiding and revealing applied in the two confessions: since Stavrogin still finds the practice of adolescent onanism unnameable, he sends his readers to the famous literary forerunner, who actually also substitutes it with euphemisms (ROUSSEAU 2001: I/117–118). The conscious following of Rousseau's model means that Stavrogin reads himself in the context of an already existing literary text and by producing a stylisation as the only authentic text of his identity he actually writes himself "into" Rousseau's text: his "confession" is only one of his potential "literary roles"

(SZILÁRD 2001: 31–32), which he Narcissistically performs for himself, his imaginary audience and Tikhon[5].

The similarities of "Stavrogin's confession" and Rousseau's *Confessions*, especially the parallels between the scenes of stealing the penknife and the ribbon (MELETINSKY 2001: 61), call attention to the dialectic of hiding and revealing, that is, shame and exhibitionism, so central in the "Rousseau-like role". Paul de Man points out two kinds of desire and two kinds of shame behind Rousseau's "excuses" for his false charges against Marion: "As the ribbon changes hands it traces a circuit leading to the exposure of a hidden, censored desire" (DE MAN 1979: 283). The first, most obvious one is related to possession, Rousseau's desire for Marion. The second, more important one is the shameful "exposure of the desire to expose oneself" (DE MAN 1979: 285), which actually generates the text – and more and more text: "The more there is to expose, the more there is to be ashamed of; the more resistance to exposure, the more satisfying the scene, and especially, the more satisfying and eloquent the belated revelation, in the later narrative, of the inability to reveal. This desire is truly shameful, for it suggests that Marion was destroyed, not for the sake of Rousseau's saving face [...] but merely in order to provide him with a stage on which to parade his disgrace [...]" (DE MAN 1979: 285–286). In "Stavrogin's confession" the story of the penknife and Matryosha's punishment is also centred on shame and desire, which is the more significant because it is a metaphorical foreshadowing of the scenes of her seduction and following suicide. There are, however, at least two major differences. On the one hand, Stavrogin is clearly conscious of his desire to create a shameful situation, he admits that he was even willing to lie in order to do so: "It occurred to me at once not to announce the discovery so the girl would be given a beating" (462).While telling how the girl suffered her punishment without a cry (461), he goes into a seemingly unrelated excursion on how much pleasure he finds in shame, in "utterly disgraceful, immeasurably humiliating, despicable [...] situation[s]" (462), revealing an ambivalent mixture of feelings which amounts to abjection of the self (KRISTEVA 1982: 5). It is only then, that partly projecting his own feelings on Matryosha, he interprets her silence as a sign of her shame: "she must have felt some disgrace at having been punished that way with me there; she hadn't screamed when she was hit, only sobbed, no doubt because I was standing there watching it all. But like a child she blamed only herself for her disgrace" (463). Since the phallic symbolism of the penknife (FREUD 1976: 470) defines the scene as a foreshadowing of Matryosha's seduction and suicide, the same motivation can be analogically applied to her silence and self-inflicted punishment then. Just like Marion, she has to be destroyed – and much more literally than the object of Rousseau's desire – so that a desire for shameful exposure should be fulfilled, but Stavrogin exposes even this desire consciously. On the other hand, as opposed to Rousseau, he makes no "excuses" for

[5] Bakhtin also points out, that Tikhon's words reveal his recognition of the dialogic nature of „Stavrogin's confession", that is, that he has created his text for his imaginary would-be audience (BAKHTIN 2002: 270–274).

his crime, on the contrary, he wants to avoid all appearances of repentance and a need for absolution which could effect the forgetting of his crime. He is rather afraid of the possibility that his reader might find some fatal extenuative for him – like temporary madness in the case of his misdoings in his hometown – which would annihilate his crime and send it to oblivion – together with him. Since the only evidence of the crime is actually his confession, he stubbornly repeats his claims of sanity: he needs his crime to make his only authentic story narratable at all (BROOKS 1984: 108), so that this crime acquiring mythic dimensions through the interpretative context of the Golden Age should define his identity. In his case the mechanism of shame is based on the oscillation of his openly declared desire for exposure as such, including the exposure of crime and the annihilation of this crime resulting in the exposure of nothing. His utter shame would be the disintegration of his textual image – a mere appearance – in the moment of revelation, just like the disappearance of Narcissus' reflection in the water.

2. Narcissus' Shame – The Image Shattered by Laughter

The emphatic literariness of "Stavrogin's confession" makes it possible to read it as the dialogue of the author and his experimental audience, in which both the motivation of writing and the reader's reaction are centred on Narcissism, shame and laughter. While realising the heightened self-reflexive nature of the dialogic confession (BAKHTIN 2002: 294–295) Tikhon actually charges Stavrogin with Narcissism. His claim that Stavrogin writes "as if [he] revels in [his] own psychology" (475), which reads in Russian as „вы как бы любуетесь психологией вашею" (DOSTOEVSKY 1996: 276) and contains the reflexive verb любоваться – revel etymologically related to the verb любить – love, implies that he sees Stavrogin as Narcissus in love with his own self. Tikhon proceeds to give an aesthetic analysis of the form and contents of the confession and becomes the experimental reader on whom Stavrogin provokes the potential reaction of his confession and who realises his most hidden fear seeing him as the laughingstock of people. As an "amateur" theoretic of the comic, Tikhon traces the source of ridiculousness in the "ugliness" (478), in Russian in the „некрасивость" (DOSTOEVSKY 1996: 278) of the crime: he expresses it as the lack of both aesthetic and moral beauty, thereby inflicting a truly Narcissistic wound on Stavrogin. The emphasis is transposed on the aesthetic aspect of the crime with the use of the adjective "picturesque" (478), which puts appearance, the picture in the centre of attention. The crime and the text of the confession, which turns this crime into the narrative of Stavrogin's identity, metaphorically become Stavrogin's ugly (mirror) images, and since he is moved by "the aesthetic drive" (JANION 2004: 129) the lack of beauty has an utterly destructive power. Tikhon, as if giving a (deconstructive) critical interpretation of the confession within the novel, reveals Stavrogin's Narcissistic fear of being shattered by laughter, which is the exact opposite of his open claims of finding pleasure in becoming the laughingstock of people (462).

3. Narcissus' Mirrors

Stavrogin and Tikhon's dialogue, like all confessions, can be interpreted in the context of the psychoanalytic situation (BROOKS 2000: 35), which puts such elements in the centre of attention as the roles of the analyst and analysand, the issue of transference and the mirror with its metaphors. The latter relates the issue directly to the notions of Narcissism. Their analysis reveals that the confession given in the frame of the confessional situation and the narratives included in it function as an infinite labyrinth of mirrors, which results in constant shifts of meaning in Stavrogin's narrative of his identity and ultimately in the phenomenon of chiasmus.

"Stavrogin's confession" includes all the possible combinations of the roles of analyst and analysand played in the analytic situation. While his "voluntary" confession, the pamphlet handed over to Tikhon, casts the role of the analysand on Stavrogin, his much more interesting "involuntary" confession[6] expressed by his behaviour in the confessional situation reveals his actual rejection of the analysis: 'Listen, I don't like spies and psychologists, at least not the kind who pry into my soul. I don't invite anyone into my soul; I don't need any help; I can get along on my own. [...] I want you to know that I won't reveal anything to you, no secret at all, because I have no need of you whatsoever' (459). While Stavrogin rejects the analysand's role, the form of the confession makes it possible for him to usurp the analyst's position, in relation to both himself and Tikhon. On the one hand, by objectifying his confession in a printed document, Stavrogin deprives it of all its metacommunicative elements and makes his textualised identity the object of their common analysis. On the other hand, relying on Tikhon's analytic comments he starts to analyse Tikhon himself. In addition, Tikhon shows surprising similarities with Stavrogin: they both assign outstanding significance to the same Biblical quotation and they are both able to give a comic reading of the confession. All in all, their mutual analysis and absolution and their mirror-like reflection of each other undermine the originally hierarchical power positions of the confessional/analytic situation and by subverting any authoritative interpretation prevent the closure of the potential meanings of the text.

Transference, the emotional relationship characteristic of both confessional and analytic situations (BROOKS 2000: 35), appears in Stavrogin's transferring all his affection towards his missing father, both biological and symbolic, on Tikhon, with all the ambivalences typical of this complex phenomenon. The fact that Stavrogin, behaving like all confessants and analysands, repeats a traumatic childhood experience and casts the role of a parent on the analyst thereby hindering the analysis itself (LACAN 1988: 240–246), is shown by his calling Tikhon "Father" twice at the end of his confession (482). The metaphorical sense of the apostrophe is not neutralised by Tikhon's priesthood, because if Stavrogin took it seriously, he would call him "Father" from the beginning of their dialogue. The elements of this ambivalent and complex emotional relationship are the simultaneous declaration and

[6] On the differentiation of "voluntary" and "involuntary" confession and the importance of the latter cf. (BROOKS 2000: 52–53).

negation of Stavrogin's love, the fulfilment and rejection of Tikhon's presumable expectations, the casting of the roles of both the forgiving and the punishing father on Tikhon and finally the simultaneous declaration and negation of Stavrogin's need for him. First, Stavrogin flatly declares that he "likes Tikhon very much" (458), then goes back on his word and by calling him a psychologist and a spy (459) he indirectly expresses his hatred for him. Second, Stavrogin refuses to reveal any of his secrets exactly because he supposes that this is what Tikhon expects him to do (459), and then a couple of sentences later he hands him his pamphlet. Third, Stavrogin conforms to Tikhon's assumable expectations with his words about absolution and his desire to forgive himself and at the same time casts the role of the forgiving father on Tikhon, which corresponds to the traditions of the religious confessional situation acting out the reacceptance of the repentant child into parental love through absolution (BROOKS 2000: 46). At the same time Stavrogin almost forces Tikhon to show him in a ridiculous light and thereby to act out the role of the judging and punishing father. All these ambivalences gain a special importance with respect to Tikhon as a potential avatar of the symbolic Father, an embodiment of Law and Language (LACAN 1981: 23) in Stavrogin's eyes. Thus their dialogue metaphorically re-enacts the moment of the entry into the Symbolic, the moment of the emergence of the speaking subject par excellence, which at the same time is the annihilation of the transgressive incestuous symbiotic relationship with the mother. Tikhon's affinity to Language is exemplified by his stylistic analysis of the confession, while his role as the Law is illustrated by his passing judgment on Stavrogin with the words of the Bible and becoming the voice of sacred divine law. It is according to his role as the Law restricting the incestuous desires of the child that Tikhon points out the transgressive unity of mother and son, Stavrogin's "strong, inner, spiritual likeness" to his mother (454). Stavrogin refuses the idea "growing anxious again for no reason and insisting excessively without knowing why" (454), and it is this very disproportioned emotional reaction that implies the closeness of the neurotic nucleus: the identification Tikhon suggests is unacceptable because it means remaining outside the Symbolic and therefore the annihilation of any identity. Consequently, Stavrogin and Tikhon's dialogue with the subversion of the analyst's power position, with the transference of the ambivalent feelings for the father on Tikhon and with the probing of the limits of language itself so apparent in the style of the confession becomes a simultaneous acceptance and rejection of the power of the Father. The moment of acceptance is necessary, since the subject ceases to exist outside Language and even transgression only makes sense because of the existence of the Law. However, "in the world of the *Devils* the role of the father is unplayable" (SZILÁRD 2001: 27): Tikhon ultimately does not, cannot undertake the role of the father, but sends Stavrogin on to an elder. This visit eventually does not take place, the events of the novel, as Tikhon prophetically foresees, are heading for Stavrogin's unavoidable catastrophe: the crucial identification with the symbolic Father is impossible, Stavrogin returns to silence after the confession, then finally leaves the realm of Language and the Law.

Since in the *Devils* the identification with the metaphorical Father and thus the overcoming of the dialectics of "to be or not to be" in the phase of primary Narcissism (LACAN 2002: 68; FÜZESSÉRY 1993: 56–57) proves to be impossible for Stavrogin, the text of the confession – and of the entire novel – becomes a labyrinth of metaphorical mirrors. These mirrors show Stavrogin's alienated ego ideals, with whom he has a most ambivalent relationship: his feelings are characterised by a desire of both union and aggressive destruction at the same time. Strangely enough, actual mirrors are of little importance in the novel: playing the peacock in front of the looking glass is allowed only to such half-comic characters as Stepan Trofimovich. The richer the novel is in metaphorical mirrors, out of which the confession highlights the text-within-the-text, the painting (work of art), the frame, the look and voyeurism (the eye), the window and the double[7]. The framed confession is structured according to the principle of the text-within-the-text in several ways and includes narratives mirroring each other which are organised by different metaphors of the mirror. The interpretation of these metaphors is only possible within their own context, therefore the present analysis reveals their reoccurrence through the individual analysis of the narratives. The apparently undividable inner nucleus of the framed narratives is Stavrogin's dream, which pretends to have the interpretative status of the sacred text and as such, can serve as the basis of a reading directed "outwards" and ending with the interpretation of the frame. Undermining this apparently linear reading, the metaphorical mirrors call attention to the interminable nature of not only analysis, but also of narrative identity (BROOKS 2000: 53) and their effect is rather similar to Lévy-Strauss's metaphorical room of mirrors representing mythical thinking (GOULD 1981: 107).

The dream forming the kernel of the confession does not close the phenomena of text-within-the-text and mirroring but rather makes them infinite with its metaphors. The vision of the Golden Age is embedded in multiple frames: those of the confessional situation, the chronicler's short introduction, the text of the confession, within that the narrative of Stavrogin's journey and finally the dream situation separating the vision from "reality". The apparent closure created by the myth, however, is undermined by several phenomena: on the one hand, frames themselves are blurred, on the other hand, the framed vision itself is a picture and a mirror, while picture and frame exchange positions. Firstly, the undermining of boundaries plays a crucial role in the narrative of the vision, since the dream situation in itself embodies the passage between life and death and the conscious and the unconscious, while Stavrogin also emphasises that his dream seemed to be reality and it apparently continued in reality. By connecting the outside and the inside, the present and the past, the natural and the apocalyptic worlds the metaphor of the rays of the setting sun washes away spatial and temporal boundaries. The dream of the Golden Age is inseparable from Matryosha's vision, which also undermines the binary oppositions of reality and imagination, life and death and the present and the past. Secondly, the myth of the Golden Age is also a picture

[7] On traditional metaphors of the mirror cf. (BEKE 1995: 92).

transmitted through several reflections. The literary source of the myth, maybe originating in the collective unconscious (KIRK 1973: 273–279), is the work of Hesiod. In Stavrogin's consciousness an actual painting (of a different myth), Claude Lorrain's *Acis and Galatea* is reflected as the image of this myth. However, it surfaces from his unconscious – triggered by the painting – to become an extended narrative. In addition, this mythic narrative, though it appears to be the nucleus of the confession, actually inverts hierarchical and spatial positions and plays the role of its external interpretative framework. This mythic interpretation of Stavrogin's identity, in its turn, with its strong ethical strain through the intricate meanings of the metaphor of the sun(light) undermines the binary opposition of ethics and aesthetics embodied in the perfect beauty of the Golden Age. First it comes to signify the eye of God, divine wisdom[8], the luminous mirror[9] shedding light on the narrative of Stavrogin's identity, which appears as "a very small spot" (472), takes the form of the "tiny red spider" (472), then evolves into Matryosha's vision leading to the emergence of the confession. Paradoxically, the sun is also a metaphor of Stavrogin's identity, since he appears as the source and spectator of the dream, that is, as an eye/mirror both reflecting light and pretending to be its source. Though Stavrogin is forced to accept Matryosha's story as the narrative of his "real" identity, the vision of the Golden Age keeps haunting him as the narrative of his desire for another alienated identity, lost forever in the moment of the fall. Thus the sacred text of the myth fulfils its interpretative function rather by opening up the potential closures of interpretation by undermining binary oppositions and including metaphorical shifts and mirror-like inversions.

The three other narratives included in the confession appear as variations on some repeated motifs and thus mirror each other. Since the stories of Stavrogin's theft and marriage emphasise some elements of the most elaborated narrative of Matryosha's story, in itself structured on gradation and repetition, the narratives mutually read each other. The myth of the Golden Age retrospectively motivates the action gratuite apparent in all these narratives, that is, makes the narrative of identity transmittable and readable by plotting out its arbitrary metaphorical relationships as metonymies, logical connections in hindsight, reading from the end, form the moment of death (BROOKS 1984: 10–24). In Stavrogin's reading it transforms Matryosha's narrative into a mythical story of origins, the element closest to the neurotic nucleus and primal repression which can be revealed. Mythical thinking, magic causation come to dominate the narratives, which is indicated by the metaphorical connection of Matryosha's three punishments and by the repetition of the magic number three in all Stavrogin's deeds. This mythic interpretation is made necessary and possible by two obvious gaps in the narrative which make the unspeakable crimes of sexuality and death – and thus Stavrogin's identity – a mystery to be solved for him.

[8] On the metaphorical relationship of the eye and the (sun)god cf. (TOKAREV et al. 1980: II/461).

[9] Ethnography treats the sun, the eye and the mirror as metaphors, while the latter two are seen as luminous (VIRÁG 1993: 47–48).

Stavrogin fills the gap left by unspeakable sexuality with three metaphors which are interpretable in the context of his marriage. The description of the seduction scene is quite similar to the – missing – representation of Matryosha's dead body in that it leaves the central element untold: after describing Matryosha's kisses and "rapture" Stavrogin starts a new paragraph and claims that "When it all was over she was very embarrassed" (465). He first borrows Matryosha's metaphor of "killing God" (465) to fill this gap, which supports his own mythic-metaphysical reading. He applies the second metaphor, "immense abomination" (465) to it in the elaboration of this interpretation. The Russian original of the expression, „беспредельное безобразие" (DOSTOEVSKY 1996: 270) contains the noun "образ", meaning picture, image, shape, (religious) icon, with a privative suffix: Stavrogin's deed is literally shape-less, icon-less, existing without an archetype created by God, it combines the aesthetic and ethic senses of ugliness. This reading is underpinned by the almost exact return of the word in connection with his marriage: he wants to marry Marya Timofeevna, because "It was impossible to imagine anything more hideous" (470), that is, „Безобразнее нельзя было вообразить ничего" (DOSTOEVSKY 1996: 273). The Russian adjective, depending on the stress, means both ugly, revolting and unpoetic, shapeless, and repeats the combination of aesthetic and ethic censure. The third metaphor establishes a relationship of crime and punishment following the law of talion between Matryosha's story and Stavrogin's marriage. When he "conceived the idea of crippling [his] life" (470), expressed in Russian as „искалечить жизнь" (DOSTOEVSKY 1996: 273), and married Marya Timofeevna, carrying on the metaphor of shape-lessness he executed his own symbolic mutilation for life, which is a part of the rites of passage and a memento of the descent to the underworld included in them (ELIADE 1996: 180). The crime to this punishment is identified by the other meaning of the Russian verbs калечить–искалечить, which is to corrupt morally: after "corrupting", "crippling" the child, as if to point out the causal relationship, Stavrogin inflicts the same sentence on himself. He does the same as Matryosha, who declares herself abject by committing suicide in "a tiny storeroom, no bigger than a chicken coop, next to the lavatory" 468) and executes the mythic punishment of expulsion from the human community on herself. Thus the reading reflected by the narrative of Stavrogin's marriage elaborates the mythic reading shaped by the vision of the Golden Age, according to which Matryosha's story is the moment of mythic fall, the metaphysical crime committed against God, for which the sinner should be punished eternally.

The other gap, left by death, draws attention to the motif of voyeurism, which is a structuring principle in Stavrogin's thefts. Since in the scene of Matryosha's suicide Stavrogin appears as a passive voyeur peeping through doors, windows and gaps and waiting for her death so that he could fulfil his desire, the metaphor of the eye plays a crucial role here. It is also a structuring principle both in the story of the penknife and the stealing of the civil servant's salary, which is clearly motivated by Stavrogin's pleasure gained from his image reflected in the helpless victim's eyes: "Afterwards I enjoyed meeting his eye a few times in the corridor" (464). Stav-

rogin's desire that as a voyeur he could see himself in the eyes of the other (the Other), from a perspective otherwise inaccessible for him (EASTHOPE 199: 153) is finally fulfilled in the moment of the epiphany, when, as the metaphors of the sun–eye and small spot–tiny red spider show, he is present both as the beholder and the person looked at. In comparison with that, his watch during Matryosha's suicide, which the vision of the Golden Age repeats metaphorically, is ominously bathetic: Stavrogin's attempt to cross the mythic boundary of the sacred space of hierophany and profane space (ELIADE 1996: 15-18) by committing a crime fails to become an epiphany, partly because he fails to notice the golden rays of the sun then, partly because he forgets – represses – the whole scene. It is an incomplete story which he unconsciously and compulsively repeats to achieve completion and make the traumatic event conscious (FREUD 1958) in his other attempts to experience a moment of "insight": in his "all-night service at Mount Athos", his visit to Egypt and Switzerland, his course sat through in Göttingen (470). The story only seems to become complete with the vision of Matryosha standing at his door and shaking her fist at him, but even that image is deceptive: depending on the stress it is both ви́дение és виде́ние (DOSTOEVSKY 1996: 274), seeing and envisioning, a scene undermining binary oppositions instead of fixing meanings. What it makes obvious, though, is that Stavrogin keeps looking at his own inverted mirror image, his anima (JUNG 1971: 149–162) in Matryosha: while he is constantly searching for his own image in the other, he cannot escape his own reflection embodied in Matryosha, which he finds both pleasurable and disgusting. Their story repeats that of Narcissus and Echo (HOLMES 2001: 22–24). All in all, Stavrogin's voyeurism and Narcissism transports Matryosha's narrative from the paradigm of ethics into those of epistemology and ontology, the problematic of his identity and selfhood becomes an ontological issue at this point.

The confessional situation framing the text of the actual confession repeats the metaphors of the text-within-the text, the double and the look (eye). The two Biblical quotations in the confessional situation form texts-within-the-text apparently with a similarly sacred interpretative function as the myth of the Golden Age and also inspiring a metaphorical reading of the narrative(s). Though they both repeat the ethical censure of Stavrogin's deeds preceding and following the confession, respectively – "I will spue thee out of my mouth" (458) and "Whoso shall offend one of these little ones" (479) – their authoritative status is undermined by the fact that both of them are introduced by Stavrogin himself and thus they obviously reflect his own reading. The motif of the double (shadow) appears in Stavrogin's visions of the devil and in his problematic relationship with Tikhon himself. On the one hand, Stavrogin's devil fits perfectly well into his mythical interpretation of the narrative of his identity: itself an element of mythical thinking (TOKAREV et al. 1980: II/215–217), with its nightly visits starting approximately at the time of Stavrogin's vision of the Golden Age, "[a]bout a year" (455) before the confession, this "apparition" (455) forms an antithesis of the Saturnine vision and as such, a demonic epiphany (FRYE 1971: 223). On the other hand, Stavrogin tries to rationalise his visions by interpreting the devil as his double – "It's all myself in different

aspects, nothing more" (455) – but then the result is such an image of himself as "a disgusting, scrofulous little devil with a head cold, one of the failures" (310), which can result from the comic reading of his mythic fall. In contrast, Tikhon and Stavrogin show so many similarities in the confessional situation and their relationship is characterised by mirroring so much that it is possible to treat them as doubles (KRINITSIN 2001: 220–222). This phenomenon can explain partly their constant competition for the analyst's role, partly Tikhon's inability to overcome mirroring and to steer the confession/analysis to a successful end by getting beyond the phase of transference. The two doubles appearing in the confessional situation correspond to the shadow and the wise man (JUNG 1971: 139–162), though the latter role, as mentioned above, is unplayable in the world of the *Devils*. The motif of voyeurism and the metaphor of the eye appear in the confessional situation as the rejection of Tikhon's look and the fixing look of Stavrogin's imaginary would-be audience. As Bakhtin points out, Stavrogin's attitude to the look of others is almost comically ambivalent (BAKHTIN 2002: 273), which also becomes apparent in this situation. While he declares to Tikhon that "I have no need of you whatsoever" (459), Tikhon correctly recognises that the confession is actually a call for others' attention with its "Let them look at me" (475). Simultaneously, Stavrogin himself exists only as a look: "how will you look at them?" (475). In conclusion, in the confessional situation the epistemological and ontological issues focussed in Matryosha's narrative are totalised in the vision of the other – the Other – as text, a mirror image and a look, thereby revealing the myth of Narcissus as the fundamental narrative of the human condition.

Consequently, the myths of the Golden Age and Narcissus both have an interpretative and – via their central metaphors – a structuring function in the text of the confession. Based on mythical thinking, it makes the creation and reading of narrative identity problematic through the web of metaphors surrounding the motif of the mirror. As a result of the multiple reflections, the confession itself, which represents Stavrogin's "voice" in the polyphony of the *Devils*, is revealed as a disunited, split collection of polyphonic "voices". In this process of infinite reflection the undermining and inversion of binary oppositions and Stavrogin's (self)irony resulting in a constant shift of meanings create a narrative which questions the possibility of the union of polyphonic voices and threatens with the possibility of chiasmus instead.

Bibliography

BAKHTIN 2002: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М., Собрание соченений. Том 6. Москва: Русские словари, 5-300.

BEKE 1995: Beke L. Egy képzeletbeli museum // Café Bábel. 1995. №18, 91-105.

BROOKS 1984: Brooks P. Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard UP.

BROOKS 2000: Brooks P. Troubling Confessions. Speaking Guilt in Law and Literature. Chicago, London: The University of Chicago Press.

CUDDON 1992: Cuddon J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Theory. London: Penguin Books.
DE MAN 1979: de Man P. Allegories of Reading. New Haven and London: Yale UP.
DOSTOEVSKY 1958: Dostoevsky F. M. Devils. Oxford, New York: Oxford UP. Trans. M. R. Katz.
DOSTOEVSKY 1996: Достоевский Ф. М. Бесы. Роман в трех частях // Сараскина Л. И. (ред.), «Бесы»: Антология русской критики. Москва: Согласие, 5–434.
EASTHOPE 1999: Easthope A. The Unconscious. London and New York: Routledge.
ELIADE 1996: Eliade M. A szent és a profán. A vallási lényegről. Budapest: Európa Könyvkiadó. Trans. Berényi G.
FEHÉR 1972: Fehér F. Az antinómiák költője (Dosztojevszkij és az individuum válsága). Budapest: Magvető Kiadó.
FLORENSKY 2001: Флоренский П. А. Иконостас // Флоренский П. А. Христианство и культура. Москва: Издательство Фолио, 521–626.
FREUD 1953: Freud S. Creative Writers and Daydreaming // Strachey J. et al. (eds.), The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud. Vol. 9. London: Hogarth Press, 141–154.
FREUD 1958: Freud S. Remembering, repeating and working-through // Strachey J. et al. (eds.), The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud. Vol. 12. London: Hogarth Press, 146–156.
FREUD 1976: Freud S. The Interpretation of Dreams. Richards A. (ed.), The Pelican Freud Library. Vol. 4. Harmondsworth: Penguin Books. Trans. J. Strachey.
FREUD 2001: Freud S., The Psychopathology of Everyday Life. London: Vintage, Hogarth Pr. Trans. James Strachey.
FRYE 1971: Frye N. Anatomy of Criticism. Four Essays. Princeton, New Yersey: Princeton UP.
FÜZESSÉRY 1993: Füzesséry É., Lacan és az 'apa neve'. // Thalassa 1993. №4, 45–61.
GOULD 1981: Gould E. Mythical Intentions in Modern Literature. Princeton, New Jersey: Princeton UP.
GROSSMAN 1996: Гроссман Л. П. Стилистика Ставрогина // Сараскина Л. И. (ред.), «Бесы»: Антология русской критики. Москва: Согласие, 606–614.
HAJNÁDY 2002: Hajnády Z. Sophia és Logosz. Az orosz kultúra paradigmatikus-szintagmatikus rendszere (bináris oppozíciói, leküzdésének alternatívái). Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
HOLMES 2001: Holmes J. Narcissism. Cambridge: Icon Books.
JANION 2004: Janion M. Sztavrogin, avagy lehet-e tragikus hős egy immoralista? // Pálfalvi L. (ed.), Az Antikrisztus halála. Lengyel esszék Dosztojevszkijről. Budapest: Napkút Kiadó, 121–138. Trans. Pálfalvi L.
JUNG 1971: Jung C.G., Campbell J. (ed.), The Portable Jung. Harmondsworth: Penguin Books. Trans. R. F. C. Hull.
KIRK 1973: Kirk G. S. Myth. Cambridge: Cambridge UP.
KRINITSIN 2001: Криницын А. Б., Исповедь подпольного человека. К антропологии Ф. М. Достоевского. Москва: МАКС Пресс.
KRISTEVA 1982: Kristeva J. Powers of Horror. An Essay on Abjection. New York: Columbia UP. Trans. L. S. Roudiez.
KRISTEVA 1995: Kristeva J. Nárcisz: az újfajta téboly // Café Bábel. 1995. №18, 51–60. Trans. Babarczy E.

LACAN 1972: Lacan J. The Insistence of the Letter in the Unconscious. // DeGeorge R., DeGeorge F. (eds.), The Structuralists from Marx to Lévy-Strauss. Garden City, New York: Anchor Books, Doubleday & Company, Inc., 287–324.

LACAN 1981: Lacan J. The Language of the Self. The Function of Language in Psychoanalysis. Baltimore and London: The John Hopkins UP. Trans., notes and commentary A. Wilden.

LACAN 1988: Lacan J. The Seminar of Jacques Lacan. Book 1: Freud's Papers on Technique 1953–54. New York, London: W. W. Norton and Company. Trans. J. Forrester.

LACAN 2002: Lacan J. A tükör-stádium mint az én funkciójának kialakítója, ahogyan ezt a pszichoanalitikus tapasztalat feltárja számunkra. // Bókay Antal et al. (eds.), A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig. Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris Kiadó, 65–69. Trans. Erdélyi I., Füzesséry É.

MELETINSKY 2001: Мелетинский Е. М. Заметки о творчестве Достоевского. Москва: РГГУ.

RÁKAI–KOVÁCS 2003: Rákai O., Z. Kovács Z. (eds.) A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban. Budapest–Szeged: Gondolat Kiadói Kör–Pompeji.

ROUSSEAU 2001: Rousseau J.-J. Vallomások. Vol. 1–2. Budapest: Magyar Könyvklub. Trans. Benedek I., Benedek M.

SZILÁRD 2001: Szilárd L. Dosztojevszkij. Az Ördögök és az analitikai pszichológia // Szilárd L., Andrej Belij és az orosz szimbolista regény poétikája. Budapest: Széphalom Könyvműhely, 17–40.

SARASKINA 1996: Сараскина Л. И. «Бесы», или русская трагедия // Сараскина Л. И. (ред.) «Бесы»: Антология русской критики. Москва: Согласие, 435–459.

TOKAREV et al. 1980: Токарев С. А., Брагинский И. С., Дьяконов И. М. и др. (ред.) Мифы народов мира. Энциклопедия. Том I-II. Москва: Издательство Энциклопедия.

VIRÁG 1993: Virág T. Anya-tükör // Thalassa. 1993. №3, 45–54.

WEINRICH 2002: Weinrich H. Léthé. A felejtés művészete és kritikája. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó. Trans. Mártonffy M.

Резюме

Золотой век и Нарцисс
Явный и неявный миф в «Исповеди Ставрогина»

Настоящая статья посвящена мифопоэтическому анализу глубоко проблематичной главы «У Тихона» романа Достоевского «Бесы». Практически единичный текст таинственно молчащего Ставрогина в романе можно истолковать в контексте нарративной идентичности как его опит составления истории своей идентичности, своего бессознательного в форме явно присутствующего личного варианта общеизвестного мифа Золотого века. При этом в исповеди и в исповедальной ситуации играют структуральную функцию и центральные метафоры неявного мифа Нарцисса, предполагающие возможность альтернативной интерпретации главы в контексте этого «центрального текста истории западно-европейской субъективности». Конечным выводом анализа является предположение, что совместное присутствие этих двух мифов дает возможность деконструктивного чтения исповеди, главы и в конечном счете целого романа Достоевского.

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

POLSKA LITERATURA OBOZOWO-ŁAGROWA ZARYS PROBLEMATYKI

NAGY László Kálmán

Po zakończeniu drugiej wojny światowej wraz z odrodzeniem życia literackiego, zarówno w kraju, jak też na emigracji, pisarze polscy podjęli zadanie zupełnie nowe w europejskiej tradycji literackiej. Mimo trudności codziennego bytowania, braku papieru, zniszczonych wydawnictw i drukarni masowo zaczęły ukazywać się utwory prozatorskie, próbujące sprostać potrzebie świadczenia prawdy o spełnionej grozie dwoistego totalitaryzmu. Z dnia na dzień pojawiały się coraz to nowe teksty o hitlerowskich i stalinowskich obozach koncentracyjnych oraz obozach pracy przymusowej, czyli o lagrach i łagrach.

Sytuacja polityczna na ziemiach polskich po roku 1944 i przełomowy w ograniczaniu swobód obywatelskich w PRL rok 1949 sprawiły, iż literatura dotycząca łagrów stalinowskich mogła rozwijać się tylko na emigracji, a jej pełna recepcja w kraju nastąpiła dopiero po 1989 roku. Inaczej stało się z opisywaniem obozów hitlerowskich, ponieważ nie stanowiło ono jawnego zagrożenia dla „władzy ludowej" w powojennej Polsce. Choć i dzieła o tych obozach były w jakiś sposób cenzurowane, zwłaszcza w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, kiedy w epoce produkcyjniaków preferowane były tematy współczesne: odbudowa kraju, wielkie budowy, motyw sabotażu. Jednakże stosunek do faszyzmu i faszystowskich obozów koncentracyjnych był dość podobny w całej Europie, a traktująca o nich literatura mimo interwencji polityków i cenzorów rozwijała się z różnym nasileniem na kolejnych etapach powojennych dziejów.

Jedną z największych zasług literatury polskiej drugiej połowy XX wieku jest to, że w sposób nieporównywalnie bardziej dobitny, szczegółowy i kompleksowy niż jakakolwiek inna literatura europejska przedstawia faszystowskie obozy hitlerowskie i łagry stalinowskie nie jako „wypadek historii przy pracy", lecz jako tragiczną i logiczną konsekwencję istnienia systemów totalitarnych. Dorobek autorów znad Wisły jest przykładem wszystkich możliwych zachowań ludzkich: bezgranicznego bohaterstwa i upodlenia, wierności ideałom humanistycznym i religijnym (zwłaszcza katolickim) oraz łamania elementarnych zasad etycznych. Utwory te nadal nie tracą na aktualności. Uświadamiają one młodym pokoleniom, że współczesny totalitaryzm poza fizyczną likwidacją milionów istot ludzkich potrafi błyskawicznie zniszczyć w człowieku wszystkie wartości, które ludzkość wypracowywała na przestrzeni wieków. Pisarze polscy — między innymi ocalali świadkowie — potrafili ująć w słowa i ramy artystyczne tę głębię i ciemność, którą wyzwolił w człowieku właśnie system totalitarny. Ich literacki dorobek wyraziście uwypukla, na co człowieka stać. Pokazują oni zarazem ukryte dotąd granice i moż-

liwości działania ludzkiego, kierowanego ślepym instynktem życia, oraz rzadko kiedy uświadamianą przez nas absolutną wartość fizycznego istnienia.

Literatura polska stanowi esencjonalny przykład przedstawiania skutków dwóch systemów totalitarnych, czerwonego i brunatnego, komunistycznego i faszystowskiego. Ponieważ w okresie międzywojennym Polska — w odróżnieniu od swoich sąsiadów z prawej i lewej strony — była państwem demokratycznym, obydwa te systemy przyszły od zewnątrz, traktowane były jako obce. Dlatego też niezwykle cenne są takie właśnie spostrzeżenia polskich autorów, które różnią się od refleksji pisarzy innych narodowości, np. Rosjan czy Niemców, którzy patrzą na lagry i łagry jednak od „wewnątrz". Warto zresztą zaznaczyć, że tematyka obozowo-łagrowa nie znalazła w literaturze niemieckiej i rosyjskiej tak wielu kronikarzy, jak w literaturze polskiej, ale zdecydowanie brakuje u Polaków kompleksowego spojrzenia na tę problematykę. Dorobek literatury polskiej z obecnego dystansu czasowego rysuje **kształt systemów totalitarnych**, wnika w ich konstytutywne cechy.

Polska literatura łagrowa powstawała paralelnie z literaturą obozową, opisującą lagry hitlerowskie. O ile geneza literatury obozowej nigdy nie budziła kontrowersji, to zdania o genezie literatury łagrowej są podzielone, podobnie jak o jej zakresie. Dla Danilewicz-Zielińskiej jest to piśmiennictwo, które wyrosło na gruncie martyrologii Polaków w latach drugiej wojny światowej i później, więc jej korzenie sięgają dopiero początków lat czterdziestych[1]. Natomiast wedle Eugeniusza Czaplejewicza genetycznie wywodzi się ona z polskiej literatury syberyjskiej XIX wieku i przez ostatnie dziesięciolecia stanowiła odmianę literatury emigracyjnej[2].

Zakładanie w Związku Radzieckim obozów pracy przymusowej niestety miało swoje korzenia historyczne. Za carów całe społeczeństwo wiedziało o istnieniu *katorg* i ten fakt odnotowany został także w literaturze, między innymi w poezji Aleksandra Puszkina. Ale mordercza praca w kopalniach ołowiu czy zsyłki na Syberię oznaczały jednak inne przeżycia niż doświadczenia człowieka zetkniętego ze współczesnym systemem totalitarnym. Dlatego jestem skłonny zgodzić się z opinią Danielewicz-Zielińskiej i traktować literaturę łagrową jako odrębne zjawisko, związane z wydarzeniami i konsekwencjami wyłącznie drugiej wojny światowej oraz ze stalinizmem. A co do zakresu tej literatury — włączam w jego obręb tylko teksty podejmujące temat samych łagrów i pomijam inne typy przeżyć, wynikających z pobytu na zesłaniu: na Syberii czy na stepach Kazachstanu.

Punktem wyjścia będą zawsze utwory prozatorskie, których — właściwie przedstawionego w nich świata — nie zamierzam konfrontować ze współczesną wiedzą historiograficzną. Nie podejmuję też próby analizy w kategoriach aksjologicznych, przecież ocenę „lat pogardy" na szczęście mamy już za sobą. Mając pełny szacunek dla tekstu pisanego, świadomie pomijam również kryteria prawdopodobieństwa, prawdy lub kłamstwa, wydają się one nierelewantne. Zasadnicze pytanie brzmi więc następująco: **co literatura potrafiła zrobić z niespotykanym wcześniej ciężarem przeżyć jednostek i zbiorowości**. Jest to problem, który

[1] Por.: DANILEWICZ-ZIELIŃSKA 1992: 86–87.
[2] Por.: CZAPLEJEWICZ 1992: 19–24.

na pierwszy rzut oka wydaje się zbyt prosty, nawet trywialny. Jest on jednak niezwykle interesujący, gdyż niekiedy sami autorzy mieli wątpliwości co do szans przedstawienia tych wydarzeń przy pomocy stosowanych wcześniej, tzw. środków artystycznego wyrazu. Jak pisze Herling-Grudziński w dziele *Inny świat*: „nie wierzę bowiem, aby literatura mogła staczać się bezkarnie aż tak nisko, nie ponosząc żadnego uszczerbku jako sztuka nadawania ekspresji artystycznej rzeczom powszechnie znanym i odczuwanym" (HERLING-GRUDZIŃSKI 1989: 298).

Wśród wszystkich tekstów o tematyce obozowo-łagrowej „najliczniejszą grupę tekstów stanowią te, w których tradycyjne formy narracji, wybierane zazwyczaj bezrefleksyjnie, łączą się z patosem oskarżenia oraz bardzo uwydatnioną postawą wartościującą, z wyraźnymi ocenami ludzi, zdarzeń, sytuacji." (BURSKA 1992: 742). Są to więc książki odwołujące się do zakorzenionych w świadomości zbiorowej wzorów katolicyzmu i patriotyzmu, utwory ukazujące niezniszczalny kodeks wartości humanistycznych, nienaruszonych przez doświadczenie łagrowe. Proponuję, by te utwory, ująć w jedną grupę i określić je jako **martyrologiczno-mitotwórcze**. Wydaje się, że ten termin jest przydatny, ponieważ większość utworów tej grupy poprzez pokazywanie łagrów jako polskiego fatum nie tylko odwołuje się do utrwalonych w kulturze od XIX wieku tradycji martyrologicznych, lecz także przyczynia się do rozbudowania i pogłębienia w świadomości Polaków dotychczasowych mitów historyczno-kulturowych.

W ujęciu martyrologiczno-mitotwórczym tematykę obozów hitlerowskich podejmują następujące utwory: *Trudna wiosna* (1961) Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego; *Brzezinka* (1954) Alfreda Fiderkiewicza; *Nr 20998 opowiada* ks. Wojciecha Gajdusa *Powrót z piekła hitlerowskiego* (1945) oraz *Obóz śmierci* (1962) Antoniego Gładysza; *Wspomnienia z Sachsenhausen* (1945) Jana Gwiazdomorskiego; *Sclavus saltans. Wspomnienia lekarza obozowego* (1946) Stanisława Jagielskiego; *Serca za drutem. Wspomnienia z Sachsenhausen* (1959) Kazimierza Andrzeja Jaworskiego; *Z otchłani* (1946) Zofii Kossak; *Gross Rosen. Obóz koncentracyjny na Śląsku* (1967) Mieczysława Mołdawy; *Listy spod morwy* (1945), *Listy z mojego Rzymu* (1946) i *Dziewczyna z pól Elizejskich* (1946) Gustawa Morcinka; *Gusen. Przedsionek piekła* (1961) Józefa Osuchowskiego; *Wspominki z obozu Sachsenhausen 1939–1940* (1960) Stanisława Pigonia; *I boję się snów* (1962) Wandy Półtawskiej; *Echa oświęcimskie* (1949) Tadeusza Reka; *Z barykady w dolinę głodu* (1946) Michała Rusinka; *Wspomnienia z pobytu w Dachau* (1946) Stanisława Skowrona; *W cieniu krematorium* (1960) Franciszka Stryja; *Człowiek jest nagi* Grzegorza Timofiejewa; *Uniwersytet za kolczastym drutem* (1946) Stanisława Urbańczyka; *W niewoli u NSDAP* (1946) Kazimierza Stołyhwy; *Bestie i ludzie. (Ravensbrück–Szwecja). Wspomnienia i wrażenia* (1947) Marii Wysznackiej; *Opowiadania oświęcimskie* (1960) Marii Zarębińskiej-Broniewskiej; *Kobiety z Limbach* (1946) Wandy Żółkiewskiej; *Przeżyłam Oświęcim* (1946) Krystyny Żywulskiej oraz *Ogień i druty. Wspomnienia z powstania i obozu kobiet* (1958) Joanny Żwirskiej.

Wśród utworów przywołujących — jako własne — dawne wartości humanistyczne oraz nienaruszone przez „epokę pieców" wartości etyczne są również nie-

które inne teksty, nie wspomniane dotychczas w żadnym opracowaniu historycznoliterackim: opowiadania z tomu pt. *Kominy. Oświęcim 1940–1945* (1962; przedmowa Tadeusza Hołuja): *Akcja „K"* Zofii Gawron-Prejznerowej; *Pierwszy warszawski* Marii Elżbiety Jezierskiej; *Znałam ludzi dobrej woli* Janiny Kajtoch; *Rybacy* Aleksandra Kalczyńskiego; *Bieguny* Józefa Kreta; *14 tygodni w podziemiach* Kazimierza Kustosza; *Kartki z Oświęcimia* Ireny Perkowskiej-Szczypiorskiej.

Zredagowana przez Adolfa Rudnickiego antologia *Wieczna pamięć* (1955) zawiera blisko trzydzieści różnego typu krótkich tekstów lub ich fragmentów. Są to niekiedy wyjątki z nigdzie nie drukowanych w całości rękopisów, fragmenty zeznań świadków[3], aktu oskarżenia[4], a nawet pamiętnika komendanta obozu w Oświęcimiu, Rudolfa Hoessa. Pośród wszystkich tych tekstów dwa opowiadania można zaliczyć do omawianej grupy: *Piekło Treblinki* Wassilija Grossmana oraz *Świat za drutem kolczastym* Jana Pluty.

Czwarty tom *Antologii pamięci* pt. *Za drutami* (1965, wybór i opracowanie Ludwik RAJEWSKI) zawiera teksty wspomnianych już wyżej autorów: Dobrowolskiego, Fiderkiewicza, Jaworskiego, Morcinka, Półtawskiej, Reka, Rusinka, Timofiejewa, Zarębińskiej-Broniewskiej i Żywulskiej. Należy tu wspomnieć ponownie o tych autorach, dlatego że wybrane fragmenty ich utworów występują w tym tomie niekiedy pod zmienionym przez redaktora tytułem[5].

Nie wypada także pominąć zredagowanej przez Kazimierza Bidakowskiego i Tadeusza Wójcika olbrzymiej — bo liczącej dziewięćset stron — a jednocześnie zapomnianej księgi *Pamiętniki nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich* (1962). Zbiór ten zawiera czternaście prac autorów nieprofesjonalnych (najczęściej autorów jednego utworu). Wszystkie one zasługują jednak na uwagę, ponieważ do tomu weszła tylko część prac, właśnie najlepsze, opublikowane z okazji ogłoszenia w roku 1959 przez Związek Nauczycielstwa Polskiego konkursu na pamiętniki z obozów koncentracyjnych. (Pozostałe, nieuwzględnione w zbiorze pamiętniki przechowuje ZNP). Napisana przez Sewerynę Szmaglewską przedmowa świadczy o tym, iż celem tomu było pokazanie bohaterskiej postawy i bezwzględnego protestu nauczycieli polskich podczas wojny i okupacji. Na pierwszy rzut oka zatem wydawałoby się, że tom w całości znakomicie pasuje do nurtu martyrologiczno-mitotwórczego. A jednak nie wszystkie teksty napisane zostały w duchu dawnego kanonu wartości etycznych, niektóre z nich należałoby włączyć do grupy reprezen-

[3] Poza tekstami o nieustalonym autorstwie są one zapisami następujących osób: Bielicki, prof. Grzywo-Dąbrowski, R. Fingier, T. Ostrowski, J. Pfefer, M. Słowikowski, Wieliczko.

[4] Np. Maksymiliana Grabnera i Johanna Paula Kremera — przestępców hitlerowskich z Oświęcimia.

[5] Są to fragmenty pod następującymi tytułami (w nawiasie tytuły oryginalne): S. R. Dobrowolski, *Zwycięska ofensywa* (*Trudna wiosna*); A Fiderkiewicz, *Krankenbau* (*Brzezinka*); K. A. Jaworski, *Kwarantanna* (*Serca za drutem*); G. Morcinek, *Człowiek z głową Ramzesa* (fragment opowiadania pod tym samym tytułem z tomu *Dziewczyna z pól Elizejskich*); W. Półtawska, *I boję się snów* (*I boję się snów*); T. Rek, *Transport przybywa do obozu* (*Echa oświęcimskie*); M. Rusinek, *Ten chłopiec nie ma w Polsce pomnika* (*Z barykady w dolinę głodu*); G. Timofiejew, *Droga do Polski* (*Człowiek jest nagi*); M. Zarębińska-Broniewska, *Dzieci za drutami* i *Potop* (opowiadania z tomu *Opowiadania oświęcimskie*); K. Żywulska, *Człowiek staje się numerem* (*Przeżyłam Oświęcim*).

tującej inną postawę, wspomnianą później koncepcję „solidarnej pamięci". Nienaruszoną przez zlagrowanie, kanoniczną postawę moralną reprezentują: *Etapy* Marii Czarneckiej, *Ucieczka* Stanisława Czernickiego, *Walka o życie* Jana Dziopka, *Droga do Polski* Władysława Gębika, *Na Majdanku* Józefa Korcza, *Ostatni krąg* Józefa Kreta, *Rok w kacetach* Władysława Matuli, *Kartki z obozu* Henryka Panasa, *Za drutami* Józefa Piaseckiego, *W Ravensbrück* Heleny Tyrankiewiczowej, *My się bronimy* Urszuli Wińskiej.

Wyżej wspomniane utwory obozowe powstały i ukazały się między 1945 a 1962 rokiem. W datach ich publikacji obserwujemy jednak znamienną przerwę obejmującą lata 1949–1955/56. Nie powinniśmy zatem w owej grupie utworów martyrologiczno-mitotwórczych szukać jedynie i jednokierunkowo wpływów polityki ówczesnych władz; słabości tych tekstów — bo z dzisiejszego punktu widzenia oceniane są one jako mniej ważne pod względem wartości artystycznych — mają także i inną genezę i naturę. A w każdym razie warto zastanowić się nad specyfiką, wyborem i ukształtowaniem elementów przedstawionego przez autorów świata.

Literatura łagrowa w sposób jeszcze bardziej drobiazgowy niż obozowa utrwaliła wiarygodny zapis przerażających faktów. Nie zapominajmy, że zbrodnie hitlerowskie zaraz po wojnie poznał cały świat, podczas gdy zbrodnie stalinowskie z przyczyn politycznych przez długie lata były przemilczane, również na Zachodzie. Autorzy, nie czekając końca wojny, jakby z poczucia obowiązku chcieli przedstawić całą gamę swych doświadczeń. Tłumacząc od podstaw, czym jest łagier, starali się stworzyć faktograficzny opis wydarzeń; w rezultacie powstawały teksty obszerne, zazwyczaj dłuższe niż utwory podejmujące temat obozów hitlerowskich.

Jednocześnie ocaleli z łagrów świadkowie dążyli — niemal wszyscy — do przedstawienia swych doświadczeń w szerszym kontekście historycznym i osobistym. Dlatego łagrowe przeżycie totalne[6] różni się od przeżyć więźniów obozów hitlerowskich. Zaczyna się ono w momencie, gdy wojska radzieckie zajmują wschodnie tereny Polski. Kończy się zaś dopiero po wydostaniu się łagrowiczów z terytorium Związku Radzieckiego. Nie istnieje bowiem w tych utworach nawet takie poczucie pseudonormalności, jakie można spotkać w świadectwach obozowych, gdy ich autorzy wspominają życie poza obozem pod okupacją. Świat pozałagrowy na sowieckich terenach jest też odbierany jako łagier, jako przedłużenie pozbawienia wolności. Różnica ta wynika z odmiennych cech systemu represyjnego. Poza cynicznym napisem na bramie oświęcimskiej „Arbeit macht frei" obóz był jawnie odarty ze wszystkich złudzeń i doprowadzał do moralnego, psychicznego i fizycznego zniszczenia człowieka. W łagrze natomiast stosowano wyrafinowane, koszarowo-więzienne metody. W nieznośnych warunkach bytowych, wśród cierpień i przymusowej pracy władze sowieckie stwarzały demagogicznie pozory, że łagier spełnia misję wychowawczą — wychowuje porządnych, pożytecznych

[6] „Przeżyciem totalnym" nazywam ten stan psychiczny, kiedy realny zewnętrzny świat przestaje dla więźnia istnieć. Jego miejsce wypełnia w świadomości zlagrowanego człowieka lagier lub łagier, a świat zewnętrzny pojawia się tylko we wspomnieniach, w opozycji czarno-białej.

i lojalnych wobec Kraju Rad obywateli. Tym pozorom ulegali — jakże często! — najwięksi ideowcy, enkawudziści i więźniowie. Niektórzy bardzo długo podtrzymywali pogląd o wychowawczej roli łagru. Ponadto, przeżycie totalne w łagrach stalinowskich — w milionach przypadków w skali kraju — trwało znacznie dłużej niż w hitlerowskich obozach. Wielu więźniów z Polski było poddawanych po 1939 roku owemu wychowaniu od pięciu do dziesięciu lat. Oznacza to, z jednej strony, że szanse na biologiczne przeżycie w łagrach były niewątpliwie większe niż w obozach, z drugiej zaś, że ogromna odległość geograficzna od domu oraz długotrwały stan zlagrowania przyczyniały się do powstania innego typu zniekształceń psychicznych niż w wypadku ludzi zamkniętych w obozach hitlerowskich.

W martyrologiczno-mitotwórczych utworach łagrowych, w odróżnieniu od obozowych, wyraźnie zarysowują się cechy, które można określić mianem tendencyjności i manipulowania postawą odbiorcy, przede wszystkim jego poglądami politycznymi i świadomością historyczną. Podkreślam, że punktem wyjścia są teksty, których n i e p o d d a j ę weryfikacji aksjologicznej, historycznej czy kulturowej, tym bardziej, iż — jak powiedzieliśmy — polityczna ocena tego okresu stanowi już zamknięty rozdział naszej historii środkowo-wschodnioeuropejskiej. Znamiona manipulacji — w wielkim skrócie — skupiają się wokół następujących zagadnień:

1. Permanentne zestawianie Polski przedwojennej i Rosji Sowieckiej w przeciwstawnych kategoriach raju i piekła, rozkwitu gospodarczego i dobrobytu z jednej strony oraz skrajnej nędzy i zacofania z drugiej strony.
2. Czarno-biała opozycja Polaka i obywatela ZSRR jako antynomia prawego katolika i grzesznego ateisty. Ateizm w utworach emigracyjnych pojawia się jako synonim zła, niemoralności czy też brak jakichkolwiek zasad etycznych.
3. Przedstawianie przyrody i otaczającego świata wyłącznie poprzez pryzmat przeżyć jednostki.
4. Określenie kontaktów intymnych, dewiacji seksualnych, związków lesbijskich i homoerotycznych wspólnym pejoratywnym mianem — „miłość sowiecka".

Znamienne, że opozycja tych cech jawi się zawsze w kolorach czarno-białych. Podobne zestawienia występują zresztą także w obozowej literaturze martyrologicznej, ale między dwoma ujęciami istnieje zasadnicza różnica: tam chodzi przede wszystkim o uniwersalną opozycję okrutnego kata i bezbronnej ofiary oraz Polaka i nie-Polaka. Negatywne zjawiska w zasadzie nie uzyskują p o l i t y c z n e g o wymiaru. Wynika to zapewne z faktu, że brunatny totalitaryzm jawnie realizował swoje antyhumanitarne i zbrodnicze cele, natomiast system sowiecki był na tyle obłudny, iż nie dość, że mordował, to jeszcze kazał się za to kochać, gdyż kierował się rzekomym dobrem człowieka.

Do grupy łagrowych utworów o cechach martyrologiczno-mitotwórczych należą: *Listy nie wysłane* (1990) Anny Branickiej-Wolskiej; *W więzieniu i łagrze 1940–1941. Ja, socjalno opasnyj elemient* (1989) Tadeusza M. Czerkawskiego; *Cynga.*

Wspomnienia z łagrów północy 1940–1944 (1989) Jerzego Drewnowskiego; *Powiedz Zachodowi. Wspomnienia autora z okresu niewoli w obozie pracy przymusowej w Związku Sowieckich Socjalistycznych Republik* (Nowy York 1951) Jerzego Gliksmana; *Purga. Wśród więźniów i zesłańców w ZSRR 1941–1955* (1990) Jerzego Głowali; *Między młotem a sierpem* (Londyn 1948, Warszawa 1990) Wacława Grubińskiego; *Z 2 Armii WP do sowieckich łagrów. Wspomnienia 1944–1947* (1992) Tadeusza Kowalskiego; *Jeśli zapomnę o nich...* (1990) Grażyny Lipińskiej; *W domu niewoli* (Rzym 1946, Warszawa 1991) Beaty Obertyńskiej (pseud. Marta Rudzka); *Budujemy kanał. Wspomnienia kierownika Biura Planowania* (Rzym 1947) Witolda Olszewskiego; *W sowieckim łagrze* (1989) Matyldy Temkin; *Przez kraj niewoli. Wspomnienia z Litwy i Rosji lat 1939–1942* (1947) Jana Kazimierza Umiastowskiego; *Ziemia pojona gniewem* (1961) Stefanii Zahorskiej; *Sprawiedliwość sowiecka* (Włochy 1945) Kazimierza Zamorskiego i Stanisława Starzewskiego[7] oraz *Łagierniczki. Dziesięć lat w polarnym kraju* (1991) Jadwigi Zawadzkiej[8]. Ponadto, ze względu na pewne ich właściwości do tej grupy zaliczam opowiadanie Andrzeja Stockiego *Barża* z antologii opracowanej przez Marię Czapską[9] pt. *Polacy w ZSRR 1939–1942* (Paryż 1963, Warszawa 1991). Niektóre fragmenty wspomnianych tu utworów Grubińskiego, Obertyńskiej i Umiastowskiego zawiera antologia Bogdana Klukowskiego pt. *My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR* (1989).

Tematykę łagrową odnajdujemy także w wielu innych książkach, choć poświęcone są one zasadniczo innej problematyce. Tytułem przykładu warto tu wymienić *Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946* (Londyn 1949, Warszawa 1992, Lublin 1995) Władysława Andersa; pierwszy tom *Wspomnień* Zygmunta Berlinga pt. *Z łagrów do Andersa* (1990); *Z łagru Nachodka do Ziemi Świętej* (Londyn 1974) Bronisława Brzezickiego; *W cieniu Katynia* (Paryż 1974, Warszawa 1981; pierwsze legalne wydanie krajowe — Warszawa 1990) Stanisława Swianiewicza oraz *Wszystko co najważniejsze* (Londyn 1984, Warszawa 1990) Oli Watowej.

Drugi główny nurt prozy łagrowej nazwijmy **literaturą „solidarnej pamięci"**. Powstawał on równolegle z pierwszym, a termin, którym go oznaczamy, nawiązuje do recenzji Kazimierza Wyki o książce Seweryny Szmaglewskiej *Dymy nad Birkenau*. Właśnie ta pozycja, jako jedna z najbardziej reprezentatywnych w swej grupie, w sposób dobitny ujawnia funkcję „solidarnej pamięci": szczęśliwy finał koszmaru, panoramiczność obrazu oraz wiarę w jego niepowtarzalność. Ten drugi nurt prozy obozowo-łagrowej nie był więc jakąś kolejną fazą w historii literatury wojennej ani wynikiem jakiejś dyskusji literackiej. Utwory, które wspominamy w tym nurcie, łączy wiele wspólnego z utworami wspomnianymi poprzednio. Także w utworach „solidarnej pamięci" zwycięsko trwają wartości, zwłaszcza moralne, kultury europejskiej. Autorzy tego nurtu piszą również z perspektywy odzyska-

[7] Wydanie z 1945 roku ukazało się pod pseudonimami Sylwester Mora – Piotr Zwierniak.

[8] Por.: BURSKA 1992: 740–746.

[9] Antologia opracowana przez M. Czapską zawiera — poza tekstami, należącymi do innych nurtów literatury łagrowej — fragmenty wyżej wspomnianych utworów J. Gliksmana, W. Grubińskiego, B. Obertyńskiej, K. Zamorskiego i S. Starzewskiego.

nego ładu i zrekonstruowanej równowagi aksjologicznej. **Wnikają oni jednak dużo głębiej w łagrową rzeczywistość**. Interesują się nie tylko zakorzenioną w europejskiej świadomości dychotomią dobra i zła, przejawiającą się w skrajnych warunkach. W większym stopniu zauważają oni groźne i nieodwracalne zanikanie tradycyjnych, historyczno-kulturowych wartości. Odnotowują kryzys oczywistych wzorców moralnych, wzorców kultury jako sposobu życia. Obserwują zacieranie się granic dobra i zła. W większym stopniu niż reprezentanci nurtu martyrologii i mitotwórstwa zwracają uwagę na zgubne następstwa wychowania łagrowego.

Należy dodać, że typowa literatura martyrologiczna również często odnotowuje zjawisko deprawacji moralnej więźniów, ale pisarze nie wyciągają daleko idących wniosków z tych zmian. Uważają je za tymczasowe, przejściowe — w odróżnieniu od trwałej dobroci i miłości do Boga lub bliźniego. Stan moralnej deprawacji trwa wyłącznie podczas panowania ciemnych sił, chwilowego tryumfu zła nad dobrem. W grupie utworów „solidarnej pamięci" ważne jest wnikliwe przedstawienie rozwarstwienia wspólnoty więźniów. Nie jest to już wspólnota niemal świętych ludzi, odrębna od dręczących ich katów, lecz nienaturalna społeczność, ostro zróżnicowana. W hierarchii społecznej obozów i łagrów niżej stoją właśnie ci, którzy są mało zdolni w dostosowaniu się, którzy nadal bronią kanonu wartości etycznych.

Tematykę obozów hitlerowskich w duchu „solidarnej pamięci" podejmują następujące utwory: *Apel* (rok napisania 1942) Jerzego Andrzejewskiego; *Kobiety z Ravensbrück* (1946) Wandy Dobaczewskiej; *Koniec naszego świata* (1958) Tadeusza Hołuja; *Przeżyć dzień. Wspomnienia z lat 1941-1951* (1989) Czesława Kempistego; *Wózek* (1966) Janusza Krasińskiego; *Czarna flaga* (1960) Zofii Krzyżanowskiej; *Dzień powszedni ludobójcy* (1973) Jerzego Rawicza; *Dymy nad Birkenau* (1945), *Łączy nas gniew* (1955) i *Krzyk wiatru* (1965) Seweryny Szmaglewskiej. Pewne opowiadania tejże autorki z tomu *Chleb i nadzieja* (1958), który w całości wyrasta z wojenno-okupacyjnych doświadczeń pisarki, też należą do nurtu obozowego. Są to: *Szansa pięknej kobiety*, *Greccy zapaśnicy*, *Kobieta, mężczyzna i dziecko*. Do tej grupy proponuję zaszeregować ponadto: *Brygadę śmierci* (1946) Leona Wieliczkera; opowiadanie Wojciecha Żukrowskiego pt. *Kantata* z tomu o takim samym tytule (1957); trzy opowiadania ze wspomnianego już tomu *Pamiętniki nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich 1939–1945* (1962): *Z obozowych dni* Stanisława Brzozowskiego, *** (bez tytułu) Krystyny Flakowej, *Trudno zapomnieć* Tadeusza Murasiewicza; jedno opowiadanie z czwartego tomu *Antologii pamięci* pt. *Za drutami*: *Szewc Ajzyk* Jerzego Rawicza; jedno opowiadanie z antologii *Wieczna pamięć*, utwór Tadeusza Hołuja pt. *Rozejm Jana Mosdorfa*[10].

[10] Poza wspomnianym opowiadaniem do tej grupy wchodzą jeszcze trzy kolejne teksty tej antologii, ale dwa z nich stanowią fragmenty *Dymy nad Birkenau* Szmaglewskiej, trzecim jest właśnie *Apel* Andrzejewskiego. Są to więc teksty drukowane i znane czytelnikom już od dawna, a wspomniane w tej pracy osobno. *Słownik literatury polskiej XX wieku* całą antologię Rudnickiego zaszeregowuje właśnie do grupy utworów, napisanych w duchu „solidarnej pamięci". Tę klasyfikację trzeba nieco uściślić. *Wieczna pamięć*, oprócz wspomnianych wcześniej utworów (fragmentów dzienników, aktów oskarżenia i licznych wyjątków z bezimiennych, ściśle dokumentalnych pamiętników), zawiera także dwa opowiadania Borowskiego i jeden utwór Filipowicza, prezentujące postawę „kamiennego świa-

Nie można też w omawianym teraz nurcie pominąć szczególnego tomu, jakim jest zbiór zredagowany przez Jana Turnau *Dziesięciu sprawiedliwych. Wspomnienia okupacyjne* (1986). Wszystkie zawarte w tym zbiorze teksty wyszły spod pióra pisarzy nieprofesjonalnych. Spośród ponad dziewięćdziesięciu wspomnień sześć dotyczy tematyki obozowej, w szczególności przeżyć z Oświęcimia oraz Ravensbrück. Są to następujące utwory: *Pośród złych byli i dobrzy* autora anonimowego, który podpisał się pseudonimem Cwik; *Dozorczyni Krüger* Marii Dedyńskiej; *Fiołki i bunkier* Mirosławy Grupińskiej; *Świadectwo daje więzień Dachau nr 22829* biskupa Kazimierza Majdańskiego; *Wyróżniał się Scharführer Schumacher* Tadeusza Robaka i *Majster Hinz* Aliny Sobyli-Kobus. Niektóre wspomnienia są bardzo krótkie, inne, jak np. tekst biskupa Majdańskiego, liczą ponad dwadzieścia stron. Mimo dużych różnic w naturze tych tekstów, w stopniu ich literackości i wartości estetycznych, aczkolwiek ich redaktorzy dokonali „niezbędnej adiustacji językowej przy jednoczesnej trosce o zachowanie indywidualnego stylu"[11], wydaje się, że wszystkie są w pewnym ważnym sensie unikalne. Nie stosują one czarno-białej opozycji kata i ofiary. Opisują ludzkie, nawet współczujące, relacje między władcami życia więźniów a uwięzionymi. Na tle dokonanych przez hitlerowców zbrodni jest to ujęcie bardzo kontrowersyjne. Trzeba było sporego dystansu czasowego, by powstała taka praca zbiorowa. Obecnie niewątpliwie służy ona pojednaniu Polaków i Niemców.

Drugą ważną podgrupę tematyczną, czyli przeżycia z łagrów stalinowskich w duchu literatury „solidarnej pamięci", stanowią następujące utwory: *Wyszedłem z mroku* (1989) Mariana Marka Bilewicza; *Wspomnienia starobielskie* (Rzym 1944) i *Na nieludzkiej ziemi* (Paryż 1949, Warszawa 1990) Józefa Czapskiego; *Tyfus, teraz słowiki* (Londyn 1951) Mariana (Dominika Benedykta) Czuchnowskiego[12]; *Inny świat. Zapiski sowieckie* (po polsku Londyn 1953, pierwsze wydanie krajowe w drugim obiegu 1980, Warszawa 1989) Gustawa Herlinga-Grudzińskiego; *Książka o Kołymie* (1949) Anatola Eugeniusza Krakowieckiego; *Z kresów do peczorskich łagrów* (1990) Mieczysława Kumorka; opowiadania z tomu *Ludzie sponiewierani* (Rzym 1945): *Chaplin w łagrze*, *Kazachstańskie noce* i *Chleb*, opowiadania z tomu *Kazachstańskie noce* (poszerzone wydanie poprzedniego tomu, Londyn 1958) oraz jedna część cyklu *Za zamkniętymi drzwiami*: *Wierność życiu* (Londyn 1967) Herminii Naglerowej; *Więźniowie nocy* (1956) Andrzeja Romańskiego; *Po wyzwoleniu... 1944–1956* (Paryż 1985, w Polsce w drugim obiegu 1986, Poznań 1990) Barbary Skargi; w niektórych swych fragmentach *Mój wiek. Pamięt-*

ta". Opowiadanie zaś Pytlakowskiego nie należy do nurtu obozowego, lecz cywilnego: jest to relacja z przesłuchania, tortur i śmierci uczestnika ruchu oporu. Natomiast opowiadania Grossmanna i Pluty zaliczam do kręgu utworów w duchu kanonicznych wartości etycznych.

[11] Zob.: *Nota redakcyjna*. W: *Dziesięciu sprawiedliwych. Wspomnienia okupacyjne*. Zebrał i wstępem poprzedził J. Turnau. Warszawa 1986, s. 11.

[12] M. Czuchnowski publikował także pod licznymi pseudonimami: Józef Buczyna, Michalina Borkowska, Stanisława Jazówna, M.D.C., M.Cz., Franciszek Radus, Szczepan Rawa, Michał Srebrzak, Apolinary Świeć, Bazyli Tur, strzelec Marian.

nik mówiony (Londyn 1977, Warszawa 1990) Aleksandra Wata oraz *Diabeł w raju* (Londyn 1951, Warszawa 1990) Tadeusza Wittlina[13].

Trzeci, deheroizująco-demityzujący nurt literatury obozowo-łagrowej określamy słowami Tadeusza Borowskiego i nazywamy nurtem koncepcji **„kamiennego świata"**. Jest to nurt sięgający do sedna konsekwencji antropologicznych epoki pieców krematoryjnych i „białych krematoriów". Utwory lokujące się w tym nurcie podejmują nieubłaganą polemikę z usypianiem sumienia w każdym z nas, z konsolacyjnymi mitami kulturowymi i narodowymi; podważają przeświadczenie o dobroci człowieka i wyjątkowości Polaka; nieufnie przyjmują traktowanie walki sił postępowych z faszyzmem oraz stalinizmem w kategoriach odwiecznej walki Boga z szatanem; nie podzielają przekonania, że wartości humanistyczne zawsze odnoszą zwycięstwo. Twórcy koncepcji „kamiennego świata" świadomie przeciwstawiają się więc mesjanistycznym mitom narodowym i przypisywaniu Polakom szczególnych cech i zasług w zachowaniu kanonu wartości w warunkach ekstremalnych. Warto też przypomnieć, że literatura martyrologiczna proponuje schematy łatwo czytelne, bo wyrażone w sposób bezpośredni. Przesłanie nurtu demityzująco-deheroizującego dochodzi natomiast w utworach do głosu bez ostentacji, *implicite*. Przedstawiciele tego nurtu poddają zachowanie człowieka bezwzględnej analizie. Uważają, że stworzone przez system totalitarny machiny represji i zagłady nie znajdują ścisłej analogii w dotychczasowych doświadczeniach ludzkości. Dostrzegają, wyróżniają i charakteryzują cechy swoiste nowoczesnych systemów totalitarnych. Traktują obozy i łagry jako kwintesencję organizacji totalitarnej. Autorzy unikają w swoich utworach porównań między światem obozowym i przedobozowym. W opisach „kamiennego świata" zanikają ślady wcześniejszego życia osobistego bohaterów. Na ogół brak informacji o tym, jak i z kim się żyło, co się studiowało, gdzie się pracowało, co się jadło. „Przeżyciem totalnym" w tych utworach jest **wyłącznie** obóz lub łagier. Ani jeden, ani drugi nie ulega już konfrontacji retrospektywnej. „Przeżycie totalne" w pozostałych nurtach egzystowało właśnie na cząstkach idealizowanej przeszłości. Wspominanie jej i upiększanie było nieodłącznym elementem życia za drutami. Wszystko, co było wcześniej, musiało wypaść korzystnie. „Kamienny świat" jest hermetycznie zamknięty, całkowicie oddzielony od świata zewnętrznego — zarówno obecnego, jak i wcześniejszego. Rządzi się on tylko swoimi autonomicznymi prawami. W tym świecie ostateczną konsekwencją jest całkowite zobojętnienie więźnia na krzywdę innych.

Twórcy „kamiennego świata" nie poprzestali na wiernym opisie zbrodni, odsłaniających charakter systemu. Ich opisy implikują pytanie: jak mogło dojść do tego, co się dzieje. Odpowiedź nie jest ani prosta, ani łatwo czytelna. Można ją jednak wykryć: system cywilizacji więziennej ma cechy swoiste, ale nie jest przypadkiem w dziejach. Jest rezultatem zbrodni długotrwałej, zamierzonej, zaplanowanej; rezultatem zbycia się własnej roli przez miliony uwiedzionych zbrodniczą ideą ludzi. Okazali się oni trybami w mechanizmie. Akcentowanie systemowości zbrodni paradoksalnie idzie w parze z zaniechaniem prób wyrażania jakichkolwiek

[13] Por.: BURSKA 1992: 743.

ocen politycznych. Twórcy wizji „kamiennego świata" nie podejmują w swych utworach analizy ideologii faszyzmu czy stalinizmu. Ta refleksja przyjdzie później.

Do kręgu utworów podejmujących temat obozowy zgodnie z koncepcją „kamiennego świata" należą następujące: opowiadania Tadeusza Borowskiego zawarte w tomach *Byliśmy w Oświęcimiu* (1946, wyd. krajowe 1948), *Kamienny świat* (1948) oraz *Pożegnanie z Marią* (1948); opowiadania Kornela Filipowicza *Chleb oddany*, *Dom nad rzeką*, *Krajobraz który przeżył śmierć*, *Książę Galicyn* i *Złoty krzyżyk* z tomów *Krajobraz niewzruszony* (1947) oraz *Krajobraz który przeżył śmierć* (1956); *Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana* (1968) Adolfa Gawalewicza; *Trzeba głęboko oddychać* (1961) Ryszarda Gerta[14]; *Pięć lat kacetu* (1958) Stanisława Grzesiuka; *Za drutami śmierci* (1962) Abrama Kajzera; *Anus mundi. Wspomnienia oświęcimskie* (1972) Wiesława Kielara; siedem opowiadań Zofii Nałkowskiej, zawartych w tomie *Medaliony* (1946); *Szopa z jaśminami* (1948) Tadeusza Nowakowskiego; *Poszukiwanie* z tomu *Wakacje Hioba* (1962) Bogdana Wojdowskiego.

Wizja człowieka za drutami, pogrążonego w cywilizacji więziennej — w wersji wschodniej — to wizja „białych krematoriów". Niewiele jest w literaturze polskiej utworów, które odważyły się sięgnąć do dna. Są to jedynie opowiadania Pawła Mayewskiego zawarte w tomie *Rzeka* (Londyn 1960, przekład z języka angielskiego) oraz Leo Lipskiego (Lipschütza) w tomie *Dzień i noc* (Paryż 1957). Zaskakująco mała liczba utworów zgodnych z koncepcją „kamiennego świata" — jeśli chodzi o tematykę wschodnią — wynika z licznych przyczyn, przede wszystkim pozaliterackich. Czerwony totalitaryzm nastręczał bowiem szczególne trudności, jego ideologia nie ujawniała się łatwo jako zbrodnia. Po wtóre, sytuacja walki przeciwstawnych systemów politycznych Wschodu i Zachodu doprowadziła do tego, że autorzy publikujący na emigracji (bo przez wiele lat tylko oni mogli pisać o łagrach publicznie) także chcieli odpowiadać pewnym kryteriom ówczesnej politycznej poprawności. Była to sytuacja, w której polskiemu pisarzowi emigracyjnemu nie wypadało kreślić obraz zdeprawowanego Polaka, lagrowanego przez „Sowietów". Dlatego też powstało w emigracyjnym piśmiennictwie polskim sporo utworów martyrologiczno-mitotwórczych, innymi słowy, tendencyjnych, o wyraźnej nucie politycznej.

W powyższym zarysie świadomie pominięty został problem Holocaustu. Nie dlatego, że nie zdaję sobie sprawy ze znaczenia i historycznego ciężaru tego strasznego dziedzictwa XX wieku. Nie dlatego, że nie wiem, iż w Oświęcimiu ginęli przede wszystkim Żydzi. Ale sam termin jest dziś wieloznaczny i mało precyzyjny. Pod tym terminem potocznie rozumiemy Holocaust Żydów, ale przecież istniał też Holocaust Cyganów, Holocaust mniejszości seksualnych, Holocaust psychicznie chorych... W rozumieniu historycznoliterackim literatura Holocaustu — to literatura inna, „żydowska", tworzona przez pisarzy pochodzenia żydowskiego i wyraźnie akcentująca martyrologię Żydów. Wymienione wyżej utwory mają inny charakter. Na przykład Krystyna Żywulska, pisarka pochodzenia żydowskiego, autor-

[14] Zob.: RAJEWSKI 1965.

ka książki zaliczanej do kręgu utworów martyrologiczno-mitotwórczych, nie zwerbalizowała w utworze *Przeżyłam Oświęcim* żadnych refleksji związanych ze swym pochodzeniem, nie wywyższała też wśród ofiar Żydów. Zofia Kossak-Szczucka, która w okresie międzywojennym słynna była ze swych poglądów antysemickich, nie zostawiła w swej książce *Z otchłani* żadnego tego typu śladów. Autorzy polscy — niezależnie od pochodzenia i narodowości — potrafili patrzeć na analizowaną problematykę bez uprzedzeń, z należnego dystansu. Ich zasługą jest przedstawianie człowieka w warunkach ekstremalnych — człowieka, a nie Żyda, Polaka, Rosjanina, choć cechy narodowe niekiedy analizowane są w utworach — zwłaszcza martyrologiczno-mitotwórczych — wedle zasad zakorzenionych w obiegowych opiniach. Polska literatura Holocaustu tylko w małym stopniu zahacza się o wspomnianą problematykę i stanowi osobny rozdział polskiej literatury narodowej. Jej twórcy reprezentują raczej inny nurt tematyczny — temat cywilny, temat gett, codzienności okupacji, a wśród wszystkich tematów na plan pierwszy wysuwa się temat powstania w Getcie Warszawskim.

Literatura

BURSKA 1992: Burska L. Obozowa literatura. In: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków.

CZAPLEJEWICZ 1992: Czaplejewicz E. Polska literatura łagrowa. Warszawa.

HERLING-GRUDZIŃSKI 1989: Herling-Grudziński G. Inny świat. Zapiski sowieckie. Warszawa.

RAJEWSKI 1965: Rajewski L. Za drutami. Antologia pamięci 1939–1945. Warszawa.

DANILEWICZ-ZIELIŃSKA 1992: Danilewicz-Zielińska M. Szkice o literaturze emigracyjnej. Wrocław – Warszawa – Kraków.

Abstract

Polish Concentration- and Labour-camps Literature Framework

After the end of the Second World War Polish writers took quite a new task in European literature tradition. In spite of everyday being difficulties: lack of paper, the used editions and destroyed printing houses, in masses the prose compositions started to appear trying to present the picture of dual totalitarianism. From one day to another appeared more new texts relating to Nazi- and Stalin-concentration camps and compulsory work camps.

Political situation on Polish lands after 1944 year caused that the literature concerning Stalin-camps could develop only on emigration, and its full receipt in the country took place only after 1989. In spite of this one of the most desert of Polish literature in the second half of 20th century is this, that in the more distinct and complex way than any other European literature presents labour camps problems, which treats in a wide historic context as a logical consequence of totalitarian systems being. Parallel, in Polish prose started to emerge three artistic concepts: martyrological imagination, named also as "mythcreative", the type of "solid memory" literature and the imagination, which coming after Tadeusz Borowski we call the conception of "stone world".

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

„...WIĘC NIC ZGOŁA NOWEGO NIE MA POD SŁOŃCEM."[1] – A JEDNAK JEST? (KILKA PARAFRAZ PSALMU 137 W POEZJI POLSKIEJ I ROSYJSKIEJ)

CZÖVEK Ágnes

Parafraza i jej charakter

Węgierski słownik literatury światowej zawiera następującą definicję parafrazy: „W znaczeniu literackim jest to przepisywanie oraz przeróbka tekstu (fragmentu tekstu) celem wytłumaczenia, interpretacji albo w celu artystycznym. Może być obszerniejszy, ale nie zafałszuje oryginalnego znaczenia. W szerszym rozumieniu parafraza to swobodniejsza przeróbka, tłumaczenie. (...) Najczęstszą parafrazą jest przeróbka utworu poetyckiego w prozie, jednak istnieje także przeróbka utworu prozaicznego w prozie, czasami w wierszu." (*Világirodalmi Lexikon* 1986, t. 10: 141–42) Niniejsza praca zajmuje się wyłącznie parafrazami poetyckimi.

Parafrazy są powtórzeniami. Powtarzają to, co człowiek uważa za potrzebne, o czym myśli, że jest ważne zachować i przekazać innym. Powtarzanie jest jakimś tworzeniem i przechowaniem wartości. Z drugiej strony powtarzanie budzi w nas przyjemne uczucia, że coś jest nam znane. To jest podstawowe dla człowieka, bo przytulność daje poczucie bezpieczeństwa. W dziedzinie sztuki daje nawet przeżycie estetyczne. Odbiorca uważa raczej za „swój" przeczytany już utwór, który oczywiście może pokazać jemu inne swoje warstwy, przecież nigdy nie czytamy tak samo.

Mimo to, że są „tylko" powtórzeniami, parafrazy zawsze mogą dać coś nowego, nawet gdy powtarzają coś dosłownie. To jest ich drugą ważną cechą. Może to mieć dwie przyczyny. Pierwszą przyczynę wytłumaczymy dalszym ciągiem naszego motta: „Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: «Patrz, to coś nowego» – to przecież istniało to już w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o tych, co żyli dawniej, ani też o tych, co będą kiedyś żyli, nie pozostanie wspomnienie u tych, co będą potem" (Koh 1, 10–11). Oprócz pamięci istnieje więc również zapomnienie. Drugim powodem tego, że parafrazy dają coś nowego jest ten nowy, inny kontekst, w którym pojawiają się te parafrazy. A nowy kontekst przepisuje tekst, przetwarza też jego wewnętrzne relacje.

W dalszym ciągu zajmuję się wyłącznie parafrazami tekstów Biblii: do nich należą wiersze parafrazowane, o których piszę później. Tymczasem przypomnę nowe pojęcia: pojęcie parafrazy pełnej i niepełnej. Parafraza pełna polega na przejęciu tekstu biblijnego – tak powstaje nowy utwór. W przypadku utworów lirycznych oczywiście musimy wspomnieć o parafrazach takich tekstów biblijnych, jak

[1] Koh 1, 9

np. Księga Psalmów, Pieśń nad Pieśniami lub część pierwszego listu Pawła Apostoła do Koryntian (I Kor 13, 1–13).

Przez parafrazy niepełne rozumiem tego typu interpretacje, które tylko częściowo opierają się na tekstach Pisma Świętego, nie w pełni przejmują teksty z Biblii, nawet wkładają je w inny kontekst w taki sposób, że „dopisują" do tekstu biblijnego kolejne teksty. Często zdarza się, że te „dopisane" teksty dominują w parafrazie (ze względu np. na swoją długość). W dalszej części pracy podejmę próbę pokazania większej ilości wariantów parafraz pełnych i niepełnych.

Psalm i jego parafrazy

Wiersze występujące w niniejszej pracy są parafrazami psalmów, dlatego przypomnijmy pewne istotne cechy definicyjne psalmu. Pierwotnie był on gatunkiem starożytnej religijnej poezji hebrajskiej. Należy powiedzieć, że termin *psalm* był szerokim pojęciem. Należały do niego bardzo różne pieśni religijne: hymny, modlitwy, pieśni pochwalne, fraszki. Te pieśni wykonano przy akompaniamencie instrumentów, co było podstawowym elementem liturgii nabożeństwa (później również w liturgii chrześcijańskiej). W Piśmie Świętym zawartych jest 150 psalmów. W rzeczywistości powstało ich więcej, ale one nie zostały włączone do Biblii w procesie kanonizacji. Według tradycji ich autorem był grający na lirze król Dawid: on i jego syn stworzyli kult Jahwe w Jerozolimie. Psalmy biblijne niewątpliwie pochodzą od różnych autorów, nawet Pismo Święte o tym wspomina.

Charakter tych pieśni odpowiadał ich przeznaczeniu: psalmy były śpiewane na nabożeństwach. Melodia psalmów ułatwiała zapamiętywanie tekstów, opartych na paralelach. Przed erą druku fragmenty, których ludzie uczyli się na pamięć wzięte były z Biblii, a najczęściej z Księgi Psalmów. To właśnie te teksty śpiewali w kościołach. Kiedy wydano Pismo Święte, psalmy też zostały udostępnione nawet w oddzielnych tomikach, przeznaczonych do osobistego użytku. Wszystko to pokazuje, że Księga Psalmów jest jedną z najbardziej znanych i popularnych ksiąg Biblii. Wciąż śpiewano psalmy, oczywiście nie z oryginalnymi melodiami hebrajskimi, lecz według nowych wzorów. W czasie reformacji to się również zmieniło – kolejne melodie rozpowszechniały się w nowych, protestanckich zborach. Powstały też nowe warianty tekstów. Wraz z przekładami Biblii zwiększyła się ilość wariantów tekstów; autorzy śpiewników przepisywali teksty psalmów w metrum, dostosowując je do swojego języka ojczystego.

Ponieważ teksty psalmów były znane ludziom żyjącym w tradycji żydowsko-chrześcijańskiej, dlatego powstały różne ich warianty; przecież pamięć ludzka nie jest doskonała. Proces ten dokonał się w mniejszej mierze, bo teksty psalmów były chronione przed „zepsuciem", i zmianami dzięki swojemu charakterowi sakralnemu. Tego rodzaju teksty różnią się od innych tym, że przypisuje się im natchnienie boskie, są „używane" wyłącznie do celów sakralnych. Biblia jest utworem inspirowanym przez Boga, w którym objawia się sam Bóg (choć pisanym przez ludzi), więc psalmy są rzeczywiście modlitwami i wypełniają funkcję sakralną.

Musimy jeszcze naświetlić proces desakralizacji psalmów, aby lepiej zrozumieć charakter parafraz. Ten proces osiągnął punkt kulminacyjny w literaturze pięknej: przez przekłady psalmów docieramy do takich utworów, jak np. wiersze Tadeusza Nowaka. Już ich tytuły pokazują, jakie mają tematy: *Psalm milczący, Psalm wilczy, Psalm poweselny, Psalm codzienny* itp. Ze względu na temat tych utworów nie mają one nic wspólnego z psalmami, są całkowicie świeckie. Natomiast autor tytułuje je „psalmami" i dlatego utwory te nabierają charakteru sakralnego i dostają się do innej sfery, podniosłej.

Psalm 137

Tytuł niniejszej pracy sugeruje, że w dalszym ciągu zajmuję się wyłącznie parafrazami Psalmu 137. Zajmuję się właśnie tym dobrze znanym psalmem dlatego, bo podczas moich badań znalazłam różne parafrazy tego psalmu w poezji rosyjskiej i polskiej, które warto zanalizować oraz porównać ze sobą. Zanim je przeanalizuję, zwróćmy uwagę na tekst biblijny.

Niektórzy z uczonych badających Pismo Święte twierdzą, że ten psalm jest pod względem formy odizolowany w Księdze Psalmów. Nie można określić jego gatunku: nie jest modlitwą i adresowaną do Boga [przynajmniej nie na początku psalmu – Á. Cz.]. Przekleństwo, które występuje na końcu Psalmu 137 jest świadectwem religijności innych narodów otaczających Żydów. Tymczasem wydaje się być bardziej zasadnym wliczenie go do narodowych pieśni żałobnych. Takich jak: Ps 44; 60; 74; 79–80; 83; 85; 89–90. Psalm 137 jest niepełny: nie ma inwokacji, ale jest w nim zawarta skarga na swój własny los (w. 1–2), oraz na wroga (w. 3–6). Zawiera również prośbę: w wierszach 7–9: o ukaranie wroga. Nie ma ona drugiej części, mianowicie błagania o wyzwolenie. Psalm ten powstał w epoce niewoli babilońskiej.[2]

Bez wstępu, *in medias res* brzmi skarga. W niewoli babilońskiej „nad rzekami" mieszkali jeńcy: według Ez 1, 1; 3, 15 chodzi tu o rzekę lub kanał Kebar. Wspominając Syjon jeńcy płakali i wieszali swoje instrumenty na gałęziach wierzb nad kanałem na znak żałoby (Nie harfy lecz liry. W Palestynie zostały znalezione lutnie, a nie harfy.) Babilończycy utrudniali los jeńców tym (...), iż domagali się od nich wesołego śpiewania. Na pewno znane były świąteczne pieśni o Syjonie (np. Ps 46; 48; 76; 84; 87; 122). Jeńcy z oburzeniem odrzucali śpiewanie ich dla zabawienie Babilończyków (zob. Sdz 16; 25). (Narodowe pieśni żałobne boleśnie wspominają o szyderstwie wroga; Ps 44, 14–17; 74, 9–11; 79, 4; 80, 7; 89, 42.) To nie są pieśni o Syjonie, jak je nazwali Babilończycy (w. 3), ale do Jahwe (w. 4). Spełnienie życzenia zostało odrzucone takim więc argumentem, co wróg odebrał poważnie. W starożytności myślano tak, że bogowie także mają swój obszar, nad którym panują i tylko tam można ich adorować (Pwt 32, 8; 1Sm 26, 19; 2Krl 5, 17;

[2] Niewola babilońska trwała około 8–6 w. przed n.e.. Imperia Asyryjska zmusiła Żydów i różne mniejsze narody do życia w niewoli. „Szczyt" tego wydarzenia był w 587, kiedy Nabuchodonozor okupował i zburzył Jerozolimę. Niewola skończyła się w 538, kiedy król perski zdobył Babilonię i wyzwolił Żydów.

Oz 9, 3–6). Miejscem adoracji Boga jest więc Jerozolima. Autor psalmu przeklina siebie, jeśliby kiedykolwiek zapomniał o Jerozolimie. A gdyby zapomniał o Jerozolimie, za pomocą tego przekleństwa warunkowego chce, aby zapomniał o nim swoja prawica i swój język przyschnął do podniebienia, więc niech będzie paralitykiem i niemową.[3] Na drugim planie tego strasznego przekleństwa jest poddanie w wątpliwość wiary niektórych jeńców. Chcieli ulżyć swojemu losowi, więc opuścili „czystą wiarę" swych ojców i zrobili bożków i zbudowali kościół w Babilonie. Na to sam Bóg powiedział „nie" i poparł to przysięgą (Ez 20, 32–44; przysięga znajduje się w wierszu 33). Pan Bóg chce, żeby Jego lud adorował Go na Swojej Świętej Górze (w. 40). To będzie „największa moja radość" – mówi autor psalmu na końcu wiersza 6. ponieważ on należał do tych, którzy pozostali wierni Bogu nawet w najtrudniejszej sytuacji. Wiersz 7 jest modlitwą, w której zwraca się do Boga: „Przypomnij, Panie!" Jeśli Bóg o kimś przypomina, to znaczy błogosławieństwo i nagrodę (Rdz 30, 22; 1Sm 1, 11; 19; Ps 8, 5; 25, 7; 79, 8; 98, 3; 115, 12; Łk 1, 54; 72–75). Tu natomiast przypomnienie oznacza coś innego, jak np. w innych częściach Starego Testamentu: nie zapominanie o winach i kara za nie. Wiersz 7, podobnie do wiersza 3, cytuje słowa wroga: „Burzcie, burzcie – aż do samych fundamentów!". (Niektóre pieśni żałobne też cytują słowa wroga: Ps 3, 3; 22, 9; 35, 21; 25; 40, 16; 41, 6; 9; 42, 4; 11; 64 ,6; 71, 11.) Tak krzyknęli „dzień Jeruzalem", kiedy wojsko babilońskie zdobyło Jerozolimę. Edomici, którzy byli podatnikami Izraela od lat, pomogli wrogowi w burzeniu, zabijaniu i rabowaniu (Jr 49, 7–22; Lm 4, 2; Ez 25, 12–14; 35, 5–15; Ab 8–16). (...) W wierszu 8 schwytanie i rozgniatanie o skałę niemowląt było obyczajem bezlitosnych zwycięzców (2Krl 8, 12; Oz 10, 14; 14, 1; Na 3, 10). Określenie „córa Babilonu" oznacza cały Babilon. Na obrazach u starożytnego Wschodu widzimy infanta siedzącego na łonie niani, a pod jego stopami są wrogowie kraju. Jeśli on zginie, to będzie koniec despotyzmu i wolność uciśnionego narodu.

W innych psalmach także pojawia się błaganie o ukaranie wroga, np. Ps 79, 10–12; 83,10–19. Warto rozważyć, że autorzy psalmów nie chcieli sami mścić się, ale pozostawili to Bogu (Pwt 32, 35; Rz 12, 19). Przecież wróg kpił z Boga (Ps 79, 12), zburzył Jego kościół (Ps 74, 3–8; 79, 1), lżył Jego imię (Ps 74, 18; 79, 10) i niszczył Jego lud (Ps 44, 12; 23). (Jubileumi Kommentár 1995: 631–32)

Kilka parafraz psalmu 137

W literaturze polskiej i rosyjskiej występuje bardzo dużo parafraz Psalmu 137. W dalszym ciągu będę analizować utwory powstałe w XIX i XX w. Moje badania mają na celu pokazanie w jakiej mierze i czym odróżniają się parafrazy od oryginalnego psalmu. Jeśli analizujemy parafrazy z tego punktu widzenia, wybrałam tylko dwie „skrajności": dwie parafrazy pełne oraz dwie parafrazy niepełne (polską i rosyjską), w których związek intertekstualny z psalmem 137 jest reprezentowany przez związki wyrazowe.

[3] Zob. Ps 137, 5–6

Przeanalizujmy parafrazy pełne w wierszu Kornela Ujejskiego (1823–1897) pt. *Super flumina Babylonis* (1845–1850). Po pierwszym czytaniu można zaobserwować pełną zgodność z oryginalnym psalmem (nawet motto przejął z Biblii) a nawet rozszerzenie tematyki przez autora. W wierszu Ujejskiego znajdują się te same elementy biblijne: brzeg rzeki, wiszące instrumenty, popędzanie wroga, autoprzekleństwo, oraz takie sformułowania, jak synowie Edomu i córa Babilonu). Nie można potwierdzić, że ten utwór jest przeróbką „poszerzoną". Parafrazy często odróżniają się od oryginalnego utworu tym, że zachowują jego elementy, ale niektóre także podkreślają i uwydatniają. W taki sposób tekst zyskuje inne znaczenie w porównaniu z oryginalnym. W rzeczywistości powstaje nowy utwór.

Można też z innego punktu widzenia zbliżyć się do tej kwestii. Słowa, z których teksty literackie są zbudowane, mają podwójne znaczenie: z jednej strony, znaczeniem, mówiąc bardzo prosto jest to, co można określić znaczeniem dosłownym. Z drugiej strony znaczenie zależy od kontekstu, w którym się znajduje. Np. słowo *Bóg* ma inne znaczenie dla wierzącego i niewierzącego.

Wiersz Ujejskiego znajduje się w takim kontekście, którego nie wolno pominąć. Utwór powstał w 1845–1850, kiedy Polska była po powstaniu listopadowym. Podmiot liryczny reprezentuje Polaków (może być nawet poetą), a „wróg" w tekście jest wrogiem Polski. O tym fakcie świadczy, że podmiot liryczny mówi o Jerozolimie jak o matce (w. 6). Biblia nigdy nie nazywa tego miasta matką. Ten wyraz pochodzi z literatury polskiej, w której istnieje silna reprezentacja związku wyrazowego *Matka-Polka*.

W wierszu Ujejskiego groźba wrogowi i żądza zemsty jest bardziej podkreślona, niż w psalmie. Podmiot liryczny nie chce pozostawić ukarania wroga wyłącznie Bogu, a podejmie się tego sam w imieniu swojego narodu: na tym polega największa różnica między tym utworem a psalmem:

> Nam tułaczom już swych dłoni na harfy nie kłaść,
> Gdyby struny jak pioruny mogły na was spaść,
> To słuchalibyście drżący z ustami blademi,
> Jaką pieśnią grzmią harfiarze na przeklętej ziemi!

Oraz:

> A odporne miecze nasze zwał mieczami buntu –

Gatunek wiersza legitymuje gniew podmiotu lirycznego, uznaje to za słuszny nawet święty poryw. Jednocześnie podmiot liryczny jest pewny siebie, przecież Bóg pomaga swemu ludowi (zob. w. 9).

W wierszu rosyjskiego poety Lwa Meja (1822–1862) (*Давиду – Иеремием*, 1854) można również znaleźć odwołanie się do gatunku psalmu: tytuł tego utworu często występuje na początku psalmów, sygnuje autora. Ciekawe, że właśnie przed Psalmem 137 nie ma takiej informacji. Przyjmuje się, tradycyjnie iż król Dawid był autorem każdego psalmu.

Ten utwór prawie w całości jest podobny do oryginalnego psalmu, nawet biorąc pod uwagę jego zwięzłą konstrukcję również. Różnica między nimi polega na

tym, że w wierszu lepiej odczuwamy „dramatyczność" sytuacji, ponieważ podmiot liryczny ostro oddzielił od siebie uczestników różnych dialogów: jeńców («Спойте, пленники»), Babilończyków («сыны вавилонские»), Boga («Помяни, Адонай») i Jerozolimę («Мой Шалим»). Tak więc jest oczywiste, kto i do kogo mówi, a autor psalmu tylko cytuje to, co zabrzmiało już wcześniej.

W psalmie 137 nie ma następującego tekstu:

Город господа брани,
Мой Шалим светозарный!

Szalim – to tajna nazwa Jerozolimy, centrum kultu Jahwe, gdzie znajdował się kościół Pana Boga. Według starożytnego sposobu myślenia Bóg w swojej osobie jest obecny w świątyni dla Niego zbudowanej. Dlatego Jerozolima jest najświętszym miejscem, które według Starego Testamentu, pozostaje w związku metonimicznym z Bogiem[4]. W tym wierszu jest peryfraza: „Город господа *брани*" [podkreślone przez autorkę]: podmiot liryczny nie może wypowiedzieć prawdziwego nazwania ani Boga, ani Jerozolimy; to jest siłą pomagającą mu przetrwać w czasie ciężkiej próby.

Jak już wspominaliśmy, wyizolowanie interlokutorów w tekście powoduje powstanie przepaści między nimi. W taki sposób oddzielnie występują synowie Babilonu i sam Babilon: miasto nieczyste, pogańskie i grzeszne pozostaje w opozycji do Jerozolimy.

Podmiot mówiący, w przeciwieństwie do podmiotu lirycznego Ujejskiego, zwraca się do Boga. Stosunek między Bogiem i człowiekiem w tym utworze jest podkreślony tak, jak w Biblii. Nazywa on Boga Adonajem, co czyni wiersz autentycznym (jak np. użycie leksemu Szalim). Dzięki temu potęguje się uczucie, że czas wiersza i historii jest identyczny. Rozmówca Ujejskiego poprzez szczegółowość, a podmiot liryczny u Meja – poprzez dramatyczność próbują wywrzeć wrażenie na odbiorcy. Jesteśmy świadkami prawdziwego dramatu, przebiegającego na dwóch poziomach: z jednej strony między rozmówcą i jego interlokutorami, a z drugiej – w duszy podmiotu lirycznego, która miota się między gniewem; bólem odczuwanym z powodu niewoli i tęsknotą za Bogiem i Jerozolimą.

Następnie zanalizuję parafrazy niepełne, w których związek intertekstualny z Psalmem 137 jest przedstawiony poprzez związki wyrazowe.

Wiersz Adama Asnyka (1838–1897) pt. *Do...* (1868) powstał całkowicie pod wpływem myśli romantyzmu. Utwór jest zbudowany na micie wybitnego człowieka, jego fatalnej indywidualności: na jego sprzecznym losie. Człowiek wyjątkowy nie przyjmuje zasad, reguł bytu ludzkiego, zawsze się im przeciwstawia („Rzuciwszy cnoty"), buntuje nawet przeciwko Bogu:

Niźli do boju stanąwszy z Jehową,
Przeglądać bytu i nicestwa głębie.

[4] Zob. Iz 4, 5; Ps 90, 1

Podmiot liryczny opisuje stronę negatywną tego bytu wyjątkowego: losem wybitnej indywidualności jest wieczny niepokój, samotność i gorycz. Archetypem tego człowieka już od epoki romantyzmu jest Kain zrehabilitowany przez Byrona. Mówca wiersza solidaryzuje się z człowiekiem-Kainem („los nasz jeden").

Na Psalm 137 (Ps 137, 1) wskazują następujące wersy:

Razem więc z tobą synu potępienia,
Nad Babilonu wodami usiędziem,

Miejscem niewoli i smutku w psalmie jest brzeg rzeki. Jest on miejscem samotności bezdomnego człowieka i właśnie dlatego nie jest dostępny fizycznemu poznaniu, jest miejscem wewnętrznym, duchowym. Sam brzeg rzeki jest symbolem osamotnienia, tu dochodzimy do skraju lądu. Stamtąd już tylko krok do wody ciągle zmiennej: z bezpieczeństwa do niepewności, dokąd dochodzimy wbrew naszej woli. Poczucie niepewności wzmaga się: przed nami rzeki Babilonu. Znaczenie negatywne tego miasta (co wiemy z Psalmu 137) zmienia się, ale nie całkiem: miasto nieczyste; bezbożne staje się miastem pustym i bezludnym, dokąd podmiot liryczny jest wygnany. Tymczasem dla człowieka zesłanego każda ziemia jest brzegiem babilońskim, bo nigdy nie czuje się jak w domu. Dla niego nic nie pozostaje; myśli tylko, że dobrze czynił i może być zadowolony siebie, może lekceważyć bezrozumny tłum:

Niech ich pieśń nasza gromem wstydu spali:
Że w nikczemności pędząc żywot marny,
Płażowe szczęście, nie wielkość obrali;
Niech ich ród szczęsny, cierpliwy i karny
Z pokorą znosi losów wyrok twardy,
My im zapłaćmy jałmużną pogardy...

Samotny podmiot liryczny utworu Anny Achmatowej (1889–1966) (*«Все души милых на высоких звездах»*, ok. 1944) spróbuje znaleźć spokój w nostalgii, i dlatego zostaje „stworzona" dla niego możliwość („Царскосельский воздух / Был создан,"). Chce pieśnią opłakiwać tych, których stracił, ale pieśniami takimi, jakie już powstały i trzeba wspomnieć o nich, jak o zmarłych („чтобы песни повторять").

W drugiej strofie pojawia się motyw wierzby nad rzeką, co też występuje w Psalmie 137 (Ps 137, 2). Wierzba jest symbolem śmierci oraz żałoby (PÁL–ÚJVÁRI 1997: 158), bardzo ważnym elementem symboliki w poezji rosyjskiej. W tym utworze wierzba jest metaforą stanu podmiotu lirycznego: gałęzie drzewa chylą się do wody:

У берега серебряная ива
Касается сентябрьских ярких вод.

Spojrzenie w zwierciadło wody można zinterpretować jako spojrzenie w przeszłość, które nie powoduje nic: podmiot liryczny widzi tylko własny cień:

Из прошлого восставит, молчаливо
Ко мне навстречу тень моя идёт.

Samotność i brak towarzyszy doprowadza do częściowej utraty osobowości.

W trzeciej strofie znajduje się inny motyw Psalmu 137 (Ps 137, 2): „Здесь столько лир повешено на ветки,". Podmiot mówiący rzeczywiście opłakuje poetów, którzy byli jego kolegami. Liry powieszone na gałęziach są emblematami przerwanych karier poetyckich i zakończonego życia. Podkreślają samotność podmiotu lirycznego w poezji i życiu. Podmiot liryczny elegijnie stwierdza: „Но и моей как будто место есть", czeka na niego taki sam los: zamilknięcie w poezji i życiu. Znaczenie tego obrazu zmienia się więc w porównaniu z oryginalnym psalmem, w którym liry są symbolami „tylko" przerwanej poezji.

W ostatnich dwóch wierszach smutek przestaje być tak bezgraniczny: zaczyna padać deszcz, przyroda płacze, a płacz przynosi ulgę. Trzeba wspomnieć, że elementy krajobrazu bardzo wyraźnie odzwierciedlają myśli i stan duchowy podmiotu lirycznego: zmarli są *na gwiazdach,* daleko od podmiotu mówiącego, *powietrze carskosielskie* jest atmosferą natchnienia w przeszłości, *wierzba* jest symbolem smutku, żałoby i spojrzenia w przeszłość, *deszcz padający* – to jest emblemat ulgi. Te obrazy są elementami wewnętrznego, subiektywnego świata, co dołącza poezję Achmatowej do poezji współczesnej. Krajobraz w Psalmie 137 jest prawdziwy, obiektywny, można określić go geograficznie. Porównując z nim wiersz Achmatowej, stanowi on drugą skrajność.

Krótko przedstawiłam niektóre warianty parafraz Psalmu 137. Niniejsza praca jest częścią większego studium, które zajmuje się parafrazami pełnymi i różnymi wariantami parafraz niepełnych tego psalmu w poezji polskiej, rosyjskiej oraz węgierskiej XIX-XX w.

W niniejszym tekście przeanalizowałam cztery wiersze. Utwory Ujejskiego i Meja są wierne tekstowi psalmu, ale to nie znaczy, że są prostymi przekładami. Podmiot liryczny Ujejskiego aktualizuje tekst psalmu do wydarzeń swojej epoki, i właśnie dlatego wiersz nie jest skargą jeńców żydowskich, a bolesnym, tymczasem gwałtownym lamentem dzieci rozdzielonej i okupowanej Polski. W utworze poety rosyjskiego, który powstał mniej więcej wtedy, kiedy wiersz Ujejskiego, oczywiście nie ma takiej aktualizacji. W tym wierszu konflikt i jego dramatyczność są podkreślane, które lepiej przeczuwamy, niż w Psalmie 137.

W parafrazach niepełnych Asnyka i Achmatowej motywy brzegu babilońskiego, wierzby i lir są symbolami samotności i smutku. Te wiersze, w przeciwieństwie do Psalmu 137 i przeanalizowanych parafraz pełnych, opisują sytuację jednostki, a nie wspólnoty. Podmiot liryczny Asnyka i Achmatowej zostanie usunięty ze wspólnoty: on przeciwstawia się tłumowi bezrozumnemu w utworze Asnyka, a podmiot mówiący Achmatowej cierpi z powodu utraty osób podobnych do niego. Dlatego symbole występujące w wierszach są elementami krajobrazu wewnętrznego, subiektywnego dla podmiotu lirycznego. W taki sposób płacz nad rzekami Babilonu może stać się toposem tęsknoty i samotności w poezji rosyjskiej i polskiej.

Jeśli analizuję wartość estetyczną wierszy ze względu na to, że są parafrazami, należy wspomnieć o stwierdzeniu na początku niniejszej pracy. Mianowicie: gdy teksty o charakterze sakralnym są częściami tekstów, które nie mają charakteru sakralnego, teksty sakralne mniej więcej przekazują swój charakter sakralny tekstom niesakralnym. Wartość estetyczna pełnych parafraz Ujejskiego i Meja polega na tym, że te utwory zupełnie nabrały charakteru sakralnego psalmu, bo autorzy nie uniknęli charakteru języka Biblii. Parafrazy Asnyka i Achmatowej są doskonale właśnie dlatego, bo wyrażają samotność jednostki jednocześnie w języku swoim oraz w języku Psalmu 137 używając jego obrazy, które zostały symbolami.

Nota bibliograficzna

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 2002: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań

Jubileumi kommentár 1995: Jubileumi kommentár – A Szentírás magyarázata III. Budapest

Keresztény bibliai lexikon 2000: Dr. Bartha Tibor (Red.) Keresztény bibliai lexikon, t. 1. Budapest.

PÁL–ÚJVÁRI 1997: Pál J., Újvári E. (Szerk.), Szimbólumtár. Budapest.

Világirodalmi lexikon 1986: Világirodalmi lexikon, t. 10. Budapest.

Abstract

"...there is no new thing under the sun." – or what if there is? Some Paraphrases of Psalm 137 in Polish and Russian Poetry

Biblical paraphrases give many variations of interpretations of the text of the Holy Scripture. This study is a part of a longer and more detailed work on the paraphrases of Psalm 137 in the Hungarian, Polish and Russian poetry of the 19–20th century. Two Polish and two Russian poems are analyzed in this study. Kornel Ujejski's and Lev Mej's works are faithful to the text of Psalm 137, but this does not mean that they are simple translations. Events from nineteenth-century Polish history are interpreted in Ujejski's poem, the hardships of captivity is emphasized up by the dramatic character of Mej's work. The bank of Babylon's river, the willow with the silent lutes are motives of loneliness and sadness, on the other hand they are elements of a fantasy land in Adam Asnyk's and Anna Achmatova's poems.

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

СЛОВО И ПАМЯТЬ VS ЛОЖЬ В РОМАНЕ «В КРУГЕ ПЕРВОМ» А. СОЛЖЕНИЦЫНА

KOVÁCS Márta Zsófia

Цель данной статьи – анализ оппозиции слова и памяти, с одной стороны, и лжи, с другой стороны, в романе, существующем в двух опубликованных вариантах: один соответствует авторскому замыслу (96 глав), другой – смягчен для цензуры (87 глав). Предмет предлагаемого исследования – первый, полный текст.

В двадцатой главе романа в связи со Сталиным отмечено следующее: «чужим словам никогда не верить, своим – значенья не придавать. Говорить надо не то, что́ будешь делать (ты еще и сам, может, не знаешь, там видно будет, что́), а то, что своего собеседника сейчас успокаивает»(СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 123).

Сталин, один из важнейших персонажей романа, обдумывая свою жизнь (двадцатая глава называется так: Этюд о великой жизни) определяет четыре своих силы. Главная из них – невысказанное решение, вторая – ложь (описанная в нашей цитате другими словами), третья – «если тебе кто изменил – тому не прощать, если кого зубами схватил – того не выпускать, [...] И четвертая сила: не на теорию голову направлять, это еще никому не помогало [...], а постоянно соображать: с кем тебе сейчас по пути и до какого столба» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 123–124).

Другой, не менее важный персонаж, Глеб Нержин, «вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул громадные «Известия», которыми мог бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчет процесса инженеров-вредителей. И поэтому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал – почему, он не мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что все это – *ложь, ложь*. [...] Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчике остро». В молодости «неисторжимо укоренялось в нем решение: узнать и понять! откопать и *напомнить*!» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 260, 261, курсив мой – М. Ж. К.) Уже взрослым, попав в тюрьму, он пишет этюды о русской революции. Искренность для него важнее всего. В разговоре с Рубиным он подчеркивает важность искренности: «пусть ничего не изменилось к лучшему в моем внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня, и случится разговор по душам или прочтешь искреннюю страницу – и вот уже я на гребне!» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 45) Из разговора с Герасимовичем мы узнаем и то, что *слово* у него употребляется и в другом значении (об этом речь пойдет позже).

Д. М. Галперин выделяет в романе три основных типа лжи, а именно: эмпирическую, психологическую и метафизическую ложь (HALPERIN 1973: 260). По мнению Галперина,

"the *empirical* lie is the most obvious. It involves a variety of deceptions in the external order of society – mendacious newspaper articles, falsified production statistics, blatant propaganda, and so forth. All these, however, are products of a pragmatic or *psychological* lie whereby a new, warped code of moral conduct undermines and replaces the individual's ethical system. [...] The psychological lie, in other words, refers to the specific rationale for men's actions; hence it enables us to learn how each empirical fraud can be perpetrated. As for the abstract or *metaphysical* lie, it is the foundation on which the psychological lie rests. The metaphysical lie deforms the general world view of individuals or of an entire nation; it affects the very way people *think* and so ultimately accounts for every man's value system – and the actions which derive from it" (HALPERIN 1973: 260–261).

Исследователь приходит к выводу, что метафизическая ложь заключается в отрицании бессмертия души. Он обращает внимание и на то, что дьявол в Новом Завете чаще всего называется греческим словом διάβολος, образованным от слова διαβάλλω, которое обозначает «ложно обвинить», и цитирует слова Христа, подчеркивающие сущность дьявола таким образом: «не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанн 8,44). В романе лжец и отец лжи – сам Сталин, ведь он является истоком лжи, которая проникает во все общество (HALPERIN 1973: 262–263).

Лживое слово в романе сравнивается с семенем, упавшим «на места каменистые» (Мат. 13, 5). После того, как зэки узнают о жестоком и бессмысленном указе майора Мышина (согласно которому заключенным почти невозможно будет поддерживать связь с родственниками), майор Ройтман собирает их на производственное совещание для информации о планах: «Как раз в это утро начиналась последняя неделя года, в которую, по замыслу институтского начальства, надо было совершить героический рывок, чтобы выполнить годовой план 1949 года и план декабря, а также разработать и принять годовой план 1950 года, квартальный план января–марта и отдельно января и еще план первой декады января» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 552, 554).

В предыдущих главах, в связи с особой секретной телефонией, выясняется, что все такие планы – вымыслы, сроки – бессмысленны и невыполнимы. В январе 1948 года «Отцу восточных и западных народов кто-то подсказал идею создать особую секретную телефонию – такую, чтоб никто никогда не мог бы понять, даже перехватив, его телефонный разговор . (...) И сроку дал – до первого января сорок девятого года [...] Задание было сверхответственно и исключительно по сжатому сроку. В министерстве подумали – и определили Яконову вытаскивать Марфино самому» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 56–57).

Когда министр Абакумов требует срочно закончить конструкцию аппарата, Яконов, Осколупов и Селивановский («эта тройка лгунов») договариваются «просить отсрочки десять дней. К десятому января обещать два экземп-

ляра телефонной установки». Все они (включая и Абакумова) знают, что «не помогут десять дней и не поможет месяц там, где ушли два года». Яконов знает «и те тысячи трудностей, уже побежденных и еще только возникающих, среди которых, как в море пловцы, пробираются его инженеры. Да, через шесть дней истекал последний из последних сроков, выпрошенных ими же самими у этого куска мяса, затянутого в китель. Но выпрашивать и назначать несуразные сроки приходилось потому, что с самого начала на эту десятилетнюю работу Корифей Наук отпустил сроку год» (Солженицын 1990: 92, 93).

И когда майор Ройтман говорит зэкам о других подобных лживых планах и сроках, даже «у самых заклятых энтузиастов казенной работы» не находит он отклика, по выражению Солженицына: «сеял он – на камне» (Солженицын 1990: 555).

Сравнение лживого слова с семенем, упавшим «на места каменистые», является не единственным случаем, когда автор намекает на учение Христа. В этой же главе мы читаем следующие, вполне иронические строки: «Никто бы не мог обвинить министерство в евангельском образе жизни! Но одна евангельская черта в нем была: правая рука не знала, что делала левая» (Солженицын 1990: 554).

Есть еще одно важное евангельское изречение, которое цитируется опять-таки иронически. Сталин, воспоминая о Ленине и его сотрудниках, характеризует их следующим образом: «Вся эта шайка, которая наверх лезла, Ленина обступала, за власть боролась, все они очень умными себя представляли, и очень тонкими, и очень сложными. Именно сложностью своей они бахвалились. Где было дважды два четыре, они всем хором галдели, что еще одна десятая и две сотых. Но хуже всех, но гаже всех был – Троцкий. Просто такого мерзкого человека за всю жизнь Сталин не встречал. С таким бешеным самомнением, с такими претензиями на красноречие, а никогда честно не спорил, не бывало у него «да» – так «да», «нет» – так «нет», обязательно: и так – и так, ни так – ни так!» (Солженицын 1990: 121–122)

Здесь нетрудно узнать предупреждение Христа: «Но да будет *слово* ваше: «да, да», «нет, нет»; а что́ сверх этого, то́ от лукавого» (Мат. 5, 37). (Выделено мной – М. Ж. К.) При этом заслуживает внимания тот факт, что персонаж, который формулирует такое требование к товарищам – Сталин, представленный в романе как лжец и отец лжи.

Ложность или искренность слов в этом свете приобретают в романе особенно большое значение. Ложь представляется как источник всех других злодейств. В качестве примера возьмем Рубина. Галперин указывает на следующее: „While claiming complete objectivity in everything [...], he takes part, following Stalin's lead, in the falsification of what he knows to be true" (Halperin 1973: 265).

«О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть беспартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина социализма пробивается порою

кружным искаженным путем. А поэтому следовало отбирать для них, как и для Истории (как бессознательно отбирал он и для себя) – только те из происходящих событий, которые подтверждали предсказанную столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые заворачивали как бы не в болото» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 20).

Искажение реальности ведет его к тому, что он путает вора с обокраденным, и помогает органам власти найти человека, позвонившего в американское посольство. Нержин обращает внимание Рубина на эту путаницу:

– Значит, пусть этот прыщ отдает бомбу Западу?...

– Ты спутал, Левочка, – нежно коснулся отворота его шинели Глеб. – Бомба – на Западе, ее там изобрели, а вы воруете. [...] Бомбу надо морально изолировать, а не воровать (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 347).

Но Рубин, запутанный во лжи, не слышит аргументов Нержина. Он – одержим своим лживым мировоззрением, и эта ложь не позволяет ему видеть истины.

В романе нередко встречаются ссылки на Достоевского. Что касается лжи, она представлена как источник всяких других злодейств и в повести *Сон смешного человека.* Герой повести, как известно, рассказывает о своем сне, который он видел в ту ночь, когда хотел совершить самоубийство. Во сне ему видится «земля, не оскверненная грехопадением», с людьми, которые были прекрасны и невинны до тех пор, пока он не «развратил их всех» (ДОСТОЕВСКИЙ 1986: 527, 531). Стоит процитировать описание процесса «развращения»: „Как это могло совершиться – не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось *невинно*, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность – жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь [...]» (ДОСТОЕВСКИЙ 1986: 531).

В повести подчеркивается, что намерение может быть неплохим («это, может быть, началось *невинно*, с шутки, с кокетства, с любовной игры»), следствия все-таки – трагические. В романе мы видим то же самое: все начинается с атома лжи, кажущейся невинной. О Рубине узнаем, как он впервые «переступил тюремный порог. Двоюродный взрослый брат, перед которым шестнадцатилетний Левка преклонялся, поручил ему спрятать типографский шрифт. Левка схватился за это восторженно. Но не уберегся соседского мальчишки. Тот подглядел и *завалил* Левку. Левка не выдал брата – он сплел историю, что нашел шрифт под лестницей» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 528). Ложь, которая в этом случае кажется совсем не пороком, становится источником страшных поступков: «Вскоре после тюрьмы, заглаживая вину перед комсомолом и спеша самому себе и единственно-революционному классу доказать

свою полезность, Рубин с маузером на боку поехал коллективизировать село. [...] Разумелось само собой! – разрывать ямы с закопанным зерном, не давать хозяевам молоть муки и печь хлеба, не давать им набрать воды из колодца. И если дите хозяйское умирало – подыхайте вы, злыдни, и со своим дитем, а хлеба испечь – не дать» (Солженицын 1990: 532–533).

Ложь в романе представляется не только как возможность, выбранная квази добровольно и приводящая к весомым злодействам, но и как принуждение. Здесь мы имеем в виду, в первую очередь, жен заключенных. Для них нет другого выбора, кроме как лгать, иначе они будут лишены всего, что нужно для жизни. Жена инженера Герасимовича, сравнивая собственную судьбу с судьбой жен декабристов, выговаривает такие горькие слова: «Легко было любить в девятнадцатом веке! Жены декабристов – разве совершили какой-нибудь подвиг? Отделы кадров – вызывали их заполнять анкеты? Им разве надо было скрывать свое замужество как заразу? – чтобы не выгнали с работы, чтобы не отняли эти единственные пятьсот рублей в месяц? В коммунальной квартире – их бойкотировали? Во дворе у колонки с водой – шипели на них, что они враги народа? Родные матери и сестры – толкали их к трезвому рассудку и к разводу?» (Солженицын 1990: 273)

Эта ложь, не выбранная, а вынужденная, потом рождает ложь опять. На упрек Оли Надя не может ответить то, что ей хотелось бы:

«– Видишь ли, Надя. Я не хотела бы тебя обидеть. Но, как сказал наш общий друг Аристотель, человек есть животное общественное. И вокруг себя мы можем раздавать веселье, а мрак – не имеем права. [...]

– А ты не можешь понять – тихо, убито выговаривала она, – как бывает тяжело на душе?

– Как раз я очень могу понять! Тебе тяжело, да, но нельзя так любить себя! Нельзя себя настраивать, что ты одна страдалица в целом мире. Может быть, другие пережили гораздо больше, чем ты. Задумайся. [...]

Надя отлично поняла, что Оля говорит о потерях – своих. Поняла, но не приняла. Потому что ей представлялось так: непоправима всякая смерть, но случается она, все-таки, однократно. Она сотрясает, но – единожды. [...] Неразмычное же надино горе – всегда вокруг, всегда держит, оно – в прошлом, в настоящем и в будущем. И как ни мечись, за что ни хватайся – не выбиться из его зубов.

Но чтобы достойно ответить, надо было открыться. А тайна была слишком опасна. И Надя сдалась, уступила, *солгала* [...]» (Солженицын 1990: 367–368) (Выделено мной – М. Ж. К.)

Заключенные тоже принуждены лгать, чтобы защитить себя от дальнейших наказаний. По выражению Солженицына, «человек устроен так, что пока он жив, у него всегда есть еще что отнять. [...] И чтобы избежать [...] досадных последних наказаний, арестант равномерно выполняет ненавистный ему унизительный тюремный режим, медленно убивающий в нем человека» (Солженицын 1990: 706). Ложь в этом случае проявляется в поведении. Используя термин Галперина, мы можем назвать эту ложь психологической, а в

качестве примера возьмем тот случай, когда Нержин, узнав о том, что поцеловать жену и пожать ей руку запрещено, хочет что-то крикнуть подполковнику, но потом передумывает и молчит.

«Нержин почти предуслышал, как Климентьев рявкнет сейчас:

– Лишаю свидания!!

И задохнулся. [...]

Всегда какая-нибудь такая мысль останавливает тех, кто мог бы выкрикнуть правду или добыть справедливость» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 247–248).

Ложь в этом случае – не слово, а молчание. Дядя Иннокентия Володина чувствует себя тяжелее всего из-за необходимости вывешивать флаг по праздникам, потому что это для него – ложь. Его положение – пример тому, что люди свободные тоже принуждены лгать.

Возникает вопрос: есть ли разница между людьми, которые лгут добровольно и из интереса, и теми, которые поступают так по принуждению, чтобы защитить себя и/или своих любимых?

Одно различие в романе обозначено достаточно четко. У людей, подобных Иннокентию, совесть – не испорчена. Когда они лгут, они знают это, и переживают это особенно сильно. У людей первой группы – испорченная совесть обычно молчит, но есть немногие, в которых она заговаривает. Интересным образом это всегда случается ночью. Им – как бы во сне – видится случай, когда они поступили против своей совести. Ройтман «по капризу памяти вспомнил себя мальчишкой: с безжалостной ясностью *в ночном мозгу* всплыл глубоко забытый, много лет не вспоминавшийся эпизод» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 543). Яконов «взбирался тропинкой через пустырь, не замечая – куда, не замечая подъема. [...] За тот час, что он вылез из автомобиля, неузнаваемо преобразилась отходившая, все холодавшая *ночь*. [...] Разящее воспоминание прохлестнуло Яконова. [...] Двадцать два года назад на этом самом месте он стоял с девушкой, которую звали Агния" (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 165–166). Что касается Рубина, «напрасно пытался он уснуть! [...] А сквозь память тянулись воспоминания [...] Чего не выматывает *бессонная ночь* из души печальной, ошибавшейся?..» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 527, 532, 533, курсивы мои)

Сошлемся опять на повесть Достоевского. Смешной человек так рассказывает о своем сне: «Я ведь *каждую ночь не сплю* до самого рассвета и вот уже этак год. Я просиживаю всю ночь у стола в креслах и ничего не делаю. [...] Сижу и даже не думаю, а так, *какие-то мысли бродят*, а я их пускаю на волю. [...] Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. [...] Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября!» (ДОСТОЕВСКИЙ 1986: 521–523)

Этот сон – подобно воспоминаниям Ройтмана, Яконова и Рубина – смешному человеку открывает собственную вину: как «заразил собой всю счастливую, безгрешную [...] землю» (ДОСТОЕВСКИЙ 1986: 531).

Мы до сих пор только в незначительной мере занимались тем персонажем *Первого круга*, о котором можно сказать то же самое: заразил собой всю землю. На самой первой странице романа о нем пишется следующее: «Одному-

единственному человеку за дюжиной крепостных стен *не спится по ночам*». В дальнейшем мы читаем такую фразу: «*невольно предался угнетенному строю мысли*». Обратим внимание на выделенные нами выражения: ни смешной человек, ни „маленький желтоглазый старик" (Солженицын 1990: 110, 103) не спят по ночам, и оба дают свободный ход мыслям всякого рода.

Однако есть значительная разница между героем Достоевского и Сталиным: смешной человек засыпает, и во сне заговаривает его совесть. Он узнает Истину, и, осознав свою вину, начинает новую жизнь. Другой человек (изображенный не менее смешным (см. Солженицын 1990: 103)) заснуть не может, и хотя собственные воспоминания открывают ему прошлое, Истину в них увидеть он не умеет.

Сталину и людям, которые лгут добровольно и из интереса, сон не дается. В романе в подробностях описывается только сон Спиридона и намного менее подробно сон Иннокентия (Солженицын 1990: 545–546, 701). Упоминаются кроме этого сны заключенных: их любимое занятие рассказывать их. Поскольку анализ снов не является предметом данной статьи, обратим внимание только на следующее: все эти сны – арестантские, и все они – лишены гармонии. Зеки шарашки, например, видят разные сны, «но во всех снах спящие тягостно помнили, что они – арестанты, что если они бродят по зеленой траве или по городу, то они сбежали, обманули, случилось недоразумение, за ними погоня. [...] Сотрясенье незаслуженного ареста и десяти- и двадцатипятилетнего приговора, и лай овчарок, и молотки конвойных, и терзающий звон лагерного подъема – просочилось к их костям сквозь все наслоения жизни, сквозь все инстинкты вторичные и даже первичные, так что спящий арестант сперва помнит, что он в тюрьме, а потом только ощущает жжение или дым и встает на пожар» (Солженицын 1990: 526).

В романе таких снов, преобразующих судьбу, подобно тому, который видел смешной человек, и который изменил его жизнь, – нет. Однако есть *воспоминания* заключенных и свободных людей, у которых совесть нечиста. Воспоминания, являющиеся им против воли, служат тому, чтобы пробудить совесть, но они не способны на это. Эти люди хотят забыть их: «А сквозь память тянулись воспоминания, которых совсем не хотел он (Рубин) возбуждать. Которые забыть – значило исцелиться» (Солженицын 1990: 532).

«Это поразительное свойство людей – забывать!» – думает Нержин, который знает «в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть». Он чувствовал «свой долг и свое призвание» – «сегодняшним палачам» вколотить четыре гвоздя памяти (Солженицын 1990: 556)[1].

В маленьком «предисловии» к роману упоминается *Мастер и Маргарита* М. Булгакова. Л. Силард обращает внимание на то, что одной из важнейших категорий этого произведения является – *память*. Неслучайно Иван Бездомный (ученик Мастера) из поэта становится историком, т. е. хранителем памя-

[1] Анализ взаимосвязи мотива креста и памяти см.: Ковач 2005: 78–80.

ти (Силард 2003: 113, 122). Кажется, Солженицын идет по сходному пути: у него хранитель памяти – Нержин, который прячет в письменном столе «этюды о русской революции, забравшие столько труда, втянувшие лучшие мысли». Нержин знает, что из шарашки их вывезти не сможет. Поэтому надеется на то, что оставит написанное у Симочки, которая влюблена в него. Но не только влюблена, она «обязательно хотела замуж»:

– Я буду вас ждать! Вам – *пять* осталось? – я буду вас пять лет ждать! А вы, когда освободитесь – вернетесь ко мне?»

Утвердительный ответ Нержина дал бы ему возможность спасти «его первые нащупывающие формулировки»: «И надо было солгать сейчас! Солгать, пообещать, как это всегда обещается. И тогда, уезжая, безопасно оставить написанное у Симочки».

Ситуация необыкновенная! Для того, чтобы спасти этюды (носители памяти) не нужно совершить «серьезные» грехи, достаточно «только» солгать. Нержин все-таки удерживается от искушения: «Но и во имя такой цели не было у него сил солгать перед глазами, смотревшими с надеждой» (Солженицын 1990: 72). Ясно – четыре гвоздя памяти нельзя вколотить с помощью лжи! Совесть пробудить в человеке, который бежит от воспоминаний, может только тот, кто сопротивляется лжи.

Теперь вернемся к трем типам лжи. Поскольку эмпирическая ложь является продуктом психологической, а психологическая ложь основывается на метафизической, последнюю следует рассмотреть подробнее. Галперин, анализируя роль «продуктовой машины» с надписью на четырех языках (в которой возят зеков из шарашки), подчеркивает следующую из возможных интерпретаций: „The van may be viewed [...] as the familiar spectacle of Soviet Marxism masquerading under the guise of benevolent humanism. [...] Communist food trucks rolling off to feed the hungry masses represent an ideologically powerful symbol, yet one that conceals the reality of monstrous crimes" (Halperin 1973: 272). Галперин при этом ссылается на слова Лебедева из *Идиота* Достоевского: «(Говорят,) «стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству, может быть, лучше спокойствия духовного» [...] Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству! Ибо телеги, подвозящие хлеб всему человечеству, без нравственного основания поступку, могут прехладнокровно исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества, что уже и было. [...] друг человечества с шаткостью нравственных оснований есть людоед человечества» (Достоевский 1982: 395), и, анализируя значительность надписи на четырех языках, приходит к следующему выводу:

„There is hardly any need to dwell either on Stalin's amorality or destructiveness. But in *The First Circle* the significance of the quadrilingual sign on the meat truck extends further to encompass the international appeal of Soviet communism. What Solzhenitsyn attacks here is the very nature and essence of materialistic philosophy itself. [...] the Marxist premises of dialectical materialism and economic determinism are under attack in their own right for the harm they have brought about by denying free will. [...] Solzhenitsyn, like Dostoevsky, is showing that a

conception of man and human society as materially determined is ultimately equivalent to reducing human beings to meat. [...] The perpetration of a false world view founded upon the denial of free will is only part of the damage wrought by the metaphysical lie. *The meat truck*'s final and most sweeping insinuation signifies that man is a totally material being, that he has no spiritual nature and no immortal soul. It *represents a denial of man's immortality, and this denial constitutes the fundamental metaphysical Lie on which all other lies are based."* (HALPERIN 1973: 272–274, курсив мой – М. Ж. К.)

Обратим внимание на интересную параллель с упомянутым уже романом М. Булгакова, где обрисовано общество, в котором отрицается не только бессмертие души, но и факт существования Христа. Воланд, вмешиваясь в разговор Берлиоза и Ивана Бездомного о несуществовании Иисуса, утверждает именно противоположное: «Имейте в виду, что Иисус существовал» (БУЛГАКОВ 1988: 22). В романе Солженицына в сознание персонажа, уподобляемого дьяволу, «один неясный вопрос иногда закрадывался»: есть ли Бог?

«Давно, кажется, доказано то, что надо, а что мешало – то опровергнуто. А все равно как-то неясно. [...] На всякий случай Сталин против бога никогда не высказывался, довольно было ораторов без него. Ленин на крест плевал, топтал, Бухарин, Троцкий высмеивали – Сталин помалкивал [...] Но если все-таки Бог есть, если распоряжается душами – нуждался Сталин мириться, пока не поздно. Несмотря на всю свою высоту – тем более нуждался. Потому что – пустота его окружала, ни рядом, ни близко никого, все человечество – внизу где-то. И, пожалуй, ближе всего к нему был – Бог. Тоже одинокий» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 150–151).

Упоминание имени М. Булгакова в данной главе *Круга первого* как бы подкрепляет эту параллель: „хотя советовали ему Булгакова расстрелять, а белогвардейские «Дни Турбиных» сжечь, какая-то сила подтолкнула его локоть написать: «допустить в одном московском театре» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 152).

Сталин размышляет и о бессмертии. Правда, только о своем: «А там, может быть, найдут средство такое, лекарство, чтобы сделать хоть его одного бессмертным?... Нет, не успеют». И далее пишется о нем следующее: «Уж, кажется, все было сделано для бессмертия» (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 150, 154).

Размышляя о существовании Бога и бессмертии, Сталин оказывается опять-таки отцом лжи: что касается существования Бога, он и утверждает, и отрицает его; и о бессмертии говорит он только в «подлунном» смысле.

Учению отца лжи противостоит *(м)учение* Нержина:

– Не знаю... не знаю... – видно было в четверть-свете, как мучился Нержин. – Пока не было атомной бомбы, советская система, худостройная, неповоротливая, съедаемая паразитами, обречена была погибнуть в испытании временем. А теперь если у *наших* бомба появится – беда. Теперь вот разве только...

– Что?! – припирал Герасимович. [...]

– [...] Я говорю, может быть в новый век откроется такой способ: *слово разрушит бетон*?

– Чересчур противоречит сопромату.

– Так и диамату! А все-таки?... Ведь помните: в Начале было Слово. Значит, Слово – исконней бетона? Значит, Слово – не пустяк? (СОЛЖЕНИЦЫН 1990: 674)

В диалоге с Герасимовичом Нержин цитирует первую фразу из Евангелия от Иоанна, продолжение которой звучит так: «и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Нержин, признавая противоречие диамату, надеется на Слово как на инстанцию, которая способна принести изменения. Этим на место диамата (сущность которого – отрицание существования Бога и бессмертия) он ставит веру в Слово. Под Словом здесь подразумевается, с одной стороны, Бог (Христос), с другой стороны, слово «благородных людей». Здесь мы сразу можем вспомнить слова, написанные матерью Иннокентия, которые уже разрушили бетон в том смысле, что изменили мышление сына и препятствовали захвату атомной бомбы Сталиным. Значит, надежда Нержина осуществима.

В романе господство Лжи представляется не крепким и не вечным: победить его возможно Словом, которое хранить должна – Память.

Литература

БУЛГАКОВ 1988: М. Булгаков, Мастер и Маргарита. Москва.

ДОСТОЕВСКИЙ 1982: Ф. М. Достоевский, Идиот. Петрозаводск.

ДОСТОЕВСКИЙ 1986: Ф. М. Достоевский, Сон смешного человека // Село Степанчиково и его обитатели. Москва. 517–535.

КОВАЧ 2005: Ковач М. Ж. Заметки к мотивной структуре романа *В круге первом* А. Солженицына // Studia Slavica 2005. № 50/1–2. 73–80.

СИЛАРД 2003: Лена Силард, Тайнопись М. Булгакова и наследие символизма (проблемы романа инициации) // Russica Romana 2003. № X. Roma. 105–125.

СОЛЖЕНИЦЫН 1990: А. Солженицын, *В круге первом*. Москва–Кишинев, Центр «Новый Мир» – Hyperion.

HALPERIN 1973: David M. Halperin, The Role of the Lie in *The First Circle* // Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials. Belmont, 260-276.

Abstract

Word and Memory vs Lie in Solzhenitsyn's novel *The First Circle*

This paper analyses the role of Word and Memory vs. Lie in Solzhenitsyn's novel *The First Circle*. The author examines these categories in connection with two main characters of the novel, Stalin and Nerzhin. She points out that Stalin is presented in the novel as the father of Lie, while Nerzhin as someone whose aim is to reveal Lies and to live without Lies. Frankness is the most important thing in Nerzhin's life. Wanting to be the guardian of Memory, he emphasises the importance of Word, which he uses not only in its common meaning, but – referring to the Gospel of John – he identifies it also with God. In the context of the novel Word (guarded by Memory) triumphs over Lie.

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

HISTORIA CZY/I HISTORIOGRAFIA W DRAMACIE WSPÓŁCZESNYM

Mieczysław DĄBROWSKI

W niniejszym artykule biorę pod uwagę trzy dramaty: *Szewców* Stanisława Ignacego Witkiewicza (1934), *Operetkę* Witolda Gombrowicza (1966) i *Krawca* Sławomira Mrożka (1965, data powstania)[1]. Tytuł zawiera słowo „historiografia", ale w nim z kolei zamyka się pytanie o filozofię historii (bez tego nie ma wszak historiografii), jest więc to, przynajmniej w części, pytanie o historiozofię. I o tym splocie aspektów chcę tu mówić.

Już na pierwszy rzut oka sytuacja nie jest komfortowa: o tak ważne sprawy pytamy w związku ze sztukami o szewcach lub o krawcach (pomijam całą anegdotę dotyczącą tematu, która sprawiła, że Mrożek swoją sztukę na długo zamroził w archiwum). Gdzie Hegel, gdzie „duch dziejów", gdzie choćby romantyczny polski mesjanizm? Maria Janion napisała kiedyś studium, w którym porównuje *Nie-Boską komedię* Krasińskiego oraz *Szewców* i *Operetkę* właśnie. O Krasińskim i Witkacym mówi, iż obaj przedstawili apokalipsę, przy czym pierwszy apokalipsę boską, a drugi laicką („z Bogiem i bez Boga"), w konkluzji, biorąc też pod uwagę *Operetkę*, stwierdza, iż Witkacy poszedł w tym wszystkim najdalej, to znaczy pozostawił rodzajowi ludzkiemu najmniej złudzeń co do tego, jaki on sam jest i jak może wyglądać w przyszłości jego świat (JANION 1991 : 175–188).

Pytając o historię, pytamy w istocie o zdarzenia historyczne. Tych brak tu wyraźnie, wszyscy autorzy operują raczej metaforami historycznych zdarzeń niż zdarzeniami w dosłownym znaczeniu. U Witkacego mamy do czynienia z „jakąś" rewolucją, która wprawdzie może być aluzją do zdarzeń rzeczywistych (rzecz była pisana od 1927 r.), ale może być też czytana jako pewien teoretyczny koncept, Gombrowicz wskazuje orientacyjne daty: akt I dzieje się „coś tak około 1910 roku", a akt III „po obu wojnach światowych i po rewolucji", Mrożek jest doskonale pozahistoryczny. Gdyby więc pytać o struktury poznawcze, struktury niosące sens, jeśli nie są nimi wprost zdarzenia historyczne, to trzeba by zwrócić uwagę przede wszystkim na język, wypowiedzi postaci i sytuacje teatralne. Wydaje się jednak, że te ostatnie są raczej szkieletami nośnymi dla tekstu, rusztowaniami, na które mało się zwraca uwagi, mieszczą się raczej w pojęciu modułu, a nie w pojęciu znaczącego. Żeby to jakoś objaśnić: *Operetka* Gombrowicza jest z pewnością bardziej

[1] Cytaty pochodzą z następujących wydań: Stanisław Ignacy Witkiewicz, *W małym dworku, Matka, Szewcy.* Lekcja literatury z Janem Błońskim, WL, Kraków 1995; Witold Gombrowicz, *Dramaty*, Dzieła, tom VI, red., naukowa tekstu Jan Błoński, WL, Kraków–Wrocław 1986; Sławomir Mrożek, *Teatr 5*, Dzieła zebrane, tom X, Noir sur Blanc, Warszawa 1998; lokalizację cytatów zaznaczam w tekście.

oswojonym sposobem teatralnego przemawiania niż *Ślub* tegoż, a sceny z *Krawca* mówią inaczej niż np. te z *Czekając na Godota* Becketta czy *Krzeseł* Ionesco.

Ta konstatacja mogłaby być odpowiedzią na pierwszą część pytania. Mogłaby, ale chyba po małym dopełnieniu. Jeśli bowiem odnieść się do stanowiska Haydena White'a i jego koncepcji literackich tropów wykorzystywanych w pisaniu o historii, to akurat jeden z nich, jak mi się wydaje jest to metonimia (zresztą według Vico, córka metafory, WHITE 2000: 248), może być wykorzystany w tej lekturze. Nie trzeba więc wcale, aby relacja miała odniesienia do rzeczywistej, spełniającej się historii, wystarczy, że ją jakoś przypomina, że się z nią komunikuje, w tym wypadku komunikuje się nie poprzez fakty, ale poprzez odpowiedni kod estetyczny. To by mogło wyjaśniać, dlaczego, mimo że żaden z tych dramatów nie opowiada jakiegoś konkretnego zdarzenia mimetycznymi środkami (jak, dajmy na to, *Niemcy* Kruczkowskiego czy *Most* Szaniawskiego), odbieramy je wszystkie jako mówiące o dramacie historii.

Właśnie: kod estetyczny!

Sprawa jest zupełnie kluczowa dla ich zrozumienia, bo pozwala przenieść analizę z poziomu pytania o zdarzenia (które są metaforyczne) na poziom wyrażania, który dla nich wszystkich jest nad wyraz istotny i artystycznie ciekawy. W *Szewcach* mamy do czynienia z tzw. rewolucją lokajów (jak ją określa Janion), gdzie spracowani Szewcy z aktu pierwszego, w trzecim są u władzy i tęsknią do swojego dawnego zajęcia. I nie to właściwie jest ważne, lecz to, jakim językiem się o tym mówi, jak oni sami charakteryzują swoją sytuację, jak Witkacy kształtuje estetykę sceny teatralnej. Powiedzmy, że dominującym akcentem jest tu stale obecna autoironia, zgrzyt, kiks sytuacyjny, tematyzacja sytuacji teatralnej, absurd, surrealizm. W *Operetce* estetykę wyznacza „boski idiotyzm" operetki (s. 227), o czym pisze Gombrowicz we wstępie do tekstu uważając, iż dopiero to „głupstwo" (tamże) nasycone dramatem i bólem może się okazać nośne znaczeniowo. Co się też i sprawdziło. Tu więc wyznacznikiem estetyki tekstu jest jego genologiczne źródło, które wykorzystuje wszystkie charakterystyczne środki operetkowego przedstawienia z wpisanymi weń egzystencjalnymi pytaniami. Mrożek nie wskazuje tak wyraźnie żadnego odniesienia, ale charakter jego tekstu, krótkie, rytmizowane zdania, przypominają sztuki Szekspira i to jest chyba w tym wypadku najbardziej oczywisty kontekst. Któż bardziej dobitnie niż Szekspir potrafił ukazać dramat władzy, a przecież właśnie o tym mówi *Krawiec*. Zatem kody estetyczne są tu, jak mniemam, ważniejsze od zdarzeń historycznych i to one, nie zdarzenia *per se*, stanowią punkt zaczepienia.

To po pierwsze świadczy o ważnym przesunięciu, jakie się dokonało w dramacie między np. sztukami XIX-wiecznymi (romantycznymi i mieszczańskimi z drugiej połowy tego wieku) a dramatem XX-wiecznym (mówię pewnym skrótem, bo przecież w swoim czasie bardziej od Witkacego grywany był Szaniawski czy Rostworowski, ale ważne jest to, co nasza percepcja wysuwa na czoło). Po drugie świadczy też o relatywnej degradacji wartości samego zdarzenia w przebiegu historii. Pojedyncze zdarzenie, takie czy inne, staje się ważne dopiero w kontekście, a poza tym ważne jest nie samo przez się, tylko poprzez język (kod), którym i po-

przez który zostanie wypowiedziane. Jeszcze inaczej, może głębiej: świadomość współczesna przyjęła poniekąd do wiadomości, że nie da się już stworzyć i tym bardziej utrzymać jednoznacznych, sztywnych i trwałych konstrukcji historycznych, opartych na modelach państwa narodowego, twardych systemów władzy typu dyktatura, monarchia itp. Z drugiej strony znacznemu rozluźnieniu, a nawet rozpuszczeniu uległy wyraziste dawniej systemy interpretacyjne, wytwarzane przez określone społeczności, grupy i społeczeństwa. Od Gesellschaft przeszliśmy do Gemeinschaft, od społeczeństwa do grupy towarzyskiej. Pisze o tym mocno i często Zygmunt Bauman (BAUMAN 2000). To rodzi poczucie historycznej melancholii (Derveaux 2002). Historia daje się więc oglądać i opowiadać raczej jako pewien zespół zdarzeń, który poddawany jest metaforyzacji i uogólnieniu niż jako fakty poszczególne, które by miały mieć jakikolwiek wpływ na nasze doświadczenia. A jeżeli nawet, to nie bez uwzględnienia zdarzeń bieżących, tego, w czym tkwimy, co zauważał już Walter Benjamin (BENJAMIN 1974: 701). Że zaś ta codzienność jest migotliwa i zmienna, jest w procesie, przeto i odbiór doświadczenia historycznego nie ma charakteru trwałego i ostatecznego, lecz podlega przewartościowaniom, re-interpretacjom. David Carr mówi właśnie o interpretacji, o rozumieniu historii, a dokładniej – jej kolejnych zapisów, przy czym zapisy owe nie są niczym innym jak ponawianymi przybliżeniami rozumienia (ROSNER 2003). Dawniejsza oświeceniowa, jak pamiętamy choćby z prac Kosellecka (KOSELLECK 1979) czy Marqurda (MARQUARD 1994), teoria postępu i historii rozumianej jako wznoszący się wektor zastąpiła współcześnie teoria fal z jednej strony, a z drugiej, niezbyt szczęśliwie zaprojektowana, i przecież korygowana przez samego autora, teoria końca historii Fukuyamy. Odo Marquard sygnalizuje rozpad monomitu religijnego na szereg polimitów, co z jednej strony legitymizuje rozmaite projekty egzystencjalne i cywilizacyjne, ale z drugiej odbiera im też sporo wiarygodności (bo nie są wyłączne, stoją zawsze obok innych). Jakiś rodzaj tego historycznego pesymizmu daje się potwierdzić już choćby przez konstrukcje samych tych fabuł teatralnych. Znaczą one mniej więcej tyle, że w dzianiu się historii brak jest orientacyjnych wzorców lub że te, które są, zostały zgrane, pozbawione kompletnie jakiegoś znaczenia czy funkcji, co skutkuje także tym, że historia dzieje się bez sensu, że nie da się odnaleźć w niej samej jakiegoś punktu zaczepienia. Witkacy potwierdza to w swoim dramacie wielokrotnie. Przypomnijmy krótko.

W I akcie Szewcy urągają arystokracji zazdroszcząc jej łatwego i próżniaczego życia, co Prokurator Scurvy określi mianem „kompleksu langusty" (s. 143). Sajetan w jednej z pierwszych kwestii mówi, że nie wierzy już w rewolucję, na końcu zaś wszyscy zostają pojmani przez „Dziarskich Chłopców" na rozkaz Prokuratora, który robi to bodaj z zazdrości o Księżnę Irinę mętnie używając argumentu „obrony najtęższych umysłów", sprzeciwu wobec babomatriarchatu itp. (s. 161). W akcie II siedzą bezczynnie w więzieniu („sala przymusowej bezrobotności" (s. 164), przerzucając się kwestiami z Prokuratorem, by na końcu zburzyć ład tej sceny i zacząć dziką pracę nad butem-absolutem; finał aktu II jest apoteozą pracy i jej wytworów. W akcie III Szewcy są u władzy, straszliwie się nudzą, pragną wrócić do dawnych siebie, nie wiedzą co począć ani z sobą, ani z sytuacją. Sajetan znowu

powie, iż „Nowej idei nie wymyśli już nikt" (s. 195), zaś Scurvy wygłasza peany na cześć chaosu. Sajetan w końcu zostanie zatłuczony przez swoich kompanów, którzy chcą w ten sposób wyposażyć rewolucję w jakiś sens, uwznioślić ją, nadać jej pozór sakralności i powagi. Rozwiązanie bierze się trochę na zasadzie *deus ex machina*: pojawiają się mianowicie Hiper-Robociarz oraz Dwóch Panów, zimnych pragmatyków władzy. Maria Janion napisała, że *Szewcy* to „trzy akty gadania i stroniczka finału" (JANION 1991 : 183). Ale w tym gadaniu zdarzają się sformułowania brzmiące i dziś, a może zwłaszcza dziś, bardzo dramatycznie. Jak te, Sajetana z III aktu: „wytrzymać istnienie bez obłędu, rozumiejąc choć trochę jego esencję, bez zatumanienia się religią czy społecznikostwem, to nadludzkie już nieomal zadanie" (s. 193) albo: „ Że też wszystko w historii pękać musi, a nie na smarach rozumu gładko się w przyszłość przesuwać" (s. 194).

W dwóch pozostałych dramatach sens historii ma nadawać moda, tu mistrz Fior („Moda jest czasem. Moda jest historią!", s. 261), tam Krawiec rządzą umysłami i zachowaniami swoich panów i otoczenia, jakkolwiek wektory ich działań zwrócone są w przeciwne strony. Mówiąc najogólniej Krawiec sądzi, iż to „strój czyni człowieka" i Ekscelencja z I aktu, a potem wódz Barbarzyńców, Onucy, nie byliby sobą, czyli Ekscelencjami bez jego rzemiosła, gdyż dopiero strój odróżnia ich, tu nawet wyróżnia, spośród innych i pozwala im być tym, kim są. Rozebrani, nadzy – są jak każdy, są każdym, czyli nikim. Dodajmy, że i Witkacemu takie stanowisko nie było widać obce, skoro jego Księżna pyta: „A kostiumy Fierdusieńko ma? To najważniejsze..." – i to w obliczu nadciągającej w osobie Hiper-Robociarza katastrofy! (s. 206). Krawiec Mrożka nie ceni nagości, gdyż sprowadza ludzkość do stanu niecywilizowanego, uzwierzęca. Według niego cywilizacja to dobry kostium, ale w finale, jak pamiętamy, zamarzył mu się kostium uszyty ze skóry ludzkiej i gdy to zrobi (a ostatnia scena na to wskazuje), zaprzeczy paradygmatowi humanistycznemu. Oto błędne koło, jakie wytwarza jego myślenie i zarazem kres tego, co akceptowalne. Krawcem rządzi tu poniekąd zimna logika, którą znamy i z *Policji*, i z *Tanga*, i z *Emigrantów*, tzn. taka, która nie waha się prowadzić swego rozwoju do absurdalnego i/lub tragicznego końca po to, by się skompromitować i ostatecznie pogrążyć.

Fior Gombrowicza pragnie narzucić towarzystwu (światu?) jakiś porządek, ponieważ występuje w roli niekwestionowanego autorytetu, ale ma wątpliwości, nie wie, jak wyczuć „wiatr historii". Stąd podchwycenie pomysłu z workami, które pokiereszowane pod koniec II aktu w wyniku rewolucji lokajów, ujawniają a to mundur niemieckiego generała, a to znowu strój strażniczki obozu koncentracyjnego dla kobiet, wszystko razem budzi w nim zdziwienie i niesmak. Tak doświadczony, składa w akcie III do trumny „Świętą, a strojem na zawsze zhańbioną/ Człowieka nagość!" (s. 317). Wszyscy inni składają do tejże trumny to, co dla nich najcenniejsze: Książę-Lampa swoje „włości, świetności", Księżna-Stolik „me diademy", Proboszcz-Kobieta „Boga mego", Profesor-Koń „siebie składa! Rzyg!", a nawet Hufnagiel-Jeździec, który przygotował i wywołał rewolucję, składa „Nadzieje moje, walki i zwycięstwa/ Proletariatu ból tysiącletni" (kolejno ss. 314–315). Słowem: stary świat kapituluje pod ciśnieniem „Wiatru Historii", symbolicz-

nie oddaje swoje życie, racje i wartości. Towarzyszy temu rzeczywiście apokaliptyczny szał natury: akt trzeci spełnia się pośród grzmotów burzy, piorunów, wichru, ciemności, teatralizacja tego doświadczenia jest perfekcyjna, a zarazem znajoma. Pobrzmiewają tu przecież tony z dramatu Krasińskiego.

Ale to także ton historycznej melancholii. Do niczego już nie można wrócić, można iść tylko do przodu („I galop, galop! Hopsasa!"– wołają Lokaje na końcu I aktu, s. 265); podobnie u Witkacego: „bo się nie cofnie ta, psiamać, machina społeczna" – głosi Sajetan na początku sztuki ubolewając nad koniecznością pracy (s. 140), gubi się i blednie pamięć przeszłości („Coś tam było...ale kto to może wiedzieć, co?" mówi Książę-Lampa na początku III aktu (s. 299). Proboszcz-Kobieta na pytanie Fiora, „jakie były twoje losy?" odpowiada „Nie da się powiedzieć. Trudno wyrazić słowami.[...] O nic nie pytaj" (s. 302) sygnalizując tym zarazem tragizm doświadczenia, jak i brak powodów, aby kultywować pracę pamięci, a zwłaszcza – co się potwierdza w innych wypadkach – następuje zanik języka, nader częsta jest niemożność wypowiedzenia siebie i swoich sądów. Znamy to i z Becketta, i z Ionesco, tu bełkotem odpowiadają na pytania sądu wojenni zbrodniarze.

Warunkiem metafizyki, powiada Klient-Czeladnik u Mrożka jest coś stałego. Historia z natury rzeczy składająca się ze zmiennej rzeczywistości, nie stwarza takiej możliwości. Taką szansą mogłaby być pamięć, ale tę właśnie postaci Gombrowicza zatraciły wraz z językiem, postaci Mrożka chcą szybko utracić, aby lepiej wpisać się w nowe role, postaci Witkacego żyją dniem dzisiejszym i mają poczucie nieodwracalności zdarzeń, co „zagadują" na śmierć i co sprawia, że ich mowa, jako z kolei nadmierna, także się unicestwia. Metafizyki, jeśli w ogóle, trzeba szukać gdzie indziej. Może jest nią metafizyka niezależnego, wolnego istnienia, o której tak gorąco mówi nagle wcale nie barbarzyński Onucy Mrożka, kiedy Nana chce go uwięzić w swoim słowie, czyli w swoim obrazie. Bardzo to egzystencjalnie brzmiący fragment, zresztą całkiem dobrze się komponuje z tą filozofią zważywszy moment jego powstania. Jesteśmy stale wpisani w inne projekty życiowe, na to nie ma rady. Onucy chce oddać Nanie syna za to tylko, aby zwróciła mu wolność, ale od momentu, kiedy ich losy się przecięły, nie jest to już możliwe, zresztą dla żadnej ze stron, tyle tylko, że Nana przyjęła tu na siebie rolę sady(sty)czną, czyli świadomości dominującej. Onucy żałuje więc, że „wyszedł z lasu" (s. 69). Russoistyczny refren pojawia się nie w funkcji ozdobnika, ale istotnej charakterystyki bycia-wśród-innych. Rodzi się podwójność zachowań, można powiedzieć, że z jednej strony wyznacza ją tożsamość, z drugiej – rola (czy maska), w języku Onucego jest to wierzch i spód, w czym się gubi i w rozpaczy pyta, co jest nim właściwie, gdzie jest on jako taki. Od momentu, kiedy wchodzimy między ludzi, zawiązujemy nici sympatii, empatii, antypatii – jesteśmy uwięzieni w Innych, a wielkim metafizycznym pragnieniem staje się pragnienie uwolnienia, wolności. Raczej nie do zrealizowania, za to do wiecznego tęsknienia. Jakieś więc constans. Ironiczne.

Ratunkiem, wyjściem z impasu ma być nagość objawiona w Albertynce, a w finałowych kupletach łączona będzie wielokrotnie z młodością. Nagość i młodość jest odpowiedzią Gombrowicza na katastrofę dziejową, początkiem innego myśle-

nia być może, które ma otworzyć kartę dziejów. Pozostaje otwartym pytanie, czy należy je łączyć z rewolucją i czy każda rewolucja jest właśnie w jakimś sensie młoda, czy niesie z sobą odświeżenie. Można przypuszczać, że w kontekście wszystkiego, co się wie o Gombrowiczu, taka sugestia byłaby możliwa: ludzkość, społeczeństwa stale potrzebują jakiejś rewolucji – społecznej, obyczajowej, świadomościowej, naukowej – aby móc odkrywać w sobie samym jakości, o których nie wiedziały, że w nich drzemią. Byłożby to połączenie nagości z młodością? Być może o jakimś takim projekcie można myśleć. Być może definiuje się w ten sposób – pozytywny – znajome pojęcie kryzysu, które nie jest znakiem upadku, synonimem wartościowania, ale sygnałem istotnego przesunięcia w obszarze epistemologii i aksjologii, poszukiwaniem nowych rozwiązań, modelowaniem sposobów funkcjonowania społeczeństwa i jednostek. Takie rozwiązanie, jeśli by je przyjąć, mogłoby oznaczać, iż sztuka Gombrowicza jest najbardziej otwarta i optymistyczna; wprawdzie w scenicznej rzeczywistości dochodzi do krachu, ale zarazem pojawia się zapowiedź jakiegoś odnowienia, odrodzenia. W jej kontekście Witkacy zieje czarnym pesymizmem i kulturowym, i społecznym, jego rewolucja okazuje się zakłamana, jest czysto mechaniczną wymianą „tych na górze", za czym nie idzie ani zmiana form rządzenia, ani języka, ani stylu uprawiania władzy. Cała, by tak rzec, metafizyka władzy pozostaje tu w obrębie starego koryta (dwuznaczność nie-zamierzona?) i jeśli można tu o jakiejś metafizyce mówić, to chyba tylko o metafizyce niemożności, metafizyce lęku, jaki władza zawsze z sobą niesie, metafizyce niespełnienia itp. Błoński widzi to tak: „Księżna i Scurvy mają rację, głosząc metafizyczne mądrości Witkacego, ale oboje zostają zupełnie skompromitowani przez historię. Słuszność historyczną mają, przeciwnie, Szewcy. Ale oni, zdobywszy władzę, pojmują – za późno – że nie mają metafizycznej..."(BŁOŃSKI 1995 : 9). Chodzi tu, jak się zdaje, głównie o kontekst społeczny tej rewolucji, którego przecież żadna rewolucja nie pomija, ba – w imię tej sfery głównie rozpoczyna działanie. Zrazu towarzyszy jej jeszcze piękna retoryka, a potem już i o to nikt się specjalnie nie troszczy: prawda robi się coraz bardziej naga. Dla Witkacego historia, znamionowana przez rewolucję, jest oszustwem ubranym albo we wzniosłą retorykę ideologiczną (Scurvy i koniec I aktu) albo w retorykę odwetu, zadośćuczynienia (rewolucja Szewców, Lokai u Gombrowicza). Historia według Mrożka jest zimnym eksperymentem, bezduszną operacją logistyczną, która ostatecznie sama się kompromituje (jak oświeceniowy umysł instrumentalny, który – według Baumana i Lyotarda – doprowadził do Auschwitz!) i jeśli o jakim rodzaju metafizyki tu można mówić, to o metafizyce istnienia autentycznego, pragnienia i wolności, które nigdy nie daje się wyczerpać. Na tym tle właśnie *Operetka* sugeruje tworzenie nowego języka, nowego modelu istnienia, w którym łączy się (może się łączyć) to, co społeczne z tym, co indywidualne, to, co abstrakcyjnie mentalne z tym, co konkretnie cielesne.

Bibliografia

BAUMAN 2000: Bauman, Z. Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd. Sic! Warszawa.
BENJAMIN 1974: Benjamin, W., Ueber den Begriff der Geschichte. Geschichtsphilosophische Thesen // tegoż Gesammelte Schriften, hrsg. Von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhaueser, I.2, Shurkamp Verlag, Frankfurt am Main, (teza XIV).
BŁOŃSKI: Błoński, J., w: Stanisław Ignacy Witkiewicz, W małym dworku, Matka, Szewcy, dz. cyt. s. 9.
DERVEAUX 2002: Derveaux, R. Melancholie im Kontext der Postmoderne: Anthropologische Implikationen der Postmoderne unter besonderer Beruecksichtigung der Melancholieproblematik, Wiss. Verlag Berlin, Berlin.
JANION 1991: Janion, M. Trzy dramaty o rewolucji: Krasiński, Witkiewicz, Gombrowicz, w: tejże, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Wydawnictwo PEN, Warszawa.
KOSELLECK 1979: Koselleck, R. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
MARQUARD 1994: Marquard, O. Człowiek oskarżony i uwolniony od odpowiedzialności w filozofii XVIII stulecia oraz Pochwała politeizmu // Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 39–67.
MARQUARD 1994: Marquard, O. O monomityczności i polimityczności // Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 93–119.
ROSNER 2003: Rosner, K. Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków 2003.
WHITE 2000: White, H. Poetyka pisarstwa historycznego, tłum. zbiorowe, pod red. Ewy Domańskiej i Marka Wilczyńskiego, Universitas, Kraków.

Abstract

History and/or Historiography in Modern Polish Drama

The article considers understanding of history in dramas Szewcy by Stanisław Ignacy Witkiewicz, Operetka by Witold Gombrowicz, and Krawiec by Sławomir Mrożek (1965, date of origin). In all the texts, more important than historical events is an aesthetic code used to speak about them. In case of Witkacy the code is designated by a laic apocalypse and absurd, demonstrated in language and stage design (didascalia), in case of Gombrowicz "divine idiocy" of operetta as a genre, in case of Mrożek – distinct tradition of Shakespearian drama. Witkacy's vision is pessimistic in cultural and social sense, a revolution only replaces it's beneficiaries but it does not modify the reality itself; one can speak here about metaphysics of a desire, which can never be satisfied. Vision by Mrożek acts with two categories: mask/role (hence the meaning of a costume) – but heads for their self-destruction when Krawiec (Tailor) comes up with idea to stitch a costume of human skin, and in existentially understood Another/Other which appears always as menace/restriction for freedom of a particular Self (ref. Nana – Onucy relation). Al-

though Gombrowicz has no trust for „butlers' revolution", he tries to associate it with youth and renewal; in his way of thinking revolution is always „young", as it forces to abandon the old rules of social play, and moreover – it is a mental, cultural and social necessity. Out of all, this concept appears to be the most open for the future and – possibly – productive one.

Рецензии и научные сообщения

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

TWO UNKNOWN ICONS SIGNED BY RODION SEM'ONOVIČ CHRUSTAL'OV

Signed icons are extremely rare in Russian icon painting. There are a few going back to the times of the Stroganov school and, though their number is on the increase in the 18th and 19th centuries, even then their occurrence is infrequent[1]. Marked metal icons, whose research does not look back on a long past, remain particularly small in number[2].

The history of these icons cast from copper-based alloy goes back to the times before the Mongolian conquest. When the Old Believers (raskol'niks) appeared, metal icons even grew in importance.

By the 18th/19th centuries several casting houses had been established.

One of the most important workshops was owned by Maria Ivanovna Sokolova, where, from 1886, not only copper objects but also silver ones were moulded and marked with the Cyrillic characters MC (MS). This mark remained in use until 1908. The workshop employed 15 workers in 1905. Of the products manufactured here, an enameled and embossed silver icon cover, a silver sugar-basin, a silver skimming-ladle and a small silver ladle are kept in the State Historical Museum in Moscow[3]. The silver icon cover, related to an icon of Saint Nicholas, is worth special attention because of its colourful enameling and chasing of high expertise[4].

Recently E. Zotova has published the results of her archive research into the foundation and work of M. I. Sokolova's workshop[5]. M. I. Sokolova's having been engaged in producing silverware as well as copper and bronze casting provided her with the means to purchase real estate and have a workshop and a smithy built.

---

[1] Косцова А. С., Побединская А. Г. Русские иконы XVI – начала XX века с надписями, подписями и датами. Каталог выставки. Ленинград, 1990.

[2] Cf. S. Jeckel: Russische Metall-Ikonen // Formsand gegossener Glaube. Bramsche, 1995. (Erste Auflage 1979); Гнутова С. В. (составитель и научный редактор). Русское медное литьё. Сборник статей. Выпуск 1–2. Москва, 1993, Gy. Ruzsa: Orosz fémikonok. (Kiállítás az esztergomi Keresztény Múzeumban) (Russian Metal Icons [Exhibition in the Christian Museum of Esztergom]) Budapest, 1996.

[3] Постнилова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное дело XV–XX вв. Москва, 1983, 221, № 2685.

[4] Сизова Т. И., Смородинова Г. Г, Крюк Г. М. 1000 лет русского золотого и серебряного дела. (Каталог выставки ГИМ в Финландии в 1989 г.) Экспоо, 1991, 78.

[5] Зотова Е. Я. Московское «медное и серебряное заведение» М. И. Соколовой конца XIX–начала XX века // Гнутова С. В., Зотова Е. Я., Шемаханская М. С. (ред.). Художественный металл России. Москва, 2001; Зотова Е. Я. Новые материалы к истории мастерской М. И. Соколовой // Ювелирное искусство и материальная культура: Тезисы докладов участников девятого и десятого коллоквиумов Гос. Эрмитажа. Санкт-Петербург, 2002, 97–99; Зотова Е. Я. Медное художественное литьё XVIII–начала XX вв.старообрядческих мастерских г. Москвы: источниковедческое исслелование. (Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. кандидата ист. наук). Москва, 2003.

Their construction was carried out by Sergei Yegorovič Sokolov, the proprietor's son. The new address is also known: № 360 Dev'ataja rota street, Lefortovskaja čast', Moscow. Soon a huge complex of buildings was set up here, where a great number of moulded copper icons were made, first marked with the Cyrillic characters З/СС (Z/SS), then with З/С (Z/S). The first refers to the phrase „заведение Сергея Соколова" (Sergei Sokolov's establishment), the second to „заведение Соколовой" (Sokolova's establishment).

E. Zotova's research allows for the supposition that one of the leading masters there was Rodion Sem'onovič Chrustal'ov[6].

There must have been another leading master working there but all that is known of him is his initials hitherto undecoded: С.И.Б. (S.I.B.). In the collection of the Rubl'ov Museum there are eleven icons bearing this mark and listed by E. Zotova[7]. The same mark can be seen on a metal cross hitherto unpublished and deposited in the Christian Museum of Esztergom[8].

Rodion Sem'onovič Chrustal'ov used different Cyrillic marks on his works: M.P.C.X., P.C.X, P.X., P.C., and once he noted down even his surname. Few data of his life have come down to us, most of which are uncertain. Such marks can be found on many of his works of the 1870s and 1880s. P.C.X. appears, for example, in the „Holy Trinity" icon[9]. M.P.C.X. occurs in the „Three Hiearchas" icon of the Jeckel collection[10]. That Chrustal'ov worked in Je. P. Petrova's workshop in 1883 is documented[11]. In all probability, he was employed by M.I. Sokolova in the last, but important, period of his life[12]. An icon depicting „The Virgin Mary – the Burning Bush Never to Become Extinguished" bears the MC as well as the Ч.Р./С.Х. mark, standing for the phrase „Чеканил Родион Семёнович Хрусталёв" (chased by R.S.X.)[13]. The same marks can be found in the icon „Julitta and Cyricus with Saints" of the Opdebeeck collection[14]. A cross in a private collection

[6] Зотова Е. Я. Московское…op.cit., 246.

[7] Зотова Е. Я. Источники формирования коллекции медного литья музея им. Андрея Рублёва // С. В. Гнутова (составитель и научный редактор) Вып. 1 op. cit., 96–97 № 16–26

[8] (8) Deposit number 446. The cross is decorated with blue enamel, with plant motifs on the back side and marked С.И.Б in the middle, 25.8x14.5 cm. Very close to it is the cross numbered КП 4506 in the Rubl'ov Museum in Moscow, which is also decorated with blue enamel and plant motifs on the back side and bears a similar С.И.Б. marking. Their measurements are also nearly identical: 25.7x14.5 cm. Cf. Е. Я. Зотова: Источники… op. cit., 96 № 16

[9] Rodion Sem'onovič Chrustal'ov: Holy Trinity icon. Deposit number 390. Marked P.C.X. at the top of the front side. Light blue enamel, remnants of gilding, 6.2x5.5 cm. It is at this point that another icon by Chrustal'ov, also of very high quality and depicting the Old Testament Holy Trinity, should be mentioned. It was on display at the exhibition in Budapest in 2005.

[10] Rodion Sem'onovič Chrustal'ov: Three Hiearchas. Marked M.P.C.X at the bottom of the front side. White, yellow, green light blue, black enamel. 15.1x13.5 cm. S. . Jeckel: op. cit. S 128–129 № 68

[11] Гнутова С.В. (составитель и научный редактор): op. cit. выпуск 2, 186, илл.12

[12] Зотова Е.Я. Источники… op. cit., 246

[13] Зотова Е.Я. Источники… op. cit., 246

[14] Opdebeeck J. Metalen Ikonen. Blauwdruk van een verzamelung. Geel, 1997.S. 133. Picture on the right. The icon is marked on the lower, wide stripe of the frame. It measures 5.4x5 cm. Decorated with enamel. Cf. Зотова Е.Я. Источники… op. cit., 246

in Moscow, decorated with different shades of the dark blue enamel, also has P.X. and 3/CC[15]. In E. Zotova's view the icon „Twelfth Night", bearing M.P.C.X and 3/C, also the possesssion of a private collection in Moscow, was made at the beginning of the 20th c., the final period of Chrustal'ov's life[16].

The icon to be described[17] depicts the baptism of Christ. He is the central figure, his body is uncovered, with John the Baptist on the left and three angels on the right. The Father appears at the top, enshrouded in clouds. Unusually, no inscription describes the scene. The icon has a multiple frame. Rodion Sem'onovič Chrustal'ov's M.P.C.X. (with the M standing for *мастер* 'master, craftsman') mark is the widest on the bottom left. The measurements are 6.1 x 5.2 cm. The icon is characterised by the employment of subtle contours and a high level of technological expertise. The icon „The Baptism of Christ" (Jeckel collection) reveals the same subtle lines of contour and is strikingly close to the former, even their measurements coincide[18]. Here, too, the mark can be seen on the bottom left, on the widest frame stripe. It also consists of four letters and four dots: M.P.C.X. The only difference between them is that the icon described is not enameled, while the icon of the Jeckel collection is decorated with colourful enamel.

The other icon[19] depicts Christ's ascension to Heaven. High up in the clouds, Christ can be seen with four angels, whereas the Virgin and the apostles are placed below. The scene „The Ascension of Christ" is named on the upper wide stripe of the frame. Rodion Sem'onovič Chrustal'ov's mark, the letters M.P.C.X., appear on the left of the lower wide stripe. The first and the last letters had nearly worn away and are hardly legible. This icon, too, is characterised by the employment of very subtle contour lines and high technical expertise. Rodion Sem'onovič Chrustal'ov mostly produced enameled icons, and traces of white enamel can be detected in the bottom left corner of the icon.. On the back side of the icon the Cyrillic characters M X are scratched roughly. They are unlikely to be related to the master's name and may refer to one of the owners.

The time the two icons described were made cannot be defined with certainty. What deserves attention, however, is that neither of them bears either 3/CC, 3/C or MC marks, which means that, in all probability, these artefacts were made by Rodion Sem'onovič Chrustal'ov before he had joined Sergej Sokolov and Maria Sokolova's workshop. They are likely to have been produced in the 1870s or 1880s.

How these works of art found their way to a Budapest private collection remains a question to be solved. As is known, Old Believers, who held metal icons in high esteem, settled down on the periphery of the Russian Empire, a considerable distance from its centre, fearing frequent assaults. That is why and how their fragments could have reached the Baltic area, the eastern territories of present-day Poland and some regions of the Ukraine. Russian metal icons may

[15] The measurements of the cross: 22.4x14.5 cm. Е. Я. Зотова: Источники... op. cit., 246, 249
[16] The measurements of the icon: 6x5.3 cm. Е. Я. Зотова: Источники... op. cit., 246, 249
[17] Location mark PY 525 (Christian Museum of Esztergom, deposit)
[18] Jeckel S. op. cit. S 152–153. № 83.
[19] Location mark PY 480 (Christian Museum of Esztergom, deposit)

have come to Hungary from these regions, too. With regard to metal icons made earlier, it may be worth mentioning that soldiers of the Russian army suppressing the Hungarian revolution and war of independence of 1848/49 also possessed a great number of metal icons[20]. It will be of no less interest to note that a pair of Russian church candlesticks came up for auction in the Ernst Museum in Budapest in 1934[21]. These bronze objects of high quality, which were later purchased by the Museum of Applied Art in Budapest[22], feature the multi-coloured enameling so characteristic of Russian metal icons. These facts are indicative of the very early interest of both Hungarian researchers and collectors in the outstanding achievements of Russian bronze art.

The two unique metal icons described occupy a prominent place in the history of Russian icons.

RUZSA György

И. Барт. Русским о венграх. Культурологический словарь. Перевод с венгерского Т. Воронкиной. Москва: Радуга, 2005, 224 с., ISBN 5-05-0057-33-7.

1. Состав культурологической лексики в словаре. О количественном составе лексики в словаре не сообщается. Но читатель может посчитать: на каждой странице около 4 словарных статей, а сам словарь занимает 200 страниц, значит, в словаре около 800 культурологических терминов. Это достаточно большой словарь.

С точки зрения качественного состава, словарь охватывает культурологическую лексику из всех сфер ее употребления. В словаре много географических названий – венгерских городов (*Будапешт, Эгер, Дебрецен* и др), природных мест в Венгрии (*Дунай, Тисса, Балатон* и др.), зарубежных городов и мест (*Австрия, Америка, Россия, Сибирь* и др.); есть названия тех венгерских исторических мест, которые находятся вне территории Венгрии (*Коложвар, Верецке, Секейфёльд* и др.). Объясняются понятия, относящиеся к климату Венгрии (*пуста, делибаб* и др.), к животным (*кабан, овца, собака* и др.), растительному миру *(паприка, джонатан, тыква, мак* и др.).

Понятия, относящиеся непосредственно к культуре, можно разделить на понятия «профессиональной» культуры (*Корвина, Академия, Петёфи, Эркей*

[20] Ballagi A.: Búcsújáró helyek Oroszországban. (Pilgrimage Destinations in Russia) Budapest, 1888, 25.

[21] Somogy Á.: A régi orosz egyházi ötvösművészet magyarországi emlékei. In: A magyar és az orosz iparművészet történeti kapcsolatai.(Szerk.: Pogány Ö. G.) (Relicts of Old Russian Ecclesiastic Goldsmith Art in Hungary. In: Historical Connections of Hungarian and Russian Applied Art [Edited by Ö.G. Pogány]) Budapest, 1954, 5–56.

[22] Inventory number 59.158.1.2.

и др.) и народной культуры (*чардаш, свадьба, «Гей, гей, цыган...»* и др.). Имеются понятия венгерской мифологии (*леший, турул, олениха* и др.), религиозные понятия (*реформат, Микулаш, Карачонь* и др.).

Богата терминология, относящаяся к венгерской материальной культуре: названия одежды (*венгерка, фуфайка* и др.), напитков (*палинка, токайское, кадарка* и др.) венгерской кухни *(гуляш, лечо, салами* и др.), мест приема пищи (*чарда, корчма, «Гундель»* и др.).

Имеются в словаре и понятия из венгерской этнографии (*мадьяр, нация наездников, секей, кун* и др.), личные венгерские названия *(Иштван, Тюнде, Аттила* и др.), названия других народов, с которыми венгры были в тесных культурных связях (*цыган, немец, русские* и др.). Есть понятия из области венгерской национальной психологии: *пессимизм, самоубийство* и др. Много терминов, связанных с венгерским языком, с венгерским речевым этикетом: *господин, госпожа, товарищ* и др. с языковой политикой: *обновление языка, венгеризация имен* и др.

Описываются исторические термины: имена исторических деятелей (*Арпад, Иштван, Эржебет, Кошут* и др.), названия исторических событий (*обретение родины, революция, смена режима* и др.), мест исторических событий (*Арад, Мохач* и др.), других историзмов (*жандарм, куруц, гайдук* и др.). При этом на долю истории 1948–1998 гг. приходится едва ли не половина всех исторических понятий (*социализм, товарищ, золотая команда* и др.). Есть в словаре понятия, относящиеся к последнему периоду истории Венгрии (*менеджер, предприниматель, мафия* и др.).

2. Систематизация лексики в культурологическом словаре. Как известно, у каждой лексемы есть форма (звучание, написание) и значение. Соответственно, и систематизация лексики может производиться с учетом 1) либо формы (алфавитные словари), 2) либо значения (тематические, идеографические словари). Лексика в рассматриваемом словаре располагается по алфавиту, в том порядке, который не имеет никакого отношения к культурологическому значению. Правда, в словарных статьях имеются отсылки к «родственным» словарным статьям, и читатель может таким образом видеть некоторые предметные связи.

В предметном, понятийном словаре, каковым является и культурологический словарь, главное – это содержание термина, его значение, а не форма – звучание, написание. Поэтому и упорядочивать эту лексику надо бы с учетом прежде всего значения. К словарю можно приложить алфавитный список слов с указанием места (страницы) в словаре, где это слово описывается, и тем самым обеспечить нахождение в словаре заданного слова также и по алфавиту. Расположение лексики в тематической систематизации способствует более глубокому раскрытию значения этой лексики, ведь в таком случае слово оказывается рядом с «родственными» словами, которые создают ему парадигматический контекст – дают ему дополнительную характеристику.

Тематический словарь можно читать, как монографию по культурологии, применять его как учебное пособие. Тематическое расположение лексики в учебных целях давно используется при изучении иностранного языка (не изучать же лексику в алфавитном порядке). При этом в учебных пособиях, составляемых в разных частях мира, выделяются, в целом, одни и те же темы: «Еда», «Одежда», «Квартира», «Семья», «Здоровье» и т.д. (см., например, учебное пособие по венгерскому языку для иностранцев: BENCE 1995). При формировании тематики для культурологического словаря, конечно, можно пойти по этому проверенному пути.

Однако задача систематизации лексики, охватывающей всю культурологическую область, более трудная. Принцип ее общей классификации пока еще, можно сказать, не разработан. Выше, говоря о том, какая лексика описывается в рецензируемом словаре, мы приводили примеры в соответствии с тематической группировкой, использованной в словаре: МАЛЬЦЕВА 1997 (ср. другие лингвострановедческие словари: ВЕНЕДИНА 1997, МУРАВЛЕВА 1997, РУМ 1998, ТОМАХИН 1999). Однако эта тематическая группировка культурологической лексики (25 крупных тематических групп, в произвольном порядке) тоже не является совершенной.

Полагаем, что прежде всего всю лексику, которая в рецензируемом словаре, без всякого внутреннего ее различения, названа культурологической, различается прежде всего в соответствии со следующими областями: 1) собственно культура, 2) цивилизация, 3) история. По проблеме различения культуры и цивилизации написано очень много: цивилизация – это материальное бытие, культура – это духовный мир человека (см., например: ЕСИН 1999: 12). Понятия из области истории страны (события, исторические личности и т.д.), которые в рецензируемом словаре тоже названы культурологическими, к культуре, все-таки, не относятся. «История культуры», «история цивилизации» – это тоже не история, а культура или цивилизация, только рассматриваемые в диахронии (а не в синхронии).

В словарях, посвященных одной тематической группе, задача классификации решается проще, см., например, классификацию в словаре: ГУНДЕЛЬ 1999: «Супы», «Холодные закуски», «Горячие закуски» и т.д. Впрочем, в узко тематическом словаре можно обходиться и без тематической классификации, располагая культурологическую лексику по алфавиту, например: ДЕНИСОВА 1983, ЧЕРНЯВСКАЯ 1984.

Таким образом, при дальнейшей работе над словарем, охватывающем большой массив лексики, автор может, вместо алфавитного расположения лексики, предложить читателю тематическую ее систематизацию, выделив словаре прежде всего три больших раздела: «Цивилизация Венгрии», «Культура Венгрии», «История Венгрии».

3. Венгерско-русский культурологический словарь. Именно так надо определить жанр рецензируемой книги. Конечно, это не обычный венгерско-русский переводной словарь, в котором указывается только на «ближайшее»

значение венгерского слова. Перед нами - предметный, понятийный, а именно культурологический словарь, в котором после указания на «ближайшее» значение венгерского слова, известного всем венграм, - описывается и «дальнейшее» его значение, которое не обязательно может быть известно каждому венгру, – описывается на русском языке, для русских, чтобы, переведя венгерское слово на русский язык, русские одновременно могли познакомиться и с «дальнейшим» значением этого венгерского слова (термины «ближайшее» и «дальнейшее» значение ввел в употреблении еще в X1X веке А. А. Потебня).

«Ближайшее» значение слов формулируется в толковых словарях. В переводных словарях «ближайшее» значение переводимого слова специально не формулируется: оно в двух языках обычно одинаковое. Тот, кто пользуется переводным словарем, знает об этом. Так, русский, найдя в венгерско-русском переводном словаре перевод: *oroszok – русские*, – заключает, что значение переводимого венгерского слова такое же, как и значение русского слова.

Совсем другое дело – «дальнейшее» значение слова, о котором из обычных переводных словарей узнать нельзя. Описывается это значение в предметных, понятийных, в том числе и в культурологическом словаре.

Ср., как описывается «ближайшее» значение слова *русские* в русском толковом словаре (1), как переводится венгерское слово *oroszok* на русский язык в обычном венгерско-русском словаре (2) и в рецензируемом венгерско-русском культурологическом словаре (3):

(1) *Русские* – восточнославянский народ, составляющий основное население России.

(2) *Oroszok* – русские.

(3) *Oroszok* – русские; в ходе истории XX века венгры имели возможность соприкасаться со всеми слоями русского народа; сотни тысяч венгерских солдат во время обеих мировых войн сражались на Украине и в России, венгерские военнопленные отбывали трудовую повинность в сибирских лагерях, а части Красной Армии «временно» (в течение 40 лет) находились на территории Венгрии, десятки тысяч венгерских студентов обучались в советских вузах и обзаводились не только дипломами, но и русскими женами; поэтому отношения обоих народов вполне можно назвать, если не любовными, то, во всяком случае, интимными, наложившими отпечаток и на личные человеческие контакты, хотя всегда было принято разграничивать советскую власть с ее страшным государственным механизмом и обычных советских граждан.

«Дальнейшее» значение венгерского слова *oroszok* (как понимают это слово венгры), конечно же, отличается от «дальнейшего» значения слова *русские* (как понимают это слово русские).

Таким образом, рецензируемый словарь по своему жанру, несомненно, переводной венгерско-русский специальный, а именно культурологический, словарь. Однако, в отличие от других специальных словарей (экономических, технических, сельскохозяйственных и др.), данный словарь имеет ту особенность, что он не просто переводной: в нем не только указывается на «бли-

жайшее» значение переводимого слова, но описывается и «дальнейшее» значение. Необходимость такого описания применительно к культурологической тематике объясняется тем, что в области культуры понятия в двух языках обычно не совпадают (в отличие от экономических, математических, физических и других понятий, которые в двух языках сходные).

4. Перевод «ближайшего» значения культурологической лексики. Перевод культурологической лексики с одного языка на другой, в частности с венгерского языка на русский, во многих случаях представляет собой сложную проблему. Применительно к рецензируемому словарю, легко переводятся собственные имена *Ady Endre – Ади Эндре, Alföld – Альфёльд* и др. В этом случае требуется только правильная транслитерация. Нетрудно переводится эквивалентная по «ближайшему» значению лексика (различающаяся по «дальнейшему» значению*): lakás – квартира, albérlő – квартирант* и др., лексика, общая для двух языков: *kása – каша, csárdás – чардаш* и др., в том числе и интернациональная лексика: *szocializmus – социализм, disszidens – диссидент* и др.

Но существует много венгерских культурологических понятий, которые отсутствуют в русском языке. В таком случае специалисты в области перевода неэквивалентной лексики (см. Верещагин, Костомаров 1983: 51–79) рекомендуют (1) переводить термин посредством описания, (2) либо давать термин без перевода (транслитерация). Но проблема в том (об этом названные авторы не пишут) – когда надо переводить посредством описания, а когда – оставлять термин без перевода?

Так, в рецензируемом словаре венгерское заглавное слово *kalapkúra* переводится: *лечение шляпой.* Этот венгерско-русский перевод является вполне допустимым, так как этот перевод можно «перевернуть» сделать русско-венгерским переводом: *лечение шляпой – kalapkúra.* Выражение *лечение шляпой* вполне может представлять в русском языке понятие (оно, например, краткое).

К сожалению, во многих случаях описательный венгерско-русский перевод, допускаемый в рецензируемом словаре, не может представлять в русском языке венгерское понятие. Так, в рецензируемом словаре дается следующий венгерско-русский перевод: *disznótor – пир по случаю забоя свиньи.* Можно сказать, что это – хорошее объяснение на русском языке венгерского понятия, но это не вполне хороший русский термин, чтобы представлять в русском языке венгерское понятие. Приведенный венгерско-русский перевод термина нельзя «перевернуть» – сделать русско-венгерским переводом. Выражение *пир по случаю забоя свиньи* громоздкое – не может быть терминологическим выражением. По-видимому, в этом случае перевод-описание вполне можно сделать кратким, например: *disznótor поминки по свинье.* Еще пример*: dísztávirat – телеграмма на красочном бланке.* Данный перевод-описание тоже пространное – не подходит на роль термина в русском языке. Здесь тоже можно было авторам поискать более краткое выражение для передачи

«ближайшего» значения венгерского слова, например: *dísztávirat – праздничная телеграмма*. Впрочем, такой термин (и понятие) существует и в русском языке – по сути дела это перевод эквивалентных терминов (одинаковых по «ближайшему» значению).

Конечно, в словаре сделано и много хороших венгерско-русских переводов, которые «обратимы» – являются одновременно и русско-венгерскими переводами. Русская часть в них хорошо представляет венгерское понятие в русском языке, например: *bikavér – «бычья кровь», barackpálinka – абрикосовая палинка* и др.

Как известно, в том случае, когда в венгерском языке - сложносоставное слово, оно переводится на русский язык, как словосочетание (примеры выше). Когда венгерское слово – производное, оно переводится русским словом с соответствующей морфологической (суффиксально-префиксальной) структурой: *államosítás – огосударствление* (в словаре это слово переведено неточно: *национализация)*. Если соответствующего слова в русском языке нет, то его можно образовать: морфологический состав позволяет понимать это слово: *amerikázni – американничать* (в словаре перевод: *отлынивать, прогуливать, сачковать*, – такому длинному выражению трудно стать термином).

При переводе безэквивалентной лексики, как нам представляется, смелее можно применять тот способ, который состоит – в непереводе этого слова (транслитерация). Отдельное слово, если оно вначале даже совершенно незнакомо, в большей степени способно представлять понятие в другом языке, чем словосочетание, например: *kucsma – кучма* (в словаре переводится: *лохматая шапка*).

С этой точки зрения, примером могут быть переводы терминов в книге ГУНДЕЛЬ 1999. Переводчик, в случае отсутствия термина в русском языке (из-за отсутствия понятия), предлагает русскому языку венгерский термин (в транслитерации)*: пёркёльт, паприкаш, токань* и др. Однако это оказывается возможным потому, в названной книге термины систематизированы по тематическому принципу, когда, находясь в соседстве друг с другом, термины сами себя определяют , например: х*олодные закуски: пёркёльт – из рубца, степной пёркёльт; паприкаш – из цыплят, из телятины, из баранины; токань – по-дебреценски, с черным перцем, по-хераньски, семи вождей, табунщиков* и т.д.

Итак, в венгерско-русском культурологическом словаре неэквивалентную лексику желательно переводить так, чтобы и в русском языке получить термин: *disznótor – поминки по свинье*. В таком случае можно составить и русско-венгерский словарь: *поминки по свинье* – disznótor. Однако чтобы словарь отвечал названию «Русским о венграх», он не должен быть переводным. Он должен быть словарем на русском языке, – описывающим не только «ближайшее», но и (поскольку словарь понятийный) «дальнейшее» значение (в скобках после русского термина можно называть и венгерский термин). Иначе говоря, данный словарь должен иметь словарные статьи следующего вида:

Поминки по свинье (disznótor) – пир по случаю забоя свиньи; это прощание с «убиенной» свиньей; по этому случаю принято даже созывать гостей, а гостинцы с праздничного стола (колбасу, кровяную колбасу и зельц) непременно посылают родственникам и знакомым, хотя бы по почте.

5. Описание «дальнейшего» значения культурологической лексики. Описание «дальнейшего» значения может быть различным: кратким или более полным, с одной или другой специализацией. В рецензируемом словаре это описание достаточно полное, ориентированное на массового русского читателя. Ср. более краткий страноведческий словарь, ориентированный на венгерских учащихся, изучающих русский язык: LENDVAI 1985.

Кроме того, описание понятий может быть научным – с обязательным указанием главных особенностей понятия, в их системном соотношении и т.д., см. энциклопедические словари – общие и специальные. Но при ориентации на массового читателя описание «дальнейшего» значения слова необязательно должно быть научным, точным. В нем можно обращать внимание на одни признаки понятия и не обращать на другие, высказывать авторское, субъективное отношение к понятию, позитивное или негативное, с позиции той или другой идеологии, употреблять эмоциональную лексику и т.д. Именно таким способом излагается «дальнейшее» значение культурологических терминов в рецензируемой книге, о чем читатель предупреждается в аннотации: «благодаря оригинальности материала и остроумной манере изложения она (книга) представляет интерес и для широкого круга читателя».

Действительно, книга читается с большим интересом, иногда – как публицистическое произведение, вовсе не как научная энциклопедия. По мере чтения начинаешь следить не только за содержанием термина (семантика), но и за тем, как к этому содержанию относится автор (прагматика), какие эмоции выражает, какую при этом эмоциональную лексику употребляет (в том числе и негативную: *гнусный*, *подлый*, *раж*, *крах* и т.д.).

В некоторых случаях, например при описании содержания историко-культурологических терминов, появившихся в Венгрии в период 1948–1998 гг. (а таких терминов в словаре, как уже замечено, оказалось столько, сколько их появилось за всю остальную историю Венгрии с момента «обретения родины») рецензируемый словарь является очень идеологизированным. Автор настолько эмоционально «проводит в жизнь» современную государственную идеологию, что, увлекаясь, как кажется, допускает иногда неточности в содержании словарных статей.

Конечно, историю и культурологию трудно излагать так же научно, как, например, математику, физику и т. д., отказываясь от оценок, от идеологии, хотя к этому надо по возможности стремиться.

Если автор продолжит свою работу над культурологией Венгрии (а это надо только приветствовать), то можно рекомендовать: при описании «дальнейшего» значения культурологической лексики сократить идеологический элемент, опустить соответствующую оценочную лексику, приблизив словарь

по жанру к энциклопедическому. Для широкого круга читателей это не будет хуже. Ведь энциклопедии, которые пишутся без «остроумной манеры», используются не только научными работниками, но прежде всего массовым читателем.

Литература

ВЕДЕНИНА 1997: Веденина Л.Г. (ред.). Франция: лингвострановедческий словарь. Москва.

ВЕРЕЩАГИН–КОСТОМАРОВ 1983: Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного 3-е изд. Москва.

ГУНДЕЛЬ 1999: Гундель К. Малая венгерская поваренная книга. Перевод с венгерского. – Corvina. Budapest.

ДЕНИСОВА 1983: Денисова М.Л. Народное образование в СССР. Лингвострановедческий словарь. Москва.

ЕСИН 1999: Есин А.Б. Введение в культурологию. Основные понятия культурологии в систематическом изложении. Москва.

МАЛЬЦЕВА 1997: Мальцева Д.Г. Германия: страна и люди. Лингвосрановедческий словарь. Москва.

МУРАВЛЕВА 1997: Муравлева Н.В. Австрия: лингвострановедческий словарь. Москва, 1997.

РУМ 1998: Рум А.Р.У. Великобритания: лингвострановедческий словарь. Москва, 1998.

ТОМАХИН 1999: Томахин Г.Д. США: лигвострановедческий словарь. Москва, 1999.

ЧЕРНЯВСКАЯ 1984: Чернявская Т.А. Художественная культура СССР. Лингвострановедческий словарь. Москва, 1984.

BENCZE 1995: Bencze Ildikó (сост.). Magyar civilizació és országismeret. Aula Kiadó, Budapest.

LENDVAI 1985: Lendvai Endre. Orosz-magyar országismereti szó- és kifejezési szótár. Tankönyvkiadó, Budapest.

В. А. ФЕДОСОВ

ZOLTÁN ANDRÁS. SZAVAK, SZÓLÁSOK, SZÖVEGEK. NYELVÉSZETI ÉS FILOLÓGIAI TANULMÁNYOK. [АНДРАШ ЗОЛТАН, СЛОВА, ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ТЕКСТЫ. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.] LUCIDUS KIADÓ, BUDAPEST. KISEBBSÉGKUTATÁSI KÖNYVEK, 2005, 273 LAP. ISSN 1586 3144, ISBN 963 9465 29 1.

Рецензируемая книга содержит переиздание 27 статей автора на венгерском языке, опубликованных на протяжении 1979 и 2004 гг. отчасти в различных лингвистических и филологических журналах, отчасти в юбилейных изданиях в честь самых видных венгерских славистов.

Соответственно заглавию книги в сборнике, вслед за предисловием, представлены статьи в трех тематических группах (с. 11–189), но кроме статей в конце еще печатаются пять рецензий (с. 193–226), использованная литература и принятые сокращения (с. 229–257), библиографические данные первой публикации статей (с. 259–260), а также указатель слов (с. 261–264) и имен (с. 265–273).

В разделе «Слова» помещаются исследования по истории некоторых венгерских слов преимущественно славянского происхождения, славянское происхождение которых аргументируется автором: венг. *émely*[1] 'тошнота' ← др. русск. *хмель* 'растение Humulus lupulus'; венг. диал. *émely*[2] 'чирей' < *imely* 'омела' ← болг. *imel*, *imelo* 'то же' (с. 35–44); венг. *öböl* 'бухточка' ← кайк.-хорватск./словенск. *obel* < **obьlъ* < праслав. **ob-vьlъ* (с. 53–58); венг. *szemérem* 'стыдливость' ← кайк.-хорватск./словенск. *sramen* < праслав. **sormъnь* (с. 59–63); венг. *szid-* 'ругать' ← восточнослав. **styd-iti* (с. 65–71); венг. *öblít-* 'полоскать' ← праслав. диал. **obliti* (с. 73–76); венг. *töröl-* 'стереть' ← праслав. диал. **tьr-* (основа настоящего времени от инфинитива **terti*, с. 76–80).

В других статьях данной главы Андраш Золтан уточняет этимологию некоторых венгерских слов со спорной этимологией, а также тех слов, славянское происхождение которых считалось в прежней литературе проблематичным из-за слабостей морфо-фонетического характера. В статье под названием «Имеются ли балтские заимствования в венгерском языке?» рассматриваются исторические и хронологические условия балто-венгерских языковых контактов и предлагается объяснение двух венгерских слов из древнебалтского (заимствованные венгерским языком до прихода венгров в Карпатский бассейн): венг. *tót* 'этноним для обозначения славян' ← балт. **tauti* или **touti*; венг. диал. *venter~vöntör* 'вятерь' ← балт. **venteri*. На страницах 45–51 уточняется этимология венг. слова *karácsony* 'Рождество'. Это слово, соответственно аргументации А. Золтана, восходит не к славянской форме *kračunъ* < праслав. **korčunъ*, как это раньше думали, а в конечном счете к древнеалбанской форме **karcun* 'пень, обрубок'. Албанское слово – еще как термин языческого обряда – было заимствовано южнославянским диалектом праславянского языка в форме *kračunъ* (оттуда прошло оно и к восточным славянам), а венгерский язык позаимствовал южнославянскую форму уже как название христианского праздника.

Отдельная статья (с. 89–92) посвящается исправлению семантических неточностей заглавных слов ГОСОУДАРЪ и ДОХОДЪ Словаря древнерусского языка XI–XIV вв. (Москва, 1988–), неправильности толкования формы КМА(Т) в Староукраинском словаре (Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. I–II, Київ, 1977–78), вытекающей из ошибочного отнесения этого слова к глаголу как части речи вместо существительного К[А]МА[Т], заимствованного из венгерского языка. Также обращается внимание на несостоятельность объяснения заглавного слова ПОЛЬСКИИ в белорусском словаре Скарыны

(Слоўнік мови Скарыны I–III. Складальнік У.В. Анічэнка. Мінск, 1977–1994) как прилагательное со значением этнонима в переводе псалтыря.

Самой интересной статьей лексикологической части книги является обзор исследования венгеро-славянских языковых контактов («Начала и фазы венгеро-славянских соприкосновениях» на с. 11–27), который является отнюдь не простым обзором, а представляет синтез знаний по теме на современном уровне. После обзора истории исследования славянских заимствований в венгерском языке, проведенного самыми видными венгерскими славистами, автор рассматривает раннюю историю праславянского языка с целью представления его диалектных различий на фонетическом уровне, возникших ко времени обретения родины венграми в Карпатском бассейне в 896 г. Такое стремление неслучайно, ведь в центре внимания исследования славяно-венгерских языковых контактов в Венгрии изначально стоит вопрос: можно ли назвать источниками старых славянизмов венгерского языка конкретные славянские языки? А. Золтан, сопоставляя новейшие результаты ономастики, археологии, исторической географии венгерских и славянских населенных пунктов IX–XI вв., приходит к выводу, что большинство славянских заимствований в венгерском языке могло появиться в результате языковых контактов субстратного характера. Они были заимствованы у тех славян, которые жили в Карпатском бассейне во время прихода венгров в IX веке на эту территорию, и которые в последствии были ассимилированы венграми. Фонетические особенности славянских заимствований и топонимов славянского происхождения в венгерском языке позволяют предположить былое существование в Карпатском бассейне двух диалектных образований праславянского языка. Первое А. Золтан называет как панноно-славянский, который представляется как переходное от кайковско-хорватско-словенского к моравско-словацкому. Второе диалектное образование носит южнославянский характер болгарского типа. Оба они исчезли к XII веку. (При рассмотрении панноно-славянских диалектов А. Золтан не ставит вопрос об их этнических началах. Последние исследования[23] показывают, что ко времени прихода венгров в Паннонию в лексическом составе их языка имелся уже аварский субстрат.) Меньшая часть славянских заимствований появилась в венгерском языке после XII века, в результате активной внешней политики венгерского государства с славянскими соседями.

В разделе «Фразеологизмы» публикуются четыре исследования. В первом (с. 95–102) приводится богатый филологический материал для доказательство того, что венгерский фразеологизм *hálát ad* 'благодарить/поблагодарить кого-л. за что-л.' первоначально как оборот церковнославянского употребления, был заимствован не из одного южнославянского языка, – христианская тер-

[23] Róna-Tas András, An East European Title of Turkic Origin: Ban // Bahşi Ögdisi. Festschrift für Klaus Röhrborn anlässlich seines 60. Geburtstages. Hrsg. von Jens Peter Laut, Mehmet Ölmez. Freiburg–Istanbul 1998: 305–309; Szatmári Sándor, Korai „altaji" lexikális elemek a déli szláv nyelvekben. NyK 97 (2000), 196–222.

минология которых отражает римскую обрядность – а восходит в конечном счете к старославянскому языку. Во второй статье (с. 103–104) изучается происхождение венгерского фразеологизма *azon van, rajta van* 'стремиться к чему-л.'. Автор приводит параллели из старобелорусского и старопольского языков, и приходит к выводу, что все они, включая и венгерский оборот, являются кальками старого немецкого фразеологического выражения *daran sein.*

Весьма интересны изыскания А. Золтана по реконструкции значения глагола *одерживать/одержать* в перифрастическом выражении современного русского литературного выражения *одерживать/одержать победу* (с. 105–112) Автором приводится очень наглядный историко-филологический материал, доказывающий вывод его семантического исследования: глагол *одерживать/одержать* в современном русском литературном языке латинизм, попавший в старорусский язык через польское и белорусское посредничество в конце XVII века в выражении *одерживать/одержать победу* .Это выражение соответствует латинской фраземе *victoriam obtineo*, но значение глагола в русском языке утратилось.

Написанию семантической трактовки венгерского фразеологизма *valaki vagy valami farvizén evez/evickél/hajózik* 'плыть/быть в фарватере кого л./чего-л. (с. 113–125) способствовало широкое распространение этого выражения в венгерской публицистике, особенно в ее электронной разновидности в Интернете. Трудность заключается в установлении значения венгерского слова *farvíz*. Оно на первый взгляд выглядит как сложное слово, возникшее в результате сложения венг. слов финно-угорского происхождения *far* 'задница, задняя часть' и *víz* 'вода'. Но такое сложение оказывается странным и вызывает смех при предметном представлении выражения. Откуда и почему здесь *far* 'задница'? Заслуга этимолога-филолога А. Золтана состоит в выяснении того, что венгерское слово *farvíz* – это по сути дела германо-венгерское гибридное выражение (полукалька) на подобие немецкого сложного слова *Fahrwasser*. Последнее слово как навигационный термин было заимствовано и русским языком через голландское посредничество. Идиоматическое выражение плыть/быть в фарватере кого-л./чего-л. могло появиться и на немецкой, и на русской почве и любое из них могло быть источником венгерского калькированного фразеологического выражения.

В последнем разделе («Тексты») публикуется семь исследований: Заметки к возникновению русского варианта истории о Дракуле (с. 129–146); Древнебелорусский перевод произведения «Athila» Миклоша Олаха и Пала Шонкоя (с. 147–157); Случай Мациея Стрийковского с легендой о Святой Оршоле (с. 159–167); Об источнике Хроники Стрийковского (с. 169–172); Баторий и Аттила (с. 173–176); Легенда о Святой Оршоле в Восточной Европе (с. 177–183); Южно-европейские связи древне-белорусской легенды о Тристане и Изольде (с. 185–189). Все они представляют собой интереснейший культурологический экскурс в средневековые литературные связи восточноевропейской образованной публики, осуществленный при помощи филологических

методов. В работе при решении поставленных задач много поворотов, но их перечисление выходит за рамки настоящей рецензии.

Сборник статей Андраша Золтана представляет отличный пример того, как следует писать о самых сложных и серьезных лингвистических проблемах ясным, общедоступным языком, не лишенным местами и остроумия. В то же время книга по славяно-венгерским языковым и культурным контактам отражает высокий научный уровень будапештской славистической школы. Тонкая филологическая работа обязательно предлагается вниманию читателей широкого круга.

AGYAGÁSI Klára

KIRÁLY PÉTER. A LENGYEL KRÓNIKÁK, ÉVKÖNYVEK ÉS M. MIECHOW „TRACTATUS"-ÁNAK MAGYAR VONATKOZÁSAI // DIMENSIONES CULTURALES ET URABARIALES REGNI HUNGARIAE 8. SZERKESZTETTE ÉS AZ ELŐSZÓT ÍRTA UDVARI ISTVÁN. NYÍREGYHÁZA, 2004, ISBN 963 9385 83 2; HU-ISSN 1588-8215

Исследование ранней истории народов средневековой Европы не может обойтись без изучения сведений специфичных жанров письменных источников – хроник и летописей. Специфичность этих жанров (вместе с другими особенностями) состоит в том, что, с одной стороны, выбор перечисленных событий строго подчиняется интересам заказчика и канону эпохи составления, а с другой, что в них общее знание о мире появляется как вневременное и не авторизованное. Тексты, передающие события прежних эпох, могут странствовать из хроники в хронику, из летописи в летопись без указания на оригинальные источники информации. Для установления достоверности рассказанных событий необходимо проводить сопоставительное изучение независимых друг от друга письменных источников той же эпохи.

Издание дошедших до нас хроник, составленных в исторической Венгрии венграми в XIII–XV вв. и их исторический анализ имеет столетнюю историю. Сведения византийских (см. Moravcsik Gyula, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Fontes byzantini historiae Hungaricae aevo ducum et regnum ex stirpe Árpád descendentium. Budapest 1954) арабских (см. Czeglédy Károly, Monographs on Syriac and Muhammadan Sources in the Literary Remains of Kmoskó. AOH 4: 19–91; Elter István, Néhány megjegyzés Ibn Hayyānnak a magyarok 942. évi spanyolországi kalandozásáról. MNy 77 : 413–419) и славянских (см. Hodinka Antal, Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. „Az orosz évkönyvek teljes gyűjteménye"... köteteiből ford. Budapest, 1916) источников о венграх IX–X вв. постоянно являлись темой исторических и филологических исследований XX века. А по поводу тысячелетия обретения венграми настоящей родины в 1996 г. возросло число источниковедческих работ и комментиро-

ванных переводов разнообразных письменных источников (см., например, Hodinka Antal, Cseh források. Kiadásra előkészítette: Heé Veronika. A Vasvári Pál Társaság Füzetei 13. Nyíregyháza, 1994; Kristó Gyula, Hungarian History in the Ninth Century. Szeged 1996; Font Márta, Magyarok a Kijevi Évkönyvben. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 11, 1996). Также опубликована монография по теме формирования венгерского народа (Róna-Tas András, A honfoglaló magyar nép. Balassi Kiadó, Budapest, 1996) и многосерийный сборник статей, затрагивающих разные аспекты ранней истории венгров (см. A honfoglalásról sok szemmel, Főszerkesztő Győrffy György. Budapest, 1996–1997; Kristó Gyula–H. Tóth Imre, Az orosz évkönyvek néhány magyar vonatkozásáról. // Acta Historica 103. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, 21–29). К этой грандиозной исследовательской деятельности присоединяется с небольшим опозданием книга П. Кирая под названием *Польские хроники, летописи и венгерская тематика в «Трактате» Матвея Меховского* (2004).

Книга, вслед за Предисловием И. Удвари (редактора серии Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae), содержит семь глав.

В первой главе (с. 9–31) изучаются польские хроники (Баварский географ; Galli Chronicon; Wincenty Kadłubek Historia Polonica; Chronica longa Polonorum seu Lechitarum; Chronica Polonorum; Mierzwae Chronicon; Chronica Principium; Długossi Historiae Polonicae; Miechow Chronica Polonorum).

Во вторую главу (с. 32–37) входят польские летописи, анналы (Annales/Chronica brevis Cracoviensis; Rocznik Sędziwoja z Czehla; Rocznik Kamieniecki Śląski; Annales Cracovienses/Rocznik Traski; Rocznik Krasińskich; Rocznik Świętokrzyski; Rocznik Małopolski; Rocznik Cysterów Henrykowskich).

В третьей главе (стр. 38–50) представлены венгерские хроники, возникшие в Польше (De Sancto Rege Ladislao; Kronika Węgierska; Juhra; Венгеро-польская хроника).

В четвертой главе (с. 50–61) опубликован отклик венгерских и зарубежных авторов на произведение Матвея Меховского Tractatus (1517 г.).

В пятой главе (с. 62–141) представляется само произведение Tractatus (1517 г.) и его перевод на польский язык (1535 г.).

Шестая глава отличается от предыдущих тем, что здесь польские источники не играют главную роль в презентации филологических данных. В этой главе (с. 141–189) рассматривается проблематика понятия *Jugria* в зеркале западных и восточных источников.

Седьмая глава – это Послесловие автора (с. 189–198), которое сопровождается резюме на английском языке (с. 199–200) и списком сокращений (с. 201–206). К книге прилагаются указатели – Указатель личных имен и источников (с. 207–213), Указатель топонимов и этнонимов (с. 214–230) и Указатель слов (с. 231–234) – работа Аттилы Холлоша. Книга закрывается Приложениями – схематической картой Европейской и Азиатской Сарматии, отрывками из оригинальных рукописей изученных хроник и летописей, титульным листом и некоторыми старопечатными страницами латинского текста произведения «Tractatus» М. Меховского.

Построение первых трех глав имеет одинаковый порядок. Впервые дается общая характеристика изучаемых хроник/летописей (условия возникновения, отождествление их составителей, указание на использованные составителем источники, библиографические данные польского издания рукописей, а также перечисление известной автору научной литературы о них). Затем следуют отрывки из текстов на оригинальном, латинском языке, и, наконец, филологический анализ личных имен, этнонимов и топонимов, встречающихся в отрывках. А в пятой и шестой главах ко всему этому еще прилагается и перевод отрывочных текстов с латинского на венгерский язык.

Тема выбранных отрывков определяется стремлением автора ознакомить широко образованную публику с теми сведениями источников, содержание которых являлось темой активных исследований в Венгрии не в последнюю очередь по поводу тысячелетнего юбилея обретения венграми настоящей родины. Таким образом, цитируются рассказы, описывающие местонахождение прародины славян, моменты средневековой истории венгерского, а также разных финно-угорских, балтийских, славянских и тюркских народов и языков, происхождение некоторых топонимов и этнонимов, языческие верования и принятие христианства, народные обряды перечисленных народов. Кроме них представлено события татарского нашествия на земли русского, польского, венгерского и других народов и сведения об усилении власти московской Руси над финно-угорскими народами.

Филологический и этимологический анализ личных имен, этнонимов и топонимов, то есть средства исторического языкознания в интерпретации истории применяются в книге соответственно общепринятому положению, по которому историческое языкознание является вспомогательной дисциплиной истории. П. Кирай, следуя принципам позитивистской историографии, собирает в одной книге все имеющиеся филологические данные к цитированным в польских источниках личным именам, этнонимам и топонимам, приводит их научные интерпретации на основании самой свежей литературы. Конечно, изученные исторические названия по своему происхождению относятся к нескольким десяткам живых и вымерших языков. В анализах акцент ставится на имена и названия славянского происхождения, но чтобы сохранить равномерно высокий научный уровень филологического анализа, Кирай в объяснении данных на тюркских, монгольских и других неизвестных автору языках обращается к современным подытоживающим филологическим работам. В этом и состоит ценность книги: читатель получает достоверное филологическое разъяснение исторических названий разного типа евразиатского простора, встречающихся в средневековой летописной литературе.

AGYAGÁSI Klára

Скляревская Г. Н., Ваулина Е. Ю. Давайте говорить правильно! Серия словарей–справочников. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003–2004.

«Давайте говорить правильно!» – так называется серия словарей, которую выпускает Филологический факультет СПбГУ. Инициатором этого выпуска является видный специалист в области русского и общего языкознания, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Л. А. Вербицкая. Изначально словарная серия предназначалась для депутатов Государственной Думы. В результате роста тиража карманного формата книжечки с надписью «Давайте говорить правильно!» стали доступными самым широким читательским кругам. Помимо словаря «Словарь заимствований», в серии «Давайте говорить правильно» уже изданы «Политический язык современной России», «Трудности современного русского произношения и ударения», «Трудности современной русской фразеологии», «Новые и наиболее распространенные сокращения в современном русском языке», «Орфографические трудности современного русского языка» и «Трудности грамматического управления в современном русском языке». Вся серия будет состоять из 20 словарей. Она, на наш взгляд, является весьма удачным издательским проектом такого рода. Серия адресована в первую очередь людям, чьи профессиональные интересы связаны с русским языком. Однако без сомнения, она может быть полезна и интересна простому обывателю в качестве прекрасного справочного пособия по употреблению современного русского языка.

1. Новейшие и наиболее распространенные заимствования в современном русском языке: Краткий словарь-справочник. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004, 224 с., ISBN 5-8465-0252-0

Из данного словаря-справочника читатель может получить сведения о правильном значении и употреблении слов, заимствованных из иных языков, уточнить произношение, грамматическую характеристику, узнать этимологию и толкование, а также типовые, привычные случаи их употребления. В словаре-справочнике используется иноязычный лексический запас активного употребления, отражающий наиболее актуальные понятия современности.

Объем словаря «Новейшие и наиболее распространенные заимствования в современном русском языке» – 648 единиц. (Во вступлении отмечено: «Словарь содержит 648 слов.», но среди них находится также три словообразовательных морфа: приставки *а́нти...* и *ква́зи...*, и первая часть составных слов *вип-*.) Главным источником словаря является Электронный лексический фонд русского языка, представляющий собой обширную картотеку «Словаря живого русского языка» (около 3 млн. словоупотреблений), работа над которым ведется в Межкафедральном словарном кабинете им. Б. А. Ларина на фило-

логическом факультете СПбГУ под общим руководством проф. Г. Н. Скляревской.

Словарь составлен почти целиком на основе уже опубликованных толковых словарей под ред. Г. Н. Скляревской. Таким образом, он не содержит большого количества абсолютно новой информации, зато оказывается в высшей степени полезным с точки зрения компактного и четкого представления новейших и наиболее распространенных заимствований в современном русском языке.

Очень ценным с дидактической точки зрения является то, что в некоторых словарных статьях приведены нормативные предостережения – указания на типовые, распространенные ошибки (например: неправильно *апартáменты, апартáмент* вместо *апартамéнты* – с. 45; ошибочно *добиться импичмента президенту* вместо *добиться импичмента президента* – с. 93; нельзя также употреблять слово *биеннале* как несклоняемое существительное среднего рода – *очередное биеннале*, вместо несклоняемого существительного женского рода *итальянская биеннале* – с. 57). Однако жаль, что такие предостережения имеются в конце лишь семи словарных статей.

Некоторые статьи допускают разного рода исправления и дополнения. Ниже приводятся некоторые из них:

Неполная этимологическая справка

В этимологической справке слова *бракерáж* указывается ближайший, непосредственный источник: «[< польск. brak + суфф. -ёр + суфф. -аж]» (стр. 62), но после корня отсутствует значение прототипа. По мнению рецензента, польское слово нуждается в дополнительном истолковании, полезным было бы привести минимальное сведение этимологии слова: польск. *brak* 'изъян, повреждение, отсутствие' (ср. Bańkowski, Andrzej: Etymologiczny słownik języka polskiego, 2000: 72.) или 'негодное' (ср. Смирнов, Н. А.: Западное вліяніе на русскій языкъ въ петровскую эпоху, 1910: 65.). В подробной этимологической справке мы можем указать также на допустимый непосредственный источник: ср.-нж.-н. *Brack* 'рассортирование, дрянь' (ср. там же, и Wahrig Deutsches Wörterbuch 1986/1992: 291).

Сведения о происхождении слова-композита *тдп-мéнеджер* тоже недостаточны, в справке отсутствует информация о значении английских слов. Как в случае словарной статьи *тдк-шóу*, здесь тоже интересно, хотя и не обязательно, было бы привести семантику слов.

Отбор материала словаря

Можно высказать и некоторые другие мелкие замечания. В словарном составе находится заголовочное слово *макроэконóмика*, но нет лексемы *микроэкономика*. По нашему мнению словарь должен был бы включить такие распространенные слова происходящие из иных языков, как, к примеру, адаптированные из английского языка имена существительные: *офис, шоп, юзер*.

Отдельные критические замечания рецензента направлены на то, чтобы дать некоторые конструктивные, и надеемся, полезные дополнения к материалам словаря, но они ни в коем случае на снижают нашей высокой оценки предлагаемой книги. Итак, рецензируемая книга ставила перед собой новую и крайне актуальную для современной лингвистики задачу: повышение культуры речи не только депутатов Государственной Думы, но и всех, выступающих в средствах массовой информации. Безусловно, она эту задачу решила.

FÓRIÁN Éva

2. Вербицкая Л.А. и др. Трудности современного русского произношения и ударения: Краткий словарь-справочник. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003, 160 с., ISBN 5-8465-0077-3 (Филол. фак. СПбГУ); ISBN 5-7695-1361-6 (Изд.центр «Академия»)

Краткий словарь-справочник «Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения», составленный коллективом авторов Л.А. Вербицкой, Н.В. Богдановой, Г.Н. Скляревской, по словам самих авторов, предназначен для широкого круга читателей и призван помочь им избежать распространенных ошибок в речи. В словаре даются сведения не только о произношении и ударении, но и об образовании основных форм слов, вызывающих затруднения при их произношении.

В четком введении приводятся общие сведения о словаре, об отборе слов, о составе и структуре словаря и словарной статьи. В словник словаря вошли слова широко представленные в средствах массовой информации и на сайтах интернета. Это преимущественно слова, связанные с политической и экономической жизнью, сравнительно недавно ворвавшиеся в повседневную речь, в основном заимствованные слова (*инаугура́ция, брэнд, де́мпинг, дефо́лт*), вызывающие массовые затруднения в произношении. Помимо этих новейших заимствований в словарь включены слова, в которых традиционно допускаются «акцентологические ошибки»: вместо *аге́нт*, к сожалению, часто звучит *а́гент*, вместо *катало́г – ка́талог*, вместо *нача́ть – на́чать*, вместо *углуби́ть – угл́убить*, вместо *заём* говорят *заЙм*, вместо *инциде́нт – инциНде́нт*.

Список основных лексикографических источников авторы приводят в конце введения (с. 27.)

1. Структура словаря. В словаре принят алфавитный порядок размещения слов. Заголовочное слово дается со строчной буквы, кроме тех слов, которые по правилам правописания пишутся с прописной буквы (*Го̀сду́ма, Сена́т, МЧС*).

2. Структура словарной статьи. Словарная статья построена открыто, контрастивно и наглядно. В левой части страницы – заголовочные слова и приводимые при них формы. В правой – необходимая информация о слове: транскрипция, варианты произношения, указание на типовую ошибку.

а. Имена существительные приводятся в форме именительного падежа единственного числа. При необходимости приводится форма родительного падежа единственного числа и именительного и родительного падежей множественного числа (*аэропо́рт, аэропо́рта, аэропо́рты, аэропо́ртов*; *шофёр, шофёра, шофёры, шофёров*). В случае несклоняемых существительных ставится помета *нескл.* И указывается род и пример словоупртребления (*биенна́ле* и *бьенна́ле, нескл., ж. род*: *откры́лась биенна́ле*).

Рядом с аббревиатурами также стоит грамматическая помета нескл., указывая род, и в круглых скобках приводится расшифровка: *ЕЭС, нескл., ср. род* (Европейское экономическое сообщество); *ФСБ, нескл., ж. род* (Федеральная служба безопасности); *МЧС, нескл., ср. род.* (Министерство по чрезвычайным ситуациям).

Если имя существительное не употребляется в единственном числе, только во множественном, то стоит указание *ед.число не употр.* Например: *деба́ты, де́ньги, медикаме́нты.*

б. Имена прилагательные представлены в исходной форме мужского рода именительного падежа единственного числа. Приводятся краткие формы и формы сравнительной степени, так как они вызывают большие трудности в произношении: *сво́йственный – сво́йствен* и *сво́йственен, сво́йственна*; *беззако́нный – беззако́нен, беззако́нна, беззако́ннее.*

в. Глаголы даются в неопределенной форме, при каждом глаголе – форма страдательного причастия, если она употребительна: *заброни́ровать – заброни́рованный*; *блоки́ровать – блоки́рованный*; *импорти́ровать – импорти́рованный.* Часто указываются формы настоящего и прошедшего времени, краткие страдательные причастия, действительные причастия настоящего времени и деепричастия, вызывающие большие трудности при произношении: *нача́ть – на́чал, начала́, на́чало, на́чали*; *на́чатый*; *на́чат, начата́, на́чато, на́чаты*; *начáвший*; *начáв.*

г. Наречия в словаре даются без помет.

Все слова приводятся с ударением, в сложных словах указывается и побочное ударение, а также все допустимые варианты: *бѝзнес-ле́ди*; *Гѐнпрокурату́ра*; *гѐнсе́к*; *мизе́рный* и *ми́зерный; патриа́рхия* и *патриархи́я.*

Знаки транскрипции приводятся в квадратных скобках.

Для эффективного искоренеия самых распространенных ошибок в словаре принята специальная помета запретительного характера – *неправильно!* Слово с типовой ошибкой выделяется в рамке в правой части словарной статьи.

В словаре приводятся и стилистические особенности произношения и ударения с пометами: *наркома́ния* – в проф. речи, *наркомани́я*; *заводско́й* – устар., *заво́дский*.

Данный словарь, в отличие от других фундаментальных работ по русскому литературному произношению и ударению, не громоздкий, но включающий наиболее распространенные трудности ударения и произношения.

Словарь «Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения» пытается решить одну из главных задач – повышение культуры речи, которая неотделима от общей культуры.

BALLÓ Larisza

3. Скляревская Г. Н., Ткачеева И. О. Давайте говорить правильно! Политический язык современной России, Краткий словарь-справочник, – СПБ. Филологический факультет СпбГУ, 2003, 219 с. ISBN 5-8465-0214-8

Słowniczek wydany przez Wydział Humanistyczny Państwowego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu jest kontynuacją serii zapoczątkowanej słownikiem „Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения" (Л. А. Вербицкая, Н. В. Богданова, Г. Н. Скляревская. СПб., 2002) (Mówmy poprawnie! Trudności wymowy i akcentu współczesnego języka rosyjskiego). Zarówno jak i pierwsze tak i omawiana część przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników i zamierza pomóc uniknąć powszechnie używanych błędów w mowie. Słowniczek zawiera 694 wyrazy i związki wyrazowe.

Omawiany słownik, tak samo jak cała seria jest bardzo pożyteczna z dydaktycznego punktu widzenia, jest materiałem pomocnym dla studentów filologii rosyjskiej, tłumaczy i innych urzędników państwowych. Praktyczny format serii, kolorowe okładki ułatwiają korzystanie ze słowników.

Strony 4–30, autorstwa profesor Sklarewskiej, stanowią część pomocną dla czytelnika p.t. „Jak korzystać ze słownika". Z „Ogólnych informacji o Słowniku" (§ 1) dowiemy się o tym, że słowniczek ma na celu podawać do wiadomości czytelnikowi właściwe znaczenia i zakres użycia najnowszych terminów i pojęć używanych w życiu politycznym współczesnej Rosji.

Pod drugim podtytułem „Dobór słów" znajdziemy informacje w siedmiu punktach: słownik zawiera polityczną leksykę użycia aktywnego, odzwierciadlającą najbardziej aktualne pojęcia współczesności (§ 2).

Baza Słownika (tak samo jak i korpus przykładów) powstała na podstawie materiałów Zasobu elektronicznego leksyki języka rosyjskiego (Электронный лексический фонд русского языка), mającego największą kartotekę (około 3 milionów wyrazów) „Słownika żywego języka rosyjskiego" (Словарь живого русского языка). Praca nad kartoteką prowadzona jest w Międzykatedralnej Pracowni Słow-

nikowej im. Larina na Wydziale Humanistycznym СпбГУ pod kierownictwem pani profesor Sklarewskiej. Oprócz tego korpus słownika zawiera jeszcze materiały wzięte z mediów i stron internetowych oraz z różnych słowników języka rosyjskiego (§ 3).

Podstawę słownika stanowią wyrazy odzwierciadlające życie polityczne Rosji współczesnej jak: альянс, аналитика, брифинг, вето, вотум, департизация, импичмент, конформизация, либерализация, лига, референдум, Шенген i inne (§ 4).

Peryferie słownika stanowią następujące klasy wyrazów (§ 5):

- niektóre znaczenia, związane z życiem politycznym krajów zagranicznych: *Бундестаг, канцлер, палата лордов, Талибан* i inne.
- niektóre pojęcia historyczne: *НЭП, продовольственная диктатура*

Słownik tematyczny składa się z następujących klas wyrazów (§ 6):

- forma rządu (*автократия, монархия* i inne),
- ustrój państwa (*конфедерация, парламентаризм* i inne),
- system polityczny (*авторитаризм, тоталитаризм* i inne),
- osoba: lider, zwolennik itd. (*авторитарист, геополитик* i inne),
- nazwy partii (*„Единая Россия", КПРФ* i inne) W przypisie podana została informacja, że Słownik nie zawiera nazw wszystkich partii, tylko najbardziej wpływowych,
- prądy i ruchy ideologiczne oraz polityczne (*национал-большевизм, фундаментализм* i inne),
- niektóre terminy związane z życiem politycznym z dziedziny ekonomii (*монополия*), finansów (*бюджет*) i prawa (*неправовой*).

Oprócz wyrazów mających znaczenie terminologiczne, w Słowniku znajdują się także derywaty terminów politycznych, należące do różnych części mowy (§ 7):

- rzeczowniki odczasownikowe (бюрократизаци, департизация, политизация i inne)
- przymiotniki (авторитарный, антиконституцийный, унитарный i inne)
- czasowniki (консолидировать, лоббировать, стабилизировать)

Szczególne miejsce zajmują w słowniku powszechnie używane skrótowce (§ 8) (*ВЧК, ГБ, ЕС, ЗС, МПР, ООН, ФСО* i inne).

Hasła w Słowniku występują w porządku alfabetycznym (§ 9), a pisane są małą literą (§ 10) za wyjątkiem, kiedy zasady ortografii wymagają wielkiej litery: *абсолютный, автономия, Госдума, Евросоюз* (Budowa i struktura Słownika – Ss. 7–12, §§ 9–17). Jeżeli wyraz ma kilka znaczeń, to wszystkie są wypracowane osobno i numerowane są cyframi arabskimi (§ 11). Homonimy sygnalizowane są indeksami cyfrowymi (*ВЧК*[1], *ВЧК*[2]) (§ 12). Warianty pisowni, w wymowie i deklinacji pokazywane są na poziomie hasła słownikowego i jeśli jest to konieczne dopisywane są komentarze lub uwagi. (*МИД* [мид], нескл. и *МИДа, м.*) (§ 13) Jeżeli definiowany wyraz realizuje się tylko w związkach wyrazowych, podawany jest on bez opracowania (§ 14):

группа

Шенгенская группа…

W Słowniku używany jest system odsyłaczy (§ 15). Stałe połączenia wypracowane są przy tym wyrazie, z którym związane są według sensu (§ 16): *система… беспартийная система, монопартийная система* i inne. Dla innych komponentów stałego połączenia podaje się odsyłacz: *беспартийный…, беспартийная система* (см. Система) Odsyłacze są używane przy rozszyfrowaniu sktótowców: *ВС…* Сокр. Верховный суд. (см. суд) (§ 17).

Hasła słownikowe (ss 2–13, § 18–19) są dosyć pojemne, zawierają bowiem informacje obowiązkowe (wyraz tytułowy z akcentem, opis gramatyczny i definicja) oraz uzupełniające, fakultatywne (wymowa, uwagi stylistyczne i funkcjonalne, przykłady użycia i wskazanie na błędy typowe, powszechne).

Wyraz tytułowy (Ss. 13–14, od § 20 do § 24) podany jest w formie podstawowej (§ 20). Rzeczowniki przedstawione są w mianowniku liczby pojedynczej (*депутат, иммунитет…*) (§ 21), a jeżeli słowa używane są częściej w liczbie mnogiej, to tak również są podane w słowniku ze wskazaniem na formę liczby pojedynczej rodzaju męskiego, rzadziej rodzaju męskiego i żeńskiego (*полномочия…* (ед. полномочие). Przymiotniki przytaczane są w formie pełnej w mianowniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego (§ 22) (идеологический…, мажоритарный…). Czasowniki przedstawiane są w formie bezokolicznika (консолидировать…) (§ 23). Wszystkie wyrazy tytułowe podane są z akcentem (§ 24).

Ss. 14–15 (§ 25) informują o właściwościach wymowy; o wymowie skrótowców (np. ЕР [еэр]…

Na stronach 15–16 (od § 26 do § 29) znajdziemy informacje o uwagach gramatycznych. Opis gramatyczny podany jest zgodnie z przepisami leksykografii rosyjskiej (§ 26). Przy rzeczownikach występują wskazania na dopełniacz liczby pojedynczej i na rodzaj w skrócie: м. – мужской, ж. – женский, ср. – средний (диктатор, -а, м.) itd (§ 27). Końcówki rodzaju żeńskiego i nijakiego przymiotników podane są w mianowniku liczby pojedynczej (*авторитарный*, -ая, -ое...) (§ 28). Przy czasownikach podane są końcówki 1 i 2 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, aspekt i rekcja (лоббировать, -рую, -руешь. св и нсв; кого, что…) (§ 29).

Słownik nie stawia sobie za zadanie opisu stylistycznej i funkjonalnej charakterystyki słów, jednakże w pojedynczych przypadkach zaznaczona jest specyfika danego słowa (*маргинал…* публ.) („Uwagi stylistyczne i funkcjonalne" – s. 17–18, § 30).

W słowniku każdy wyraz i związek wyrazowy jest wyjaśniony (o wyjaśnieniu znaczeń od § 31 do § 39 – s. 18–25), przy czym definicje są tak samo różnorodne jak znaczenia słów (§ 31). Dla pewnej grupy wyrazów wystarczy krótkie wyjaśnienie, a inne grupy wyrazów potrzebują obszernego, opisującego wyjaśnienia (z przykładami) (§ 32 i 33). Jeżeli jest to konieczne, do wyjaśnienia dodaje się synonim lub antonim danego wyrazu (§ 34) (z przykładami). Dodatkowe odcienie znaczeniowe podane są po średniku (§ 35, z przykładami). Terminy, wymagające bardziej szczegółowego opisu wyjaśnione są dwojako: 1. sposób: z komentarzem przed wyjaśnieniem, 2. sposób: uściślenie wyjaśnienia w nawiasach (§ 36).

W przypadku synonimii znaczeń wyraz wyjaśnia się przez formułę „то же, что…" (§ 37). Na używanie słowa w przenośnym znaczeniu wskazuje uwaga „перен." (§ 38). O skrótowcach czytamy w § 39.

Przytoczone krótkie przykłady mają na celu pokazanie najbardziej typowych, częstych przypadków użycia wyrazów (Przykłady użycia – s. 25–23, § 40).

„Związki wyrazowe" (ss. 26–28, § 41) umieszczane są po przykładach, a w przypadku słów wieloznacznych – po ostatnim znaczeniu wyrazu.

Przy niektórych wyrazach dodawana jest część informacyjna, zawierająca historyczne, faktologiczne i inne wiadomości (ассамблея… – Во времена Петра I: бал, увеселительный вечер) (Część informacyjna – ss. 28–29, § 42).

Typowe błędy sygnalizowane są na końcu wyrazu słownikowego w ramce z uwagą „неправильно!" i potwierdzane są typowymi przykładami (выборы... „неправильно!" *выбора, выборов*). Najbardziej typowe błędy wzięte są z języka mówionego dziennikarzy, wystąpień polityków, z wywiadów itd. (Normatywna charakterystyka wyrazu – ss. 29–30, § 43)

Na stronach 31–32 słowniczka znajdziemy spis głównych źródeł (18).

Na stronie 33 umieszczony jest „Spis skrótów umownych" użytych w słowniku, a na stronie 34 abecadło rosyjskie.

Od s. 35 do s. 203 usytuowany jest sam słownik, a od 204 do 217 alfabetyczny indeks haseł, co umożliwia łatwe dotarcie do definicji hasła. Autorzy zostawili 6 pustych stron czytelnikom na umieszczenie własnych uwag i notatek.

Uważam, że omawiany słowniczek jest bardzo pożyteczny i aktualny. Ze względu na szybkie zmiany słownictwa politycznego stanowi ogromną praktyczną pomoc dla wszystkich, którzy mają wątpliwości co do użycia odpowiednich form językowych.

FARKAS Melinda

4. МОКИЕНКО В.М. ТРУДНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ: КРАТКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК, – СПБ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СПБГУ, 2004. – 288 С., ISBN 5-8465-0228-8; ISBN 5-7695-1683-2.

Słowniczek wydany przez Wydział Humanistyczny Państwowego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu jest kontynuacją serii zapoczątkowanej słownikiem „Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения" (Л. А. Вербицкая, Н. В. Богданова, Г. Н. Скляревская. СПб., 2002) (Mówmy poprawnie! Trudności wymowy i akcentu współczesnego języka rosyjskiego). Słownik stanowi materiał pomocny dla czytelników zamierzających poprawnie używać frazeologii rosyjskiej. Książeczka informacyjna zawiera opis 714 frazeologizmów. Ze wstępu adresowanego do czytelnika (s. 3.) dowiadujemy się, że Słowniczek został napisany na podstawie współczesnych słowników frazeologicznych i łączy w sobie tak frazeologizmy współczesne, jak i niejasne dziś

związki frazeologiczne spotykane w literaturze rosyjskiej. W skład *Słownika* wchodzą także frazeologizmy potoczne i żargonowe, których użycia autor nie poleca w sferze komunikacji handlowej. Większość haseł słownikowych podaje krótkie informacje o pochodzeniu tych frazeologizmów.

Strony 4–17 zawierają ogólne informacje o tym „jak korzystać ze słownika" w następujących podpunktach:

- dobór frazeologizmów (s. 5–7),
- struktura słownika (s. 7),
- hasła słownikowe (s. 7–8),
- uwagi stylistyczne (s. 9–10),
- definicja znaczeń (s. 10–11),
- czcionki (s. 11),
- odsyłacze (s. 11–13)

Za jednostkę frazeologiczną autor uważa stosunkowo stały, ekspesywny związek wyrazowy, mający znaczenie w całości, np.: *бить баклуши, не видно ни зги.* Niektóre mają charakter obrazowy i są zrozumiałe dla mówiącego (np. *Смотреть волком, хоть лопатой греби*), ale niektóre są „zakodowane" przez czas, dlatego nie są zrozumiałe (*смотреть бирюком*). Niezrozumiałość obrazu niejednokrotnie powoduje błędy w użyciu frazeologizmów jak np. *сбрасывать со счёта* zamiast *сбрасывать со счётов.* W tych sytuacjach podstawową przyczyną błędnego użycia jest kontaminacja frazeologizmów, lub też słów i frazeologizmów różnego pochodzenia (s. 4, § 2).

Słownik zawiera frazeologizmy, których obraz może być niejasny dla czytelnika i wymaga wyjaśnienia, oraz komentarze, ponieważ poprawność użycia najczęściej związana jest z rozumieniem motywacji i pochodzenia frazeologizmu. W skład słownika wchodzą:

- frazeologizmy, których forma wewnętrzna celowo (kalambur) lub błędnie (etymologia ludowa) jest zniekształcona, co z czasem utrwaliło się w języku i stało się normą, np.: związek frazeologiczny *сесть в калошу* (wsadzić kogoś w nieprzyjemną sytuację), który pierwotnie brzmiał jak *сесть в калужу.* Żartobliwe zastąpienie wyrazu dialektalnego (dla wielu niejasnego) *калужа* wyrazem literackim *калоша* powoli stało się rozpowszechnione, „poprawne" (s. 5, § 3, 1)),
- frazeologizmy obcego pochodzenia, których obraz wewnętrzny został zmieniony dzięki podobieństwu dźwiękowemu z oryginalnymi słowami rosyjskimi, co dało możliwość związania ich już z innym obrazem („etymologia fałszywa") (s. 5, § 3, 2).
- frazeologizmy z żargonów (*ловить кайф*), których użycie stało się częste w naszych czasach. Podstawowy obraz tych frazeologizmów może być niejasny dla użytkowników języka rosyjskiego. W słowniku znajdziemy wyjaśnienie ich pochodzenia. (s. 6, § 3, 4)

Pochodzenie niektórych frazeologizmów w języku rosyjskim do dziś są sporne dla etymologów (*сбить с панталыку*). Omawiany słowniczek rozszyfrowuje obraz wyjściowy frazeologizmów, co pozwala wyjaśnić liczne historyczno- kulturo-

wo-narodowe realia odzwierciedlone w języku rosyjskim (s. 6, § 4). Atutem słownika jest pokazanie międzynarodowego charakteru niektórych rosyjskich frazeologizmów oraz podkreślanie ich różnostronnych związków z innymi językami słowiańskimi (s. 6, § 5). W języku rosyjskim realnie funkcjonuje ok. 10 tysięcy frazeologizmów, lecz w słowniku znajdziemy tylko te, których użycie lub zrozumienie jest niepoprawne. Wybrane frazeologizmy są różne pod względem stylistyki, tematyki, pochodzenia oraz funkjonowania w tekście.

Związki frazeologiczne ułożone są w porządku alfabetycznym jednego z wyrazów wchodzących w ich skład (najczęściej jest to rzeczownik), np: *баланда* • травить баланду. Na końcu słownika znajduje się indeks wszystkich frazeologizmów w porządku alfabetycznym. (s. 7, § 7–9). Wszystkie związki frazeologiczne podane są z akcentem, po nich zaś występują najważniejsze informacje: rekcja (*катить бочку* на кого), uwagi stylistyczne, definicja i pochodzenie (s. 7–8, § 10–13). Słownik podaje tylko najbardziej aktualne warianty (leksykalne lub składniowe) opisanych frazeologizmów (*родиться в сорочке* (*в рубашке*) (s. 8, §14). Recenzent uważa za bardzo pożyteczny ich skrupulatny opis, ponieważ daje on czytelnikowi sygnał o czynnym lub biernym użyciu w języku literackim, a także poleca ich użycie w jakimś kontekście. Uwagi stylistyczne możemy podzielić na 1) kwalifikatory stylistyczne i chronologiczne (разг. – potoczny, жарг. – żargon, книж. – książkowy, устар. – przestarzały, нов. – nowy,), 2) kwalifikatory ekspresywne (шутл. – dowcipny, ирон. – ironiczny, вульг. – wulgarny) (ss. 9–10, § 15–16). Po wiadomościach stylistycznych znajdziemy definicję frazeologizmu i informacje o jego pochodzeniu. Strony 287–288 dają możliwość czytelnikom do zapisu własnych notatek.

Autor podaje, że z powodu małej objętości słownika, trzeba było niestety zrezygnować z przykładów użycia haseł, co zdaniem recenzenta dla „nierosyjskich" użytkowników słownika może się okazać wielkim brakiem, ponieważ w taki sposób Słowniczek ma charakter bardziej etymologiczno-informacyjny niż podręczny w używaniu frazeologizmów. Słowniczek jednak jest czymś nowym, pełnym informacji, aktualnym i pomocnym dla badaczy frazeologii, dziennikarzy, codziennych użytkowników języka rosyjskiego oraz osób uczących się języka rosyjskiego jako obcego, zamierzających używać go pięknie, poprawnie i świadomie.

FARKAS Melinda

5. Давайте говорить правильно! Орфографические трудности современного русского языка. Краткий словарь-справочник (Составление Н. В. Соловьева, инициатор серии словарей «Давайте писать правильно!» Л. А. Вербицкая, руководитель проекта С. И. Богданов). Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2004. – 240 с.; ISBN 5-8465-0307-1

Актуальность. Практически каждый интеллигентный человек стремится улучшить свою языковую культуру. Одним из ключевых элементов образованности является грамотность. К сожалению, наша память несовершенна, и знания, полученные в школе или институте, приходится часто обновлять. Для этого создаются разнообразные словари, справочники, учебники. Объем этих изданий не располагает к частому их использованию (толстый, увесистый словарь вряд ли станет твоим постоянным спутником), к тому же, иногда возникает потребность иметь при себе не одно из них, а сразу несколько, так как важно не только проверить орфографию какого-либо текста, но и повторить необходимые правила.

Именно с такой целью – универсального языкового пособия – был создан словарь-справочник «Давайте писать правильно! Орфографические трудности современного русского языка» (далее – Словарь). Кроме орфографических норм, Словарь содержит базовую информацию по морфологии, а также закрепляет навыки литературной акцентуации. Компактные размеры и информационная емкость делают издание незаменимым помощником современного интеллектуала.

Словник

1. Источники. Главными источниками Словника выступили:

- материалы электронного лексического фонда русского языка, собранные при Филологическом факультете СПбГУ;
- материалы интернет-изданий;
- данные современных толковых и отраслевых словарей.

Все это способствует обновлению Словника, обуславливает приспособление его к современной языковой действительности и, в конечном итоге, придает изданию особую ценность, новизну.

2. Объем. Словник Словаря насчитывает 5337 лексических единиц. Объем не такой большой, оглядываясь на практику орфографических изданий, но и не маленький, если учесть намеренную компактность издания и оснащенность его сводом правил.

3. Отбор слов. В отборе слов сыграл заметную роль социальный заказ. Смена политических идеологий, нарастающие темпы развития рыночных отношений отобразились не только на жизни россиян, но и на русском языке. Как результат – помимо общеупотребительной лексики Словник «ориентирован преимущественно на сферы политической и экономической жизни» (с. 4),

пестря заимствованиями: *маркетинг, менеджмент, брифинг* и т. д. Такой подход понятен, но не до конца оправдан, поскольку за пределами Словаря оказались такие трудные с точки зрения правописания слова, как *экзистенциализм, сюрреализм* и т. д. Надеемся, что в последующих изданиях философско-эстетическая терминология будет представлена более широко.

Орфографические нормы. Написание слов согласовано с «Правилами русской орфографии и пунктуации» (Утверждены АН СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР. М.: Учпедгиз, 1956. 176 с.) при учете всех последующих изменений, зафиксированных в академических словарях. Отдельные нормы (например, употребление прописных и строчных букв) опираются на современные требования (см. Свод правил русского правописания. Орфография. Пунктуация: Проект/Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. М.: Азбуковник, 2000. – 400 с., далее – Свод правил 2000 года). Это касается, прежде всего, написания с прописной буквы названий религиозных книг (*Библия, Коран*), праздников (*Пасха, Рождество*), слов *Бог, Всевышний, Господь, Богородица,* имен богов – *Перун, Вишну,* а также имен сказочных персонажей – *Баба Яга, Дед Мороз.* В зависимости от контекста (в устойчивых разговорных сочетаниях, в переносном значении, в формах множественного числа) эти слова можно писать и со строчной буквы (сравни: бог Перун, ради бога, дед-мороз, славянские боги). С прописной буквы рекомендуется писать все слова в официальных наименованиях высших государственных и духовных лиц, например: *Президент Французской Республики, Папа Римский.*

К сожалению, многие дискуссионные моменты русского правописания не нашли надлежащего освещения в Словаре. Так, большинство нововведений, предложенных *Сводом правил 2000 года,* оказались «за кадром» анализируемого издания:

- написание существительных с компонентом – *ер*;
- написание сложносокращенных слов через ъ (после твердого согласного перед *я, ю, ё, е*);
- применение дефиса в сочетаниях с приложением и т. д.

Ноу-хау. Своеобразным ноу-хау издания есть фиксация наряду с правильным написанием слова неправильного, т. е. наиболее распространенных ошибок. Это дает возможность сопоставить два варианта и более глубоко усвоить правильную форму.

Замечания. Употребляемая система сокращений и отсылок чрезвычайно удобна и целесообразна, но требует повышенного внимания со стороны корректоров, поскольку иногда возникает путаница. Так, слово *Пасха* почему-то отнесено к мужскому роду, лексема *россиянка* маркирована множественным числом (?) без указания рода, употребление словообразовательной основы *дет.,* согласно отсылке, объясняется в пункте 157 г, но там идет речь об

употреблении международных словообразовательных элементов (типа *авиа-*, *био-* и т. д.).

Выводы. Помимо всех замечаний и рекомендаций, Словарь является ценнейшим лексикографическим источником, отображающим современные орфографические нормы и фиксирующим новейшие лексические приобретения.

Татьяна Ивашкевич

6. Новые и наиболее распространенные сокращения в современном русском языке: краткий словарь-справочник (Под. ред. Г. Н. Скляревской, И. О. Ткачевой). СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004, ISBN 5-8465-0308-X 150 с.

Язык – постоянно изменяющаяся, живая система, сложное средство коммуникации, и как таковое должен как можно точнее отражать окружающую реальность и соответствовать требованиям говорящих. Происшедшие в 20-ом веке радикальные изменения исторического и социального плана, а также стремительный научный прогресс сопровождаются изменениями языкового плана. Особенно явен этот процесс в словообразовании, где появление неологизмов приводит и к новым способам создания слов.

Один из особенно распространенных методов в словообразовании XX века – это сокращение слов (аббревиатуры). Аббревиатуры широко распространены в русском языке уже в 20–30 годы (Брагина 1973: 171). Появление сокращений может быть связано с появлением слишком длинных названий, которые следовало упростить. Сложные названия отражают стремление как можно более точно охарактеризовать обозначаемую реалию. Аббревиатуры, поэтому, в первую очередь появляются в языке науки и государственного аппарата (названия партий, учреждений и т.д.).

Распространение аббревиатур в устной речи ставит перед нормативной грамматикой проблему правильного использования этих выражений, под чем подразумевается расшифровка, толкование аббревиатур, а также правильное произношение этого типа неологизмов. В этом помогает словарь-справочник Новые и наиболее распространенные сокращения в современном русском языке (серия Давайте говорить правильно!).

Словарь, появившийся в 2004 году в издании Филологического факультета СПбУ, шестая книга серии Давайте говорить правильно!, и предназначен для самого широкого круга говорящих. Словник содержит 1054 сокращений, что является подтверждением того, как распространены аббревиатуры в наши дни.

Словарь содержит сокращенные формы-аббревиатуры, которые воспринимаются как одно смысловое целое. Словарь дает «расшифровку» слов, сведения об их значении, произношении, правильном употреблении. Важно, что словарь указывает и на распространенные ошибки, в случае тех выражений, употребление которых часто неправильно, особенно в тех случаях, когда аббревиатура иноязычного происхождения. К иноязычным аббревиатурам дается расшифровка на языке-оригинале, и, так как их употребление говорящими на русском языке зачастую более проблематично, предупреждение о распространенном ошибочном использовании, например:

НАСА [на́са], нескл. ср.

Национальное управление (по) аэронавтике (и исследованию) космического пространства (англ. NASA – National Aeronautics (and) Space Administration).

НАСА отложило старт космического корабля. НАСА заявило о своих планах исследования Марса.

неправильно! *НАСА отложила старт космического корабля. НАСА заявила о своих планах исследования Марса.*

Словник включает в себя наиболее распространённые сокращения из политической, экономической и социальной сферы жизни, названия учреждений, государственных органов, объединений, партий, фондов, а также аббревиатуры, связанные с областью спорта, медицины и военного дела. Не описываются в словнике сложносокращенные слова (ветлаб, спецназ), а также общепринятые усечения (биол.[огия], напр.[имер]). Сокращения в словаре приведены в алфавитном порядке.

В словаре приводятся также аббревиатуры советского времени, с комментарием «в советск[ое] время», кроме этого приводятся и другие пометы и комментарии стилистического и функционального плана, с целью более точно охарактеризовать приведенные выражения: «разг.[оворное], офиц.[иальное], в документах» (например: ЗК… В документах: заключенный).

Порядок следования информации в словарной статье следующий: заголовочное слово, особенности произношения, грамматическая помета, стилистическая помета, толкование значения («расшифровка»), примеры, нормативная характеристика.

Так как словник содержит не только широко известные аббревиатуры, а также потому, что словарем пользуются изучающие русский язык как иностранный, особенно важна содержащаяся в словарной статье информация о произношении и ударении слов (которая даётся после заголовочного слова в квадратных скобках), и грамматическая характеристика (указание на склоняемость или несклоняемость и грамматический род).

В заключение следует отметить компактную форму словаря, поиск в котором упрощает постраничный список словарных статей (с. 140–150).

Литература:

БРАГИНА 1973: Брагина А.А.: Неологизмы в русском языке. Пособие для студентов и учителей, Москва, Просвещение.

Н.-В. ШАХВЕРДОВА

7. СКЛЯРЕВСКАЯ Г.Н., ВАУЛИНА Е. Ю. ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО. ТРУДНОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ: КРАТКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК – СПБ.: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СПБГУ; М.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ», 2004. ISBN: 5-7695-1600-3.

Данный том словаря продолжит обучение политиков русскому языку, так как речь представителей политического истеблишмента пестрит многочисленными ошибками также на синтаксическом уровне языка, которые тиражируются телевидением и другими СМИ.

Словарь ориентирован главным образом на круг политической, экономической и финансовой жизни нынешнего русского общества, отражая синтаксические нормы современного русского языка. Составлен он по материалам электронного лексического фонда русского языка в СПбГУ.

«Справочник содержит 512 слов» – отмечено на 3-ей странице книжечки, но по подсчетам автора данной рецензии их немного больше. Словарь включает пятьсот сорок три заголовочных слова. [В Постраничном списке словарных статей (с. 166) перечислено однако всего 507 лексем, так как среди них многозначные и равнозвучащие языковые единицы перечисляются лишь один раз.]

Средством номинации в языке служат между прочим словосочетания, т.е. синтаксические конструкции, образуемые соединением двух или больше знаменательных слов на основе подчинительной грамматической связи – согласования, управления или примыкания. Управление – это такой вид субординативной связи, при котором подчиненное слово принимает форму того или иного падежа в зависимости от грамматических возможностей господствующей лексемы и выражаемого ей значения. В качестве господствующего слова при управлении может выступать глагол, имя и наречие. Справочник «Трудности грамматического управления» назначен помочь всем разобраться в трудных случаях именного, глагольного и др. управления, т.е. в правильном выборе падежной формы управляемой словоформы (с предлогом иди без предлога), в качестве которой выступает имя существительное.

В словаре-справочнике больше чем половину всех словарных статей составляют приименные управления. Подавляющее большинство заголовочных слов образуют имена существительные – *уверенность (в победе); рецензия (на фильм, на научную статью); предубеждение (против журналистов).*

Кроме них появляются и некоторые имена прилагательные – *характерный (для художника манера); (тон,) свойственный (начальнику)*.

Больше одной третьи лексем составляют приглагольные управления: апеллировать (к руководителю, к общественному мнению); игнорировать (коллег, факты); оплатить (счета, проезд).

Принаречных управлений вошло в словарь весьма мало – известно (о приятии закона); (действовать) соответственно (приказу).

Среди описываемых слов нашелся также отглагольный предлог, восходящий к деепричастной форме – *благодаря* (*работа была успешно завершена в срок благодаря оперативности сотрудников*).

Справочник-подсказка не только облегчает пользоваться словосочетаниями русского языка, а информирует также о произношении и ударении трудных слов (*альтернати́ва*: аль[тэ]рнатива; *консе́нсус:* кон[сэ]нсус); об омонимии, полисемии и синонимии лексем (*операция*[1-4]; *программа*[1-2] ; *заплатить–оплатить–платить*); о виде глаголов и т.д. Словарь обращает особое внимание на изменения в современной русской лексике и на тенденции в грамматике (*операция*[2] по *освобождению заложников*). Особо следует отметить полезность указаний в словарных статьях на нормативную характеристику данных лексем – цитирование типовых распространенных ошибок является общей чертой этой серии словарей.

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что рецензируемый том серии «Давайте говорить правильно», безусловно, очень долго будет оказывать неоценимую помощь всем потребителям русского языка.

В заключение хотелось бы отметить, что словарь, материалом которого является современный русский язык, может быть использован также на курсах русского языка как иностранного: с его помощью учащиеся русскому языку могут расширять свой запас слов (словосочетаний) и развивать свою грамматическую компетенцию.

FÓRIÁN Éva

Васильев А.Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления. М.: Флинта: Наука, 2003, 224 с., ISBN 5-89349-440-7 (Флинта); ISBN 5-02-002945-9 (Наука)

Книга Александра Васильева, вышедшая в издательстве «Флинта» и «Наука» в 2003 году, «Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления» отражает картину словоупотребления в текстах российского телевидения, сложившуюся за последние годы.

Книга открывается введением, в котором автор отмечает, что изменения в сфере культуры воплощаются в языке, а языковые эволюции активно участвуют в культурных процессах и влияют на них. Иногда, по словам автора,

наблюдается тенденция ограничения роли языка: он рассматривается только как средство коммуникации, полностью лишаясь роли носителя национальной культурной ценности, то есть искусственно выводится за пределы культуры, тем самым по сути дела закрывается тема «Язык и культура». Автор подчеркивает, что важнейшим уровнем языковой системы является лексика, отражающая действительность, стимулирующая поведение носителей языка и влияющая на их мировосприятие и мировоззрение.

Автор предлагает вниманию читателя десять очерков: Магия слова; Тексты телевидения как источник лингвокультурологического исследования; От «новояза» – к «постновоязу»; *Как бы* – один из вербальных символов эпохи перемен; Экспансия заимствований; Кто и как может *контролировать ситуацию*?; Слово-компенсатор; Триумфальный марш субстандартной лексики: иллюзия свободы; *Русский, российский* и другие (этнонимы и псевдоэтнонимы); Рефлексивы в телевизионном дискурсе.

Эти очерки могут помочь осмыслить процессы, происходящие в лексике русского языка и отражающие изменения в социально-политической и экономической жизни России последних лет. Каждому очерку предшествует эпиграф, раскрывающий содержание очерка, например, первый очерк *Магия слова* открывается словами М.М. Бахтина: «Язык, слово – это почти все в человеческой жизни… Возможности и перспективы, заложенные в слове, в сущности… бесконечны». В конце каждого очерка даются подробная библиография по данной теме и лексикографические источники.

В качестве иллюстрации хотелось бы обратить внимание читателя на некоторые из очерков (хотя они все содержательны). В очерке *Магия слова* автор рассматривает слово как важнейшую единицу языковой системы, подчеркивая, что именно лексика аккумулирует разнообразные знания человека о себе и окружающем мире. Автор пытается разъяснить появившийся в лингвистической литературе в 80–90-е годы XX в. термин «концепт», подчеркивая, что термин не получил в публикациях разных авторов единообразного толкования. Он приводит мнение В.В. Колесова, что «conceptus – это суждение, понятие, даже представление (о предмете), а conceptum – зародыш, зерно (смысла)». «Концепт есть то, что не подлежит изменениям в семантике словесного знака, что, напротив, диктует говорящим на данном языке, определяя их выбор, направляет мысли, создавая потенциальные возможности языка – речи». Васильев А.Д. полагает, что выступая в роли культурного символа, вербализованный концепт способен оказаться воплощением мира, стать его основой.: слово может выполнять функцию мифогена. Например, общественно-политические изменения 90-х годов отразились словесно в концептуально иных по сравнению с предыдущей эпохой вербальных формах: *Государственная Дума, приватизация, спонсор, акционерное общество.* Многие из этих названий оказались мифогенами. Автор приводит наглядный пример: *мэр* и *губернатор* (в официальных документах – *глава администрации города, края*) при отсутствии *губерний* как административно-территориальных единиц.

Очень интересны наблюдения автора над текстами коммерческой рекламы, оказывающих огромное влияние на формирование языковой картины. Автор называет коммерческую рекламу воплощением вербальной магии, считает, что примитивизация восприятия действительности, поощряемая рекламными слоганами, приводит к обеднению мышления людей. Например, рекламный текст «Изменим жизнь к лучшему» сформулирован так, что подсказывает человеку мысль об улучшении всех сфер жизни бытия, хотя речь идет лишь о повышении бытового комфорта. Автор проводит параллель между механизмами работы коммерческой рекламы и механизмами политической агитации. Их деятельность ведется по двум направлениям: обещание и опорочивание конкурентов.

В очерке «Тексты телевидения как источник лингвокультурологического исследования» анализируется роль сегодняшнего российского телевидения. Не случайно в качестве эпиграфа выбрано высказывание, прозвучавшее в Новостях ОРТ «Телевидение за последние годы превратилось в одно из самых эффективных средств управления страной.» Каждая телевизионная передача – это и эффективная форма рекламы товаров, и пропаганда идей, воздействующая на многомиллионную аудиторию и способная склонить людей к принятию решений (покупка товаров, голосование). Если раньше реклама подчеркивала отсутствие у потребителя выбора («Летайте самолетами Аэрофлота»), то сейчас такие же примитивные рекламные тексты сопровождаются зрелищно ярким видеорядом.

Весьма интересной для лингвистического исследования может быть телевизионная речь. В сознании телезрителей по-прежнему живут представления о том, что речь телевидения является эталоном правильности речи, образцом для подражания. Однако всегда ли по телевидению звучит правильная речь? Автор приводит множество примеров. Привожу лишь несколько из них. Загадочное употребление фразеологических оборотов без учета их семантики: «Наша *лебединая песня* состоится года через три, когда мы представим (на авиасалоне) наш новый многоцелевой самолет.» *Лебединая песня* – значит последнее произведение кого-либо. Может искажаться и их состав: «Все это и заставляет ГАИ *стучать во все колокола»* вместо *звонить во все колокола.* Часто встречаются ошибки в употреблении предлогов и падежей. Например, «Пекин выразил протест действиями США»; «Об этом подчеркивают во всех комментариях», а также местечковое употребление предлога *с* вместо *из*: «Меньше года она вернулась в Латвию с Канады». Неправильно употребляются причастия: «Раньше страна считалась самой *читаемой* в мире». Очень частая ошибка – небрежно оформленные конструкции из-за неправильного употребления слов или из-за неудачного порядка слов, что может стать причиной двусмысленности высказывания: «Мы не сторонники принятия *эффективных* решений – на одну неделю...» (видимо, *эффектных*); «...Поддерживать президента, который начал *возрождение* новой российской государственности» (новое возрождать невозможно). Много ошибок допускается

в произношении и со стороны выступающих, и, к сожалению, со стороны дикторов и тележурналистов:

Французская О́пера Ко́мик (вместо *Опера́ Коми́к*)
На пришкольном участке растет свекла́ (вместо *свёкла*).

Встречаются орфографические ошибки:

аге<u>нс</u>тво (вместо *агентство*)
врач-психиат<u>о</u>р (вместо *врач-психиатр*)
при покупке пар<u>а</u>хода. (вместо *пароход*)

О речевых ошибках на телевидении говорится и пишется очень много, но надежды на улучшение в ближайшее время мало. Яркий пример, приводимый автором, слова одного из телеведущих: «Мы ошибались и оговаривались, ошибаемся и оговариваемся, <u>будем</u> ошибаться и оговариваться».

В очерке «*Как бы* – один из вербальных символов эпохи времени» автор подробно рассматривает ни к чему не обязывающее модное вездесущее словечко *как бы* со значением неопределенности, способное стать почти символом эпохи. Оно превратилось не только в речевой, но и логико-смысловой стержень, помогающий извиниться за приблизительность, размытость смысла. Информация о событиях политической жизни с *как бы* приобретает двусмысленный характер или смягчает содержание тревожной формулировки, порой придает высказываниям долю загадочности. Например, «НАТО *как бы* нависает над Россией и *как бы* диктует ей свои правила поведения»; «Черноморский флот существует *как бы* вне правового поля»; «Я *как бы* присутствовал при механизме его назначения мэром»; «...Обеспечивать людей жильем, *как бы* подводить им тепло, свет...должно государство». Сочетанием *как бы* подменяется многообразие оттенков, стилистическая дифференцированность, исчезают синонимы. Расплывчатая семантика *как бы*, которая придает сообщению условность, позволяет говорящему снять с себя ответственность за содержание этого высказывания. Суммируя, автор считает, что *как бы* – слово паразит, затрудняющее восприятие речи, и избыточное употребление подчеркивает невысокую образованность речедеятеля. Подлинную причину повсеместного распространения *как бы* автор видит в том, что оно как нельзя лучше отвечает назревшим за годы перестроек и реформ потребностям этносоциума в выражении адекватного представления об окружающей действительности.

В очерке «Экспансия заимствований» автор подчеркивает, что сами по себе заимствования не страшны, язык способен их переваривать. Все языки постоянно заимствуют что-то друг у друга и таким образом обогащаются. Но способность эта небеспредельна, наступает перенасыщение и начинается замещение одного языка другим. Это относится к вытеснению русского языка англо-американским в российских средствах массовой информации: надо и не надо гуляют в телеэфире слова *кастинг*, *тайм-брейк*, *блокбастер*, *экшн*, *триллер*, *герлфрэнд*, *имиджмейкер*, *мониторинг*, *секьюрити*. Автор размыш-

ляет о том, что в советские времена тоже наблюдались американизмы как компонент молодежной культуры, ведь запретный плод всегда сладок. Это было своеобразное желание бросить вызов официальному языку. Но эти явления оставались все-таки периферийными. Однако с перестройкой, гласностью и свободой слова широко хлынул поток англо-американских заимствований через музыкальную, кинематографическую и литературную продукцию. Считалось, что таким образом, приняв ценности более высокой культуры, чем отечественная, страна включается в ряд цивилизованных государств. Безоглядные заимствования происходят не только в знаменательных частях речи, но и в междометиях. Ярчайший пример этому слово *wow*, которое потеснило русские *ого* или *ох*. В конце очерка автор обращает внимание на тревожные явления: за счет интенсивной пропаганды чужого языка и равнодушного, даже пренебрежительного отношения к своему родному языку, меняется баланс пропорций 'свой'/'чужой' – 'внутренний'/'внешний' и вследствие того, что память человека не беспредельна, освоение чужого (заимствования) одновременно может стать отчуждением своего (исконного).

В главе «Триумфальный марш субстандартной лексики: иллюзия свободы» речь идет о повышении интереса к изучению субстандартной лексики и фразеологии. Автор пытается найти ответ на вопрос чем вызвано широкое распространение уголовно-арготической лексики в современном русском языке: это и экспрессивность жаргонизмов, реакция на еще недавнюю приглаженность и безликость публичных выступлений в СМИ, либерализация общества, отмежевание от прежних идеологических норм. Все это иллюстрируется многочисленными примерами: *бабки* – «деньги»; *достать* – «довести до крайнего раздражения, приставая, надоедая»; *раскрутить* – «широко разрекламировать, популяризировать»; *оторваться* – «отдохнуть, развлечься». Проникновение в литературный язык огромного количества субстандартной лексики оказалось настолько сильным, что многие лингвисты и деятели культуры забили тревогу, считая, что СМИ ставит перед собой цель пропагандировать обиходно-разговорный стиль, просторечия, сленговые слова и даже бранные выражения. Художник И. Глазунов в своем интервью Литературной газете (№ 24/2005) говорит: «Сейчас, на мой взгляд, катастрофическая ситуация, которая требует суда и кары.» Он замечает, что даже на телеканале «Культура» все время употребляются иностранные слова, например, *арт*. «Ну почему не сказать *искусство*? Почему такая колониальность?»

Книга Васильева А.Д., в которой автор приводит не только яркие примеры, но и дает обоснование возникшему явлению, адресована широкому кругу читателей, студентам, журналистам, а также филологам, которые могут использовать собранные автором материалы в исследованиях лексики, фразеологии, стилистики русского языка, проблем, связанных с изучением текстов средств массовой информации. Этой книгой можно и нужно пользоваться.

BALLÓ Larisza

В. С. Виноградов. Перевод. Общие и лексические вопросы. Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. – Москва КДУ, 2004, 240 с., ISBN 5-98227-018-0

В 2001 году В. С. Виноградов издал пособие «Введение в переводоведение. Общие и лексические вопросы». Настоящее пособие – это второе издание книги, которая предназначена для студентов старших курсов филологических и переводческих факультетов. Но книга может быть полезной и для тех, кто просто интересуется вопросами переводоведения и сопоставительного анализа языков.

В. С. Виноградов в своем пособии затрагивает лишь некоторые вопросы теории и практики перевода. Он является представителем т. н. эквивалентной теории перевода, и данное пособие составлено по этому принципу. Первый раздел книги посвящен «общим вопросам», но это – по объему – меньшая часть пособия. Автор принимает во внимание, что в этой научной дисциплине еще много нерешенных проблем, спорных суждений, недоговоренностей, поэтому он делает акцент на практической стороне проблемы, и во второй части концентрирует свое внимание на этой проблематике переводоведения. В этом разделе в центре внимания стоит вопрос о слове, которое Виноградов считает основным языковым материалом, из которого составляется любой текст. Именно поэтому в настоящей книге он уделяет такое большое внимание слову.

Первая часть книги в первом параграфе дает определение термину «перевод» с точки зрения переводоведения. В этом же блоке суммирует автор результаты, достигнутые русскими теоретиками перевода. Далее рассматриваются проблемы эквивалентности и типы переводимого текста. Отдельная глава посвящена переводу как процессу и его моделям, в которой автор устанавливает, что в конечном итоге все эти модели гипотетические, и проблематика нуждается в дальнейшем исследовании со строгой логической точки зрения. Одной из интереснейших частей книги является глава о фоновой информации. Автор ссылается на книгу Е. М. Верещагина и В. Г. Костромарова «Язык и культура» (М., 1973), в которой высказана мысль, что фоновые знания – эта та общая для коммуникантов информация, которая обеспечивает взаимопонимание при общении. По степени их распространенности выделяются три вида: общечеловеческие, религиозные и страноведческие фоновые знания. Этой классификации может соответствовать и иная терминология, связанная с информацией, и в которой оперируют термином *тезаурс*. Он означает набор данных о какой-либо области знаний, который позволяет правильно ориентироваться в этой области. Сюда можно отнести и коннотативные слова, словосочетания, перевод которых часто представляет собой непреодолимые трудности.

Вторая часть пособия посвящена лексическим вопросам переводоведения. Сначала автор дает дефиницию *слова* в теории перевода, указывая при этом на трудности, связанные с этим определением. Затруднения порождают-

ся сложными взаимосвязями между словом и языковыми единицами смежных уровней – морфемой и словосочетанием; вызываются многозначностью слова и ее соотношением с синонимикой и омонимией, полифомизмом слова, т. е. наличием у него нескольких грамматических форм, и связанной с этим проблемой тождества и отдельности слова, и т. д. По определению В. С. Виноградова «Слово – это основная единица языка, которая содержит традиционно-закрепленный набор информации и служит для формирования мысли и передачи сообщений в составе предложения.» (50). В процессе перевода важную роль играет объем информации, содержащейся в базовых информативных единицах-словах. Анализ должен вестись в сопоставительном плане: на уровне языка и на уровне речи. Служебные виды информации разделяются на грамматическую и формальную разновидности.

Поскольку язык – это средство общения конкретного человеческого коллектива, понимаемое как система, а речь – это функционирование данной системы, то и информация, передаваемая словом, может быть *константной*, за которой фиксировано в общественном сознании определенное и разнообразное содержание, и *окказиональной*, т. е. речевой, соотносимой со словом в речи. Без этого человеческое общение было бы невозможным, но оно не могло бы существовать и без порождения в речи новых видов информации, отражающих прежде всего особенности индивидуального мышления, своеобразие субъективного восприятия действительности. Изучение сущности, характера, типов и разновидностей речевой информации чрезвычайно важно в теории перевода.

В дальнейшем автор анализирует лексические переводческие соответствия и межъязыковые соотносительные категории. Он предлагает различать полную и частичную межъязыковую синонимию. К полным (нейтральным) он относит соотносимые в одном из своих значений слова двух (или более) языков, которые выражают одно и то же понятие, а к экспрессивно полным те, которые эмоционально окрашены, но при этом все виды знаменательной информации вполне совпадают. Межъязыковыми относительными синонимами он называет слова, у которых совпадает вещественно-смысловое содержание, но различна эмоционально-экспрессивная, стилевая или какая-нибудь другая знаменательная информация. Фиксацию этих понятий он считает важным, поскольку они при определенных условиях могут стать эквивалентами.

Для переводчика всегда интересно читать о том, какие советы дает специалист при переводе лексики, содержащей фоновую информацию. Виноградов особое внимание уделяет переводу бытовых реалий, обращаясь за примерами к переводам латиноамериканской прозы. К следующей группе он причисляет этнографические и мифологические реалии, за ними следуют реалии мира и природы, государственного устройства и общественной жизни. Особую группу составляют ономастические, а также ассоциативные реалии и экзотизмы. При переводе их Виноградов советует избегать транслитерации, чтобы данное слово не лишилось колорита национального языка.

Ниже Виноградов трактует индивидуальное авторское словотворчество и способы его воссоздания в переводе. Это особенно интересно в наши дни, когда в языке в изобилии появляются неологизмы и окказиональные слова. Перевод неологизмов все-таки облегчают сходные процессы научно-технического роста, присущие развитым странам, вследствие которого почти одновременно появляются многие равноязычные неологизмы. Совсем по-другому обстоит дело с окказионализмами, индивидуально-авторским словотворчеством. Переводчики часто не замечают, но если даже воспринимают их, не решаются заняться словотворчеством. Виноградов высказывает свое мнение о том, что этот вопрос не относится к разряду основных проблем, но в переводоведении ей должно быть отведено определенное место.

В пособии важное место отведено обсуждению проблемы перевода архаизмов. С теоретической точки зрения следует упомянуть, что существуют синхронные и диахронные переводы. При синхронном переводе переводчик сразу распознает в оригинальном тексте встречающиеся лексические и синтаксические архаизмы, но когда переводятся произведения прошлых веков, то временная дистанция становится значительной, и следует говорить о диахронном переводе. По мнению Виноградова в последнем случае надо в какой-то мере обновить текст, особенно, когда речь идет о романе.

Отдельная глава посвящена переводу имен собственных, хотя на первый взгляд может показаться, что эта тема не входит в круг переводческой деятельности. Все-таки имена собственные, которые или транскрибируются, или транслитерируются, являются теми немногими элементами перевода, которые сохраняют определенное национальное своеобразие в своей словесной, звуковой форме. Определенное внимание требуется при переводе ономастических реалий, которые подразумевают нечто большее, чем географическое название, и уже стали символами каких-либо учреждений, государственных институтов, общественных названий и т. п. В связи с переводом же значимых имен собственных проблемы возникают в тот момент, когда надо их воссоздать на иностранном языке, особенно в сатирических и юмористических произведениях. Трудность для переводчика заключается в том, что лучше перевести, чем транслитерировать их. Большое значение для раскрытия и сохранения категориальности смысловых имен перевода имеют нарицательные слова, которые употребляются вместе с этими именами. Речь идет об официальных формах общения, о словах, указывающих на титул, звание, профессию, занятие, родство и т. д.

Особое место в поэтической ономастике занимают книжные имена, которые в литературном произведении как бы перекликаются с другими именами собственными, например с фольклорными, литературными, или с именами-компонентами пословиц, поговорок, речений, фразеологизмов. По Виноградову характеристичность подобных имен проявляется через различные связи, и их целесообразно вычленить среди книжных антропонимов и топонимов в особую группу аллюзивных имен собственных. Аллюзивные имена в теории перевода не изучались. Видимо, эта проблема еще не стоит на повестке дня

хотя бы потому, что она почти не разработана в одноязычном плане. Переводчики обычно предпочитают объяснить в сносках филолого-этнографические и прочие аллюзии, порождаемые именами собственными.

В следующем разделе пособие дает перечень проблем, возникающих при переводе фразеологических единиц. Они используются в языке как готовые словесные блоки. В русской лингвистике они изучены глубоко, существуют их классификации, основанные на семантических и других признаках. По В. С. Виноградову в переводоведении «если ставить прагматические задачи», следует подразделить устойчивые сочетания на три большие группы: лексические, предикативные и компаративные фразеологизмы. В сознании носителя языка должно закрепиться значение фразеологического сочетания, потому что внутренняя форма часто способна лишь на относительную, а не на точную подсказку значения фразеологизма. В общем переводчик обязан искать смысловое экспрессивное и функционально-стилистическое соответствие фразеологизму оригинала, а не ломать голову над воспроизведением внутренней формы такой словесной единицы. Переводчик должен стремиться к переводу фразеологизма фразеологизмом. Это основное требование. Однако, иногда такой прием невозможен. В этом случае прибегают к помощи однословного соответствия, описательному переводу и иногда к калькированию.

Если же речь идет о переводе игры слов, то можно сказать, что иностранные герои разных произведений в последнее время «начали каламбурить по-русски». Но перевод каламбуров относится к узкоспециальным переводческим вопросам. Перевод каламбуров требует особого чутья, знания обоих языков.

Последний раздел пособия содержит богатый список литературы.

FONALKA Mária

RENATA DYBALSKA, DANUTA KĘPA-FIGURA, PAWEŁ NOWAK. PRZEMOC W JĘZYKU MEDIÓW? ANALIZA SEMANTYCZNA I PRAGMATYCZNA AUDYCJI RADIOWYCH WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, LUBLIN 2004, 234 P. ISBN 83-227-2229-X

The volume entitled "Violence in the language of the media" (Semantic and pragmatic analyses of radiobroadcasts) elaborates a highly interesting topic, that has also been a very popular and relevant subject for contemporary international linguistic research.

The authors are three researchers of the Marie Curie-Skłodowska University in Lublin, namely Renata Dybalska, candidate for doctorate, Danuta Kępa-Figura PhD, and Paweł Nowak PhD – as members of a scientific research group headed by professor Ryszard Tokarski between 2000 and 2003 they had listened to, recorded and coded several hundreds of radio broadcasts, in order to verify the lin-

guistic means the examined Polish media used for affecting their listeners. Andrzej M. Lewicki habil. prof., Piotr Krzyżanowski PhD, and candidates for doctorate Katarzyna Olejnik and Artur Mamcarz also participated in the research.

In accordance with the rules for the competition entitled "Violence in the language of the media", supported by the Polish Committee of Scientific Research, the research aimed at analyzing certain radiobroadcasts from a semantic and pragmatic point of view, in particular with regard to the presence of manipulative mechanisms and forms of linguistic violence in such broadcasts. It became evident already at the very beginning of the project that violence in radiobroadcasts does not exclusively mean vulgarization, emasculation of the language and the continuous infringement of grammatical rules.

There is a phenomenon much more essential, basic, interesting and at the same time less explicit but definitely present: in radiobroadcast the journalist does have an impact on opinion, taste and set of values of the listeners. This influence is achieved by various linguistic means and mechanisms. Thus the medial (radio) view of the world is created, shaped not only by radio journalists but also by guests, politicians speaking in the studio, reporters and partly by the listeners themselves.

In 2001 the parties to the competition held a conference in Kazimierz Dolny entitled "Manipulation in the language of the media". The text of the lectures delivered therewere published in 2004 in the volume "Manipulacja w języku" – Linguistic manipulation. The 12 articles published in Poland and abroad by the participants of the competition also deal with the issue of fair or unethical influence exerted on the listeners.

The present volume is of a different nature and character. The registration and processing of thousands of pages of the material of the several hundred radio broadcasts recorded allowed the researchers to select the most interesting and most characteristic broadcasts, in which the various semantic and pragmatic mechanisms were used to capture the attention of the listeners and to convince them that the medial view of the world is one perspective of the world and it should be accepted.

This corpus contains broadcasts in which the representative of the medium radio and the respondent (guest, politician, listener phoning in) are both present at the same time.

The texts of the numerous broadcasts quoted in the annexes provide a fair didactic material for universities with a focus on language, theory of communications, journalism or social communication. Each annex contains a corresponding list of questions, exercises and bibliography, which gives the volume an even higher value.

First we can read Paweł Novak's study entitled "Communicative awareness of radiobroadcasts". The author, after recalling how the different disciplines define human communication, focuses on the linguistic means consciously applied by journalists, thus far neglected or given little consideration by researchers. The subchapter "Verba dicendi in radio broadcasts" brings numerous interesting examples of the group of verbs relating to radio language, which are most commonly and

most characteristically used in broadcasts, such as 1. to speak, to express oneself with speech (*mówić*), 2. to speak in a certain way (*mówienie* + cecha JAK), 3. to inform, to let know (*oznajmić*, *poinformować*), 4. to carry out social speech acts accompanying utterances in radio (greeting, saying good-bye, leaving – *witać*, *pożegnać*) etc.

The author later analyzes the different types of speech acts, the mechanisms that serve the representation of the internal and external coherence of the communicative happening, and deals with the inter- and metacommunication of radio broadcasts.

Danuta Kępa-Figura illustrates the various linguistic games and wordplays (play on words, wordplay, word games, pun, play with words, language game, play of language) with a rich collection of examples taken from the broadcasts. These puns, building on the linguistic competence of the listener, can come into being through the diverting from the expected and relating associations, and can appear on the level of phonetics, morphology, syntax or semantics. Particular attention should be paid to plays on words that infringe either linguistic rules or pragmatic conventions, context. According to the author such plays on words are often initiated by the listeners themselves. The author however does not list all possible types of plays on words, rather, focuses exclusively on those offered by the material under examination. It would be worth continuing the research in this field.

The third author contributing to the volume, Renata Dybalska examines the various types of radio broadcasts and broadcasting stations with regard to linguistic etiquette and communicative levels. Each broadcasting station aims at satisfying the needs of the listeners. The particularity of the different broadcasting stations lies in modes of making contact to – and maintaining this contact with – the listeners, the means of which is the spoken language; that can be frozen, formal, consultative, casual or intimate. The tone used by news broadcasters is, for instance, objective and formal, since they must guarantee objectivity.

The various radio broadcasts also reflect the personality of their respective editors, which sets the tone of the programme. Excessive formality or excessive familiarity however does not often have a favourable reception among the listeners. The corpus offers interesting examples on that as well.

The concluding chapter of the volume is written by Katarzyna Olejnik, who illustrates and demonstrates through numerous examples the real existence of the common world of broadcasting stations and listeners. The material of the various broadcasts shows an evident uniformity as regards the patterns and strategies used by the journalists.

The outstanding value of the volume – besides the numerous important theoretical statements – lies in its particularly rich collection of examples. The studies thus, by mapping a type of text of a specific social background, and also providing a unique corpus of a particular genre, could promote further research in sociolinguistics, pragmatics and theory of communication.

ÁDÁMNÉ PORCSALMY Éva

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
SLAVICA XXXIV 2005 DEBRECEN

IN MEMORIAM



ИШТВАН УДВАРИ
(1950–2005)

Венгерская славистика понесла непоправимую утрату. На 56 году жизни, 9 ноября 2005 года после тяжелой и продолжительной болезни скончался профессор Иштван Удвари – выдающийся рутенист, доктор Венгерской Академии наук, заведующий Кафедрой украинской и русинской филологии Ниредьхазской Высшей школы.

Ушел из жизни в расцвете сил талантливый и плодовитый ученый и организатор науки, удивительно трудолюбивый и целеустремленный исследователь. Десятками фундаментальных работ, основывающихся преимущественно на архивных первоисточниках, создал настоящий кладезь ценнейших материалов для будущих исследователей истории культуры Карпатского региона. Организацией учебного процесса по подготовке венгерских специалистов, редактированием и изданием словарей, учебников и пособий заложил основы современной украинистики в Венгрии.

Родился Иштван Удвари 14 июля 1950 года в селе Торнёшпалца области Саболч. Неподалеку, в селе Эперйешке, закончил общеобразовательную школу, а в близлежащем городке Мандок – гимназию. В 1975 году окончил *alma mater* многих видных современных отечественных славистов, Дебреценский университет имени Лайоша Кошута, по специальности «история и русский язык и литература». После окончания университета преподавал в гимназии им. Дьёрдя Бешшенеи в Кишварде. (В прощальной проповеди пастор, хоронивший Иштвана Удвари в селе Эперйешке, упомянул о том, что в городке до сих пор хорошо помнят молодого педагога, которого местные гимназисты нарекли «улыбающимся учителем»).

В 1978 году Иштван Удвари прошел по конкурсу на должность преподавателя Кафедры русского языка и литературы в Ниредьхазском педагогическом институте имени Дьёрдя Бешшенеи.

В 1989 году Иштван Удвари назначен на должность профессора пединститута, а в 1990 году – заместителя ректора по научной деятельности. После значительной подготовительной работы в 1992–93 гг. он организовал и возглавил Кафедру украинской и русинской филологии, которая в настоящее время как в Венгрии, так и за ее пределами считается одним из ведущих центров украинистики и русинистики. С 1997 года доктор Венгерской Академии Наук становится профессором. В 2001 году избран членом редакции славистического журнала Studia Slavica Hungarica.

Научная карьера профессора Иштвана Удвари началась в 1981 году, когда он представил к защите диссертацию на соискание звания университетского доктора «О языке русинов Бачки и Срима (Югославия)». В 1987 году состоялась защита кандидатской диссертации «Русинская (карпатоукраинская) деловая письменность Венгрии XVIII века» (по решению Отделения языка и литературы Венгерской Академии наук работа была издана в 1995 году в Академическом издательстве в виде монографии). Молодое и бурно развивающееся в последние годы подразделение современной славистики – русинистика на протяжении всей научной биографии ученого оставалась его любимым детищем. Немало работ выполнено Иштваном Удвари в области истории и языка бачванско-сримских и подкарпатских русинов. На протяжении практически всей карьеры он исследовал словацкие, русинские и южнославянские документы периода урбарской реформы Марии Терезии. В 1993 году организовал и провел в Ниредьхазе международную конференцию, посвященную памяти академика Антона Годинки, одного из пионеров современной венгерской славистики. В связи с этим выступил как редактор и издатель восьми отдельных публикаций по данной теме, среди которых впервые обнародована факсимиле «Глаголница. Русинско-венгерский словарь глаголов» и избранные рукописи из наследия Годинки, репринт издания 1923 года «Утцюзнина, газдуство и прошлость южнокарпатськыхъ русинувъ». Уже в последние месяцы жизни написал предисловие к книге русинских текстов «Антоний Годинка: Час гурше ги вода...» Ниредьхазский подвижник опубликовал статистические материалы переписей, проведённых в мукачевской епар-

хии в 1792 и 1806 году. В многочисленных работах занимался также исследованием деятельности и трудов Ласло Чопея и Гиадора Стрипского, многих выдающихся представителей русинского духовенства. Издал репринты букваря епископа Мануила Ольшавского (1746), русинского Урбара типографского издания (1770), букваря каноника Иоанна Кутки (1797) и его же катехизиса (1801); документы периода правления епископов Мукачевской греко-католической епархии периода правления Гавриила Блажовского, Мануила Ольшавского, Иоанна Брадача, Андрея Бачинского. Во многих публикациях последовательно исследовал историю русинско-венгерских языковых и культурных взаимоотношений.

В рамках научной деятельности Кафедры украинской и русинской филологии Иштван Удвари основал серию Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, в которой вышли его собственные и редактированные им 18 книг. Основал и осуществлял редактирование научных серий: Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae (9 книг), Glossarium Ukrainicum (9 книг), Vice Versa (2 книги).

Для издаваемой в Венгрии «Энциклопедии мировой литературы» написал около 60 статей, в которых представил и русинских бачванско-сримских и подкарпатских поэтов и прозаиков…

За предельно короткий срок профессор сумел организовать подготовку и издание шеститомных «Материалов к украинско-венгерскому словарю», первого (из предполагаемых двух) тома «Венгерско-украинского словаря».

Простой перечень научных трудов, подготовленных и изданных профессором И. Удвари, занял бы сотни страниц. При жизни ученого вышли два тома библиографических описаний его публикаций[1], ниредьхазским библиографом Байнок Ласлоне подготовлен уже и третий том (научное наследие после 2001 года). Только в период с 1993 по 2003 год ниредьхазский славист подготовил к изданию около шестидесяти отдельных томов научных изданий[2], сотни статей и рецензий. В составе научных серий Кафедры украинской и русинской филологии опубликовали научные труды ведущие венгерские специалисты: Петер Кирай, Ласло Дежё, Андраш Золтан, Аттила Холлош, Золтан Медве, Йожеф Ботлик и др.; публиковались зарубежные авторы; переведены на украинский язык сочинения Андраша Гёрёмбеи, Ласло Коша.

Профессор Иштван Удвари спешил жить и работать, как будто предчувствуя свою скорую кончину. Кафедра украинской и русинской филологии Ниредьхазского педагогического института стала для него постоянным местом активной и плодотворной научной и педагогической деятельности.

[1] Vraukóné Lukács Ilona (szerk.): Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján I. Második kiadás. Nyíregyháza, 2002. 95 old.; Bajnok Lászlóné: Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján II. Nyíregyháza, 2001. 118 old.

[2] См.: Káprály Mihály (szerk.): Az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Kiadványok: 1993–2003. Кафедра украинской и русинской филологии. Публикации: 1993–2003. Lehrstuhl für Ukrainistik und Russinistik. Publikationen: 1993–2003. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 13. 2003. 172 p.

В последние месяцы жизни, дома, буквально до последнего дня своей жизни он продолжал трудиться. Даже в последние минуты по телефону Иштван Удвари продолжал руководить кафедрой, где велась подготовка к изданию пяти его книг[3].

Верим, что светлая память о великом труженике из Ниредьхазы, профессоре Иштване Удвари останется навсегда в сердцах коллег, свидетелей его беспримерного научного труда. Мы верим, что разительные результаты его научных исследований в области рутенистики будут с благодарностью приняты и по достоинству оценены его будущими читателями и последователями в научном мире.

KÁPRÁLY Mihály

[3] Книги последнего года жизни и деятельности Иштвана Удвари в порядке их выхода из типографии: Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. I. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok 1918–1945. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 7. Nyíregyháza, 2005. Udvari István (szerk.): Magyar–ukrán szótár. I. A–Ly.

Требования к рукописям

Общие требования: Для публикации принимаются статьи объемом до 40 000 знаков и рецензии, обзоры, хроники – до 9 000 знаков, написанные на одном из славянских языков или на английском или немецком языке. Рукописи предоставляются на магнитном носителе (или по электронной почте: slavinst@delfin.unideb.hu) и в виде распечатки. В качестве названия файла следует использовать фамилию и имя автора.

Просим передавать работы отредактированными и корригированными в языковом отношении.

Формат текста: Word for Windows (*.doc) или Rich Text Format (*.rtf). Для основного текста желательно использовать шрифт Times New Roman. При использовании в качестве дополнительных и других, мало распространенных шрифтов просим передать их в редакцию журнала. Желательно, чтобы слова были без переносов, выполненных вручную. Абзацы должны быть оформлены при помощи автоматических возможностей использованного текстового редактора, а таблицы, схемы – конструированы при помощи Word. Картинные изображения просим прилагать в отдельных файлах типа: *.jpg.

Цитирование: Ссылки на цитируемые источники даются в круглых скобках, где указывается фамилия автора, год издания и страница, например: (Крючкова 2000: 69). Если авторов двое, в тексте в скобках указываются их фамилии через тире, а если больше – указывается фамилия только первого с добавлением *и др.* (в английском варианте et al.), например: (Пирогова–Паршин 2000: 58), (Земская и др. 1981: 45). Если ссылок в одних круглых скобках несколько, то они разделяются точкой с запятой, например: (Rolfe 2000; Koch 2001). Если в списке литературы имеется несколько работ данного автора, относящихся к одному году, они помечаются строчными буквами, например: (Аникин 2000а), (Аникин 2000б). В библиографии приводится только цитированная в работе литература, следуя образцу:

Аникин 2000а: Аникин А. Е. Славянская лексика на неславянском фоне. Этимологические заметки (1–7) // Этимология 1997–1999. Москва.

Аникин 2000б: Аникин А. Е. Этимологический словарь заимствований в русских диалектах Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. Москва, Новосибирск.

Крючкова 2000: Крючкова О. Ю. Редупликация в аспекте языковой типологии // Вопросы языкознания. 2000. №4, 68–84.

Пирогова–Паршин 2000: Пирогова Ю. К., Паршин П. Б. (ред.) Рекламный текст: семиотика и лингвистика. Москва.

Земская и др. 1981: Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Москва.

В сносках под линией приводятся только комментарии. Если в комментарии необходимо цитировать данного автора, то следует соблюдать указанный способ цитирования.

Резюме: Рукопись статьи должна содержать резюме на английском (для материалов на славянских языках) или на русском языке (для материалов на западных языках). Объем резюме – до 1020 знаков.

К рукописи прилагаются сведения об авторе на русском и английском языках с указанием имени и фамилии, ученой степени и звания, места работы, электронной почты.

Внимание! Всю переписку с авторами рукописей редколлегия журнала ведет только по электронной почте. Рукописи со значительными отклонениями от указанных требований не рассматриваются.

AQUATICUM
DEBRECEN
GYÓGY. ÉS FÜRDŐKÖZPONT

www.aquaticum.hu

H-4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. • Tel.: (00-36) 52/514-100
Fax: (00-36) 52/346-883 • E-mail: kozpont@aquaticum.hu

Mediterrán élményfürdő / Indoor Water Center

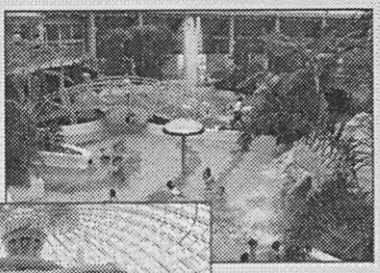
Tel.: (00-36) 52/514-174

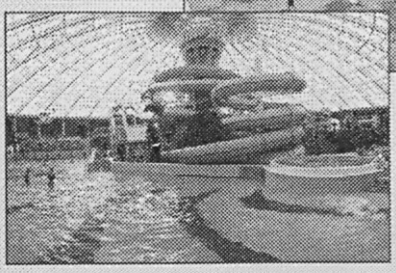
Fax: (00-36) 52/346-883

E-mail: mediterran@aquaticum.hu

Open all the year
round 10.00-22.00

Augusztustól új
masszázscentrum!
New Thai massage
center from August!





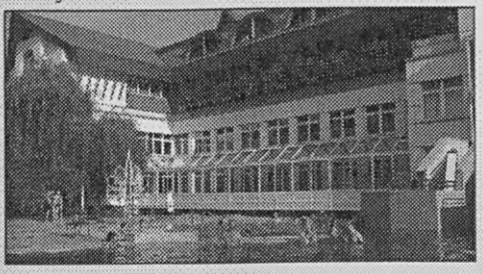
Egész évben
naponta
10-22-ig



Termál- és gyógyfürdő / Outdoor- and indoor medicinal bath

Tel.: (00-36) 52/514-100 • Fax: (00-36) 52/346-883
E-mail: kozpont@aquaticum.hu

Teljesen felújított fürdő minősített gyógyvízzel.
Totally reconstructed bath with qualified medicinal water.







AQUATICUM
DEBRECEN
GYÓGY- ÉS FÜRDŐKÖZPONT

Termál & Wellness Hotel****

Új wellness szolgáltatások!
New wellness services!





Tel.: (00-36) 52/514-111

Fax: (00-36) 52/311-730

E-mail: hotel@aquaticum.hu

95 klimatizált szoba és apartman
95 air conditioned rooms and apartments



Gyógyászat / Therapie

Tel.: (00-36) 52/514-100 • Fax: (00-36) 52/346-883

E-mail: kozpont@aquaticum.hu

40 féle, gyógyvízre alapozott kezelés
40 different treatments based on qualified medicinal water.



